Роуз Тремейн

РЕСТАВРАЦИЯ

амфора
2005



Реставрация
Роуз Тремейн

Аннотация
Роуз Тремейн. Реставрация
Часть первая
  Глава первая. Пять вариантов начала
  Глава вторая. Брачные игры
  Глава третья. Мое новое призвание
  Глава четвертая. Индийский соловей
  Глава пятая. Два червя
  Глава шестая. Королевские капли
  Глава седьмая. Вода
  Глава восьмая. Подарок короля
  Глава девятая. Попечитель
  Глава десятая. Финн в парике
  Глава одиннадцатая. Неизвестное известное
  Глава двенадцатая. Утопленник
  Глава тринадцатая. Королевский теннис
  Глава четырнадцатая. «Не как серебро...»
Часть вторая
  Глава пятнадцатая. Роберт
  Глава шестнадцатая. Цветочный аромат
  Глава семнадцатая. Гости Вифлеема
  Глава восемнадцатая. Тарантелла

Глава девятнадцатая. В Божьем доме
Глава двадцатая. Как Джон чуть не лишился своего половника
Глава двадцать первая. Кэтрин спит
Глава двадцать вторая. Профилактика
Глава двадцать третья. Свет на реке
Глава двадцать четвертая. Жена галантерейщика
Глава двадцать пятая. Я вспоминаю о Маргарет

Аннотация

Роберту Меривелу, ветеринару и типичному обывателю, неслыханно повезло: он женился на любовнице английского короля Карла II. Жизнь открывается ему во всем великолепии и роскоши, но неисповедимы пути Господни.

В 1996 году по роману известной английской писательницы Роуз Тремейн была снята историческая мелодрама «Королевская милость».

Роуз Тремейн
Реставрация

Часть первая

Глава первая
Пять вариантов начала

Я пришел к выводу, что весьма несуразно скроен.

Ну посмотрите на меня. Без парика я выгляжу просто как насмешка над соразмерностью. Мои волосы (то, что от них осталось) грязно-песочного цвета и жесткие, как щетина у борова; уши разной величины; лоб забрызган веснушками; нос приплюснутый, словно по нему кто-то сильно врезал при моем рождении, — уж его-то никак не скроешь, как низко ни нахлобучивай парик.

Может, меня ударили в детстве? Вряд ли, ведь мои родители — люди добрые и мягкие. Впрочем, этого я уже никогда не узнаю. Они погибли при пожаре в 1662 году. У отца был нос римского императора. Прямой, выразительный нос мог бы здорово украсить мое лицо, но, увы, мне такой не достался. Может быть, я не сын своего отца? Я сумасбродный, невоздержанный, прожорливый, хвастливый и грустный человек. Возможно, я сын Амоса Трифеллера, старика, который в свое время вытачивал из дерева болваны для шляп

— их шили в мастерской отца. Как и он, я люблю прикасаться к полированному дереву. К моему телескопу, например. Признаюсь, прикосновение к этому научному прибору дает моему уму больше, чем созерцание того, что открывается глазам через его линзы. Звезд так много, и они так далеко, что их вид порождает во мне ужас от сознания собственной ничтожности.

Не знаю, составили ли вы обо мне представление? Сейчас 1664 год, он уже на исходе, и мне тридцать семь лет. У меня толстый, весь в веснушках живот, хотя я редко подставляю его солнцу. Как будто стайка крошечных рыжих мотыльков устроилась на нем переночевать. Я коротышка, но в наше время мужчины ходят на высоких каблуках. Меня тянет к изысканности в одежде, но я то и дело пачкаю ее за едой. Глаза у меня голубые и ясные. В детстве меня называли ангелочком и частенько наряжали в костюм из синего муара; для матери я был крошечным законченным мирком: ведь в моем облике преобладали цвета моря и песка в сочетании с нежным, как дуновение ветерка, детским голоском. Даже принимая мучительную смерть, она по-прежнему верила, что я достойный человек. В пропахшем полированным деревом полумраке задней комнаты, где

жил Амос Трифеллер (месте наших задушевных бесед), мать, держа меня за руку, нашептывала на ухо слова веры в мое блистательное будущее. Но она не понимала одного, — а у меня не хватало духу ее разочаровывать, — она не понимала, что наступило другое время, и добропорядочность уже не в чести. Наступило Время Больших Возможностей, и только немолодые люди, вроде матери, или патологические слепцы, вроде моего друга Пирса, не видели этого и не собирались этим воспользоваться. Смешно сказать, но Пирс не только не хохочет, но даже не понимает модных при дворе анекдотов, которые я считаю своим долгом ему рассказывать, когда он изредка покидает свой сырой дом в Фенленде и приезжает навестить меня. Объясняет Пирс это тем, что он квакер, и такое объяснение вызывает у меня приступ смеха.

Но вернемся к моей особе, таково уж свойство моей мысли — каждый раз возвращаться к началу.

Зовут меня Роберт Меривел, и насколько недоволен я своей внешностью, и больше всего носом, настолько счастлив носить это имя: ведь только его французскому звучанию обязан я всем, что у

меня есть. После возвращения короля[1] в моду вошло все французское: высокие каблуки, зеркала, паланкины, серебряные зубочистки, веера, фрикасе. И имена. В надежде получить повышение по службе Джеймс Гурлей, мой сосед в Норфолке (уродливый и пренеприятный человек), поставил частицу «де» перед своей шотландской фамилией. Но все, чего добился тщеславный де Гурлей, так это того, что француз— остряк у меня за обедом окрестил его «месье Дегуласс».[2] Нас всех это ужасно развеселило; я расхохотался и безнадежно испортил новые ярко-красные штаны, извергнув из себя пудинг с изюмом.

Представьте себе картину: я сижу за столом в вызывающем наряде и хохочу, как одержимый, волосы мои скрывает роскошный парик, веснушки припудрены, глаза поблескивают при свечах, изо рта вылетает пудинг, повинуясь тому началу во мне, которому неинтересно все серьезное, — оно обожает глупости. Я не утонченная натура и не обладаю высокими достоинствами,

---

[1] Примечания: 1

Карл II Стюарт (1630–1685) — английский король с 1660 г. Находился в эмиграции во Франции во время английской буржуазной революции XVII в.; провозглашение его королем означало реставрацию монархии в Англии.

[2] Примечания: 2

Противный *(фр.).*

однако сейчас, когда вы рассматриваете меня, пользуюсь большой популярностью. Правда, я нахожусь еще в середине моей истории, она может иметь разные концовки, и не все из них мне по душе. Глядя в телескоп, я вижу беспорядочные скопления звезд — они не раскрывают тайну моего пути. Говоря другими словами, несмотря на полученное в юные годы образование, я очень многого не знаю о мире и о своей роли в нем.

Итак, я начинаю свою историю или, скорее, предлагаю вам несколько ее начал. Вот они:

1. В 1636 году, в возрасте девяти лет, я осуществил первое вскрытие с помощью следующих инструментов: кухонного ножа, двух костяных ложечек для горчицы, четырех булавок и линейки. Препарировал я трупик скворца.

Этот научный подвиг я совершил в нашем угольном погребе. Сквозь люк туда проникал тусклый свет, я несколько его усилил с помощью двух свечек, приладив их на подносе, где проводил вскрытие. Вонзив нож в грудку скворца, я чуть не задохнулся от волнения. По мере того как я продвигался к цели, волнение все нарастало, — и вот предо мною лежал, наконец, разверстый трупик птицы. Тогда-то я вдруг внутренним взо-

ром прозрел свое будущее.

2. Кайус Колледж, Кембридж, 1647 год. Там я познакомился со своим будущим другом Пирсом.

Его комната выходила на холодную лестницу и располагалась как раз подо мной. В то время мы оба изучали анатомию и, несмотря на значительную разницу характеров, нас объединяло отрицание теории Галена[3] и стремление точно определить назначение каждой части тела, понять, как она взаимодействует с остальными.

Однажды вечером Пирс пришел ко мне чрезвычайно возбужденный. Его лицо, обычно серо-мучнистого цвета, раскраснелось, покрылось каплями пота, в строгих зеленых глазах горел огонь.

— Меривел, Меривел, — запинаясь произнес он, — спустись ко мне. У меня сидит человек, его сердце можно видеть.

— Ты что, пьян, Пирс? — спросил я. — Неужели нарушил клятву «Ни капли спиртного»?

— Вовсе нет! — с обидой возразил Пирс. — Спустись и увидишь сам. Поразительное зрелище! За шиллинг его можно даже потрогать.

---

[3] Примечания: 3

Гален. Клавдий (129–201) — римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины. Считался непререкаемым авторитетом вплоть до эпохи Возрождения.

— Потрогать сердце?

— Да.

— Раз его владелец требует шиллинг, значит, он не труп?

— Поторопись, Меривел, а то он растворится в ночи, и тогда пиши пропало всем нашим экспериментам.

(Мимоходом замечу, что Пирс порой выражается цветисто и мелодраматично, что удивительно для такого невыразительного, сухого, во всем ограничивающего себя человека. Я часто думаю, что никакое анатомическое исследование не выявит, какую роль несут эти цветистые, витиеватые фразы по отношению к целому — неброско одетому человеку, если только это не специфическая, пусть и находящаяся в противоречии с остальным, особенность квакера, чья походка, привычки и ритуалы однообразны и скучны, в сознании же тайно вызревает восторженная и вычурная речь.)

Мы спустились в комнату Пирса. В камине пылал огонь. Рядом стоял мужчина, лет сорока на вид. Я пожелал незнакомцу доброго вечера, он кивнул в ответ.

— Можно раздеваться? — взглянул он на Пирса.

— Да, — сказал Пирс, голос его дрожал от нетерпения. — Раздевайтесь, сэр!

Мужчина снял сюртук, кружевной воротничок и расстегнул рубашку, позволив ей соскользнуть на пол. На груди, там, где у людей под ребрами сердце, была стальная пластина. Пирс вынул из-за обшлага рукава платок и утер со лба пот. Мужчина вытащил пластину, за ней оказалась льняная повязка с пятнами гноя — он осторожно ее снял. Там была довольно большая — размером с яблоко — дыра; наклонившись вперед и присмотревшись, я увидел розовый, влажный комок непрерывно пульсирующей плоти.

— Видишь? — воскликнул Пирс. Жаркий пот его возбужденного тела, казалось, наполнял комнату тропической влагой. — Видишь, оно сокращается, потом снова увеличивается? Перед нами живое, работающее человеческое сердце!

Мужчина улыбнулся и кивнул.

— Так оно и есть, — сказал он. — Два года назад я упал с лошади, и сломанные ребра загноились; нагноение было таким сильным, а образование язвы шло так быстро, что врачи решили: исцеление невозможно. Однако эксцесс прекратился. Правда, и сейчас следы старой язвы можно видеть по краям отверстия в груди. Язва разъела не толь-

ко плоть, но и ребра, обнажив под ними сердце.

Я был потрясен. У камина с беспечным видом, словно пришел к друзьям перекинуться в картишки, стоял человек, и я мог видеть сокращения его сердца. От этого кружилась голова! Теперь мне стало понятным такое сильное возбуждение Пирса. Но тут — потому-то я и выбрал этот случай как возможное начало моей истории — Пирс извлек шиллинг из засаленного кожаного кошелька, где хранил свой жалкий капитал, и вручил незнакомцу. Тот взял монету и сказал: «Можете его потрогать».

Я уступил Пирсу право сделать это первым и следил, как дрожащая белая худая рука медленно входит в раскрытую грудь. Мужчина переносил вторжение спокойно, с улыбкой на лице — не дергался и не отшатывался.

— Можете обхватить сердце и слегка его сжать, — предложил он Пирсу.

У Пирса отвисла челюсть. Он судорожно сглотнул и вытащил руку наружу.

— Не могу, сэр, — промямлил он.

— Тогда пусть попробует ваш друг, — сказал мужчина.

Я закатал кружевной манжет рубашки. Теперь дрожь прошла по моей руке. Я вдруг вспомнил,

что перед приходом Пирса подбросил в камин пару кусков угля и после не мыл руки — просто вытер о штаны. Осмотрел ладони — нет ли на них грязи? Увидел легкий серый след. Поплевав на руки, я вытер их о свой обтянутый бархатом зад. Мужчина с открытым сердцем равнодушно следил за моими действиями. Рядом раздражающе пыхтел продолжавший потеть Пирс. Рука моя проникла в пустоту. Растопырив пальцы, я с той же осторожностью, с какой мальчишкой вытаскивал яйца из птичьих гнезд, обхватил сердце. Мужчина по-прежнему не выказывал никаких признаков боли. Я сжал сердце посильнее. Пульсация оставалась такой же сильной и регулярной. Я уже собирался отдернуть руку, но тут незнакомец спросил: «Вы уже дотронулись до моего сердца, сэр?»

— Да, — сказал я. — А разве вы этого не чувствуете?

— Нет. Я ничего не чувствую.

За моей спиной тяжело, со свистом, как преследуемый собакой зверь, дышал Пирс. Капелька пота дрожала на кончике его носа. А я пытался осознать то удивительное, что происходило со мной: ведь я держал в руках человеческое сердце! Мало того: я сжимал его — пусть не сильно, но

сжимал, его же обладатель не ощущал никакой боли.

Ergo,[4] орган, который мы называем сердцем и который в нашем представлении является местом или даже троном для всех сильных чувств — от невыносимого горя до возвышенной любви, — полностью бесчувственный.

Я вытащил руку, испытывая не меньшее волнение, чем мой друг квакер, и, если бы не знал, что он не держит дома спиртного, попросил бы плеснуть мне немного бренди. Пока наш гость накладывал льняную повязку, прилаживал пластину, а затем поднимал с пола рубашку, мы с Пирсом сидели на жестком диване, полностью лишившись дара речи.

С этого дня я не могу уже относиться к своему сердцу с прежним трепетом, с каким относится к этому органу большинство людей.

3. Мой отец получил должность королевского перчаточника в январе 1661 года, после реставрации монархии.

К этому времени я, проучившись четыре года в Падуе у знаменитого врача-анатома Фабрициуса, посещал Королевский медицинский колледж.

---

[4] Примечания: 4
Следовательно *(лат.).*

Работал я над темой, которая называлась «Течение болезни: влияние расположения в организме опухолей и прочих злокачественных образований для распознавания и лечения болезней». Но меня обуяла лень. Вместо того чтобы исполнять свой долг и лечить больных в госпитале Св. Фомы, я поздно вставал по утрам, а днем, когда надлежало сидеть на лекциях, частенько слонялся по Гайд-парку с одной лишь целью — подцепить и склонить к тому, что я в шутку называл «актом забвения», какую-нибудь пухленькую шлюшку.

Случилось так, что после возвращения короля мои самодисциплина и упорная работа, казалось, лопнули, как мыльный пузырь. Жизнь захлестнула меня, было жалко тратить ее на работу. Женщины стали дешевле красного вина, и я жадно припал к этому источнику, не в силах утолить жажду. В распутстве я не знал удержу и любил забавляться сразу с двумя, не ведая стыда, как дикий вепрь, чью щетину напоминают мои редкие жесткие волосы. Я проделывал это даже в общественных местах: в темных переулках, наемных экипажах, на речных пароходиках, в задних рядах театрального партера. Женщины были моей страстью, я постоянно мечтал о них. Это продолжалось, пока я не попал в Уайтхолл.

Впечатление от проведенного там дня было таким сильным и незабываемым, что мое обожание переключилось на короля.

Как я теперь понимаю, в основе великодушной, но упрямой натуры короля Карла II лежит восхищение перед мастерством и высоким профессионализмом. Он взял к себе на службу отца, потому что распознал в нем влюбленного в свою профессию искусного и усердного ремесленника. Именно такие люди вызывают его восхищение: ведь они живут в особом мире, у них и в мыслях нет изменить свое положение. Моему отцу — галантерейщику — никогда не приходило в голову поменять профессию, стать, например, садовником, оружейником или ростовщиком. Он нашел свою нишу и уверенно себя в ней чувствовал. Король Карл, примеряя изготовленные отцом тончайшие лайковые перчатки, поделился с ним сокровенными мыслями: он надеялся, что во время его правления каждый англичанин окажется «на своем месте, займется своим делом, ремеслом, торговлей. Все будут довольны, не будет соперничества, желания подсидеть другого, никто не захочет прыгнуть выше головы. Воцарится мир, и я смогу спокойно управлять страной».

Не знаю, что ответил отец, но одно мне извест-

но: именно тогда король пообещал показать ему («в следующий раз, когда вы опять принесете перчатки») коллекцию часов, хранившихся в его кабинете.

Не сомневаюсь, что отец низко поклонился. То была большая честь: мало кто имел доступ в королевский кабинет. Единственный ключ от него хранился у Чиффинча, личного слуги короля. И вот тогда — возможно, на коленях? — отец заговорил обо мне и спросил короля, нельзя ли представить ему сына, студента Королевского медицинского колледжа, «на случай, если Его Величеству потребуется еще один врач… для придворных или даже для слуг…»

«Конечно, — так, кажется, ответил король, — ему мы тоже покажем часы. Думаю, специалисту в области анатомии будет интересно узнать, как устроен часовой механизм».

Вот как случилось, что ноябрьским днем, подгоняемый холодным ветром, отец появился в моем жилище на Ладгейт-Хилл. Я же, как обычно по вторникам, совершал «акт забвения» с Рози Пьерпойнт, женой паромщика, чей смех был таким же сочным и роскошным, как и та ее анатомическая часть, которую она скромно именовала своей «штучкой». Находясь в плену разом и у «штучки»,

и у заливистого смеха паромщицы, я сам восторженно хихикал и, торопясь пережить краткий миг пребывания в раю, так энергично двигался, что не заметил, как вошел отец. Не сомневаюсь, зрелище было преуморительное: приспущенные штаны и чулки болтаются где-то на лодыжках, из складки на заднице торчит кустиками рыжая щетина, ножки миссис Пьерпойнт, как у заправской циркачки, взлетают по моим бокам. Всякий раз, вспоминая, в каком виде застал меня отец, я заливаюсь краской стыда; предаваясь горю после его страшной гибели в огне, я порой ловил себя на утешительной мысли, что это воспоминание тоже сгорело вместе с его несчастным мозгом.

Спустя час мы с отцом были в Уайтхолле. Я надел на себя самый чистый камзол, какой только сумел отыскать, и смыл с лица помаду Рози Пьерпойнт. Волосы тщательно запрятал под парик. Туфли до блеска натер мебельной политурой. Я был взволнован, возбужден и полон гордости за отца, удостоившегося внимания самого короля. Но когда мы шли по Каменной галерее к королевским покоям, я почувствовал робость, у меня даже перехватило дыхание. Вокруг прогуливались люди и, похоже, чувствовали себя раскованно. Мне же казалось, что близкое при-

сутствие короля все меняет.

— Прибавь шаг, — сказал отец. — Из-за твоих акробатических упражнений мы опаздываем.

У королевских комнат стояла стража, но отец сделал знак, и двери перед нами распахнулись. С руки отца свисал шелковый мешочек, в нем лежали две пары атласных перчаток. Мы вошли в гостиную. В облицованном мрамором камине ревел огонь. После прохлады галереи тянуло к теплу, но из-за охватившей меня слабости я не мог и шагу ступить и дрожал при мысли, что могу доставить новые неприятности отцу (который и так испытал достаточно потрясений за этот день), если вдруг грохнусь в обморок.

Время будто деформировалось и текло, как во сне. Из спальни короля вышел слуга и пригласил нас войти. У меня было такое ощущение, что мы, как конькобежцы по льду, пронеслись по тридцатифутовому персидскому ковру; споткнувшись, влетели в большие позолоченные двери и рухнули у самых длинных, самых элегантных ног, какие я когда-либо видел.

Через мгновение я осознал, что мы вовсе не распластались на полу, а всего лишь стоим на коленях. Каким-то образом мы, конькобежцы, не упали. Это было уже чудом, потому что все вокруг

— кровать под балдахином, канделябры, даже обтянутые парчой стены, — казалось, двигалось, то расплываясь, то вновь обретая четкость.

Потом послышался голос: «Меривел. А кто это?»

В настоящее время, когда жизнь моя окончательно запуталась, я часто вспоминаю этот голос: *Меривел. А кто это?* Сначала — мое имя. Потом признание — он не знает меня. *Меривел. А кто это?* Воспоминание соответствует нынешним обстоятельствам. Теперь я не тот Меривел, каким был тогда. Тем ноябрьским днем мне показали комнату, заполненную самыми разными часами, они били и звонили вразнобой. Предложили конфеты, но я не мог их проглотить. Когда мне задавали вопросы, я молчал, не в силах вымолвить ни слова. Подошла собака, обнюхала меня, и ощущение от ее холодного носа было отвратительным, как от прикосновения рептилии.

После какого-то времени, показавшегося мне бесконечным (до сих пор не знаю, чем оно было заполнено), мы с отцом вновь оказались в галерее, и там мой родитель стал кричать на меня, называя дураком и тупицей.

На Ладгейт-Хилл я вернулся один и еле дотащился до своей комнаты. И только здесь, в этом

убогом жилище под самой крышей, я осознал весь ужас случившегося. Ощущение было такое, словно на меня из стены вывалилось гнездо гнусных личинок. Оказавшись на расстоянии протянутой руки от блестящего будущего, я не сумел этим воспользоваться. У меня был шанс, и я его упустил.

И тогда я взвыл, как раненый зверь.

4. Неясно, что вызвало пожар в мастерской отца в новогоднюю ночь 1662 года. Конечно, там была уйма деревянных ящиков, на полках хранились легковоспламеняющиеся материалы, без которых в отцовской работе не обойтись: фетр, клеенка, сафьян, мех, кружева, перья, ленты, пачки атласа, камлота, шелка. Огоньку, вспыхнувшему от опрокинутой лампы или свечи, было чем поживиться.

Известно только, что пожар случился поздно вечером, огонь охватил мастерскую и быстро побежал наверх, в жилые комнаты; родители в это время ужинали. Слуге Латимеру удалось открыть маленькое оконце на крыше, он протиснулся в него, пытаясь спасти старого хозяина и его жену. Мать уже ухватилась за его руку, но неожиданно упала — у нее открылась рвота, она задыхалась. Отец хотел поднять ее, но она лежала у него на

руках без сознания.

Возможно, отец и крикнул: «Брось веревку!», но слова заглушала обмотанная вокруг рта и носа салфетка, и Латимер его не понял. Он беспомощно смотрел вниз, дым же тем временем становился все плотнее, темнее и рвался наружу — туда, где, подвергая себя опасности, прильнул к железной крыше верный слуга. На следующее — помнится, очень холодное — утро Латимер рассказал мне: «Я видел, как они умирали, мистер Роберт. Чтоб их спасти, я отдал бы все, что заработал за свою жизнь, но у меня ничего не вышло».

На похоронах было много народу. Леди Ньюкасл, для которой отец делал молескиновые повязки на глаза, прибыла в черной карете, лошадям в гривы вплели траурные ленты. Король прислал на церемонию двух придворных. Амоса Трифеллера, впавшего к этому времени в старческое слабоумие, принесли на кладбище в нанятом паланкине, он, не переставая, рыдал. Январский ветер высоко возносил молитвы и нес дальше — в безмолвие.

На следующий день меня вновь пригласили в Уайтхолл.

Смерть моих добрых родителей, а также на время остывшая страсть к женскому полу спо-

собствовали четкому осознанию в моем мозгу анатома того, что смерть может неожиданно, в одно мгновение, унести нашу жизнь. Я не брезглив. В Падуе, когда летом в анатомическом театре не хватало трупов, Фабрициус как-то провел урок, вскрыв тело нищего, пробывшее три дня в реке. Студентов-немцев, известных своей несдержанностью и грубостью, стало рвать, они отчаянно ругались. Я же чувствовал себя хорошо, спокойствия не утратил и делал записи по ходу объяснений Фабрициуса. Однако после гибели родителей я стал смотреть на свое тело, которое и раньше не было для меня предметом гордости, с новым отвращением, с новой неприязнью и зародившимся страхом. И, как часто бывает в жизни, этот страх парадоксальным образом сослужил мне хорошую службу. Страх смерти уменьшил, если не совсем уничтожил, страх перед сильными мира сего. Теперь, попав в Уайтхолл, я не был подавлен величием этого места и не держал себя как немой болван. Бедный отец порадовался бы за меня, если б мог видеть, как непринужденно я себя веду.

Король принял меня в гостиной. Он долго и с большим уважением говорил об отце. Потом повторил свою любимую мысль: никогда не стоит

прыгать выше головы, надо знать свои способности и свое место. Я кивнул и поклонился.

— Я пригласил тебя сюда, Меривел, потому что глубоко уважал твоего отца и восхищался им, — сказал король.

— Спасибо, сир, — поблагодарил я.

— Однако у меня есть для тебя и работа; надеюсь, ты с ней справишься, — в противном случае причинишь большую боль моему сердцу.

— А знаете ли вы, сир, что человеческое сердце, этот наш внутренний орган, ничего не чувствует? — вдруг вырвалось у меня.

Король посмотрел на меня с грустью.

— Ах, Меривел, — сказал он, — откуда ты это взял?

— Я видел сердце собственными глазами, сир.

— Видел? Но мы видим далеко не все. Ты, как врач, не можешь этого не знать. Вот, посмотри на мою руку. На ней перчатка, сшитая твоим покойным отцом. Мы *видим* только эту замечательную перчатку, она слегка морщит на четвертом пальце, там я ношу мой любимый массивный перстень с сапфиром. А ведь под перчаткой сама рука, способная производить тысячу движений

— взлетать *en l'air,*[5] как рука танцора, тянуться за милостыней, как рука нищего, сжиматься в кулак, как рука разбойника, осенять себя крестным знамением, как рука епископа… а как затейливо организованы кости в кисти…

И король стал довольно точно описывать анатомическое строение человеческой кисти. К тому времени, когда он закончил, я подумал, что благоразумнее не возвращаться к теме «сердца», а дать королю возможность сказать наконец, зачем меня пригласили.

— Один из моих псов, похоже, подыхает, — сказал он. — Ветеринар несколько раз пускал ему кровь, сбрил шерсть на спине и поставил банки, давал рвотное и слабительное, но все без толку, — бедная тварь не выздоравливает. Если вылечишь его, Меривел, я назначу тебя придворным врачом.

Я упал на колени и вдруг с ужасом заметил на своих штанах яичное пятно.

— Благодарю вас, сир, — пролепетал я.

— Тебя немедленно отведут к нему, Меривел. Еду, питье, ночное белье, а также все необходимые медицинские инструменты тебе принесут.

---

[5] Примечания: 5
Вверх *(фр.).*

Будешь здесь жить, пока пес не выздоровеет или не околеет. Требуй любые лекарства, которые сочтешь полезными.

— Хорошо, сир.

— Пса зовут Бибилу. Он также откликается на Биби и Лу-Лу.

— Лу-Лу, Ваше Величество?

— Да. Кстати, твое имя приятно звучит.

— Спасибо, сир.

— Меривел. Очень мило.

Расставшись с королем, я последовал за двумя слугами по длинному коридору, площадью не менее нескольких акров (или лучше сказать *hectares*[6] — ведь король, похоже, намерен повсюду насаждать французские названия?). Меня привели в уютную комнату с видом на реку и причал, где толпился народ. В камине горел огонь. Рядом в небольшой корзинке лежал рыже-пегий спаниель. Болезненно худое тельце, хриплое дыхание. На столе у окна стояли графинчик с вином, бокал и блюдо с инжиром. На кровати лежали ночная рубашка и ночной колпак из тонкого полотна. Как только ушли слуги, оставившие меня наедине с собакой, я тут же переоделся.

---

[6] Примечания: 6
Гектаров *(фр.).*

Признаться, у меня весь день отчаянно чесалась под париком голова. Я также снял туфли и камзол, налил себе вина.

Я чувствовал себя безмерно усталым. После пожара я почти не спал, но усталость была не столько физического, сколько психического свойства. Одиночеству я был только рад. Захватив графинчик в постель, я присосался к его горлышку, поглощая вино жадно, как римский сенатор. Пару раз я взглянул на собаку. Спаниель дергался и скулил во сне. «Лу-Лу», — тихо позвал я, но песик не шевелился. Сейчас встану, осмотрю собаку и решу, что делать, сказал я себе, не в силах оторваться от вина, оказавшегося одним из лучших, что я пил в жизни. Вскоре блаженная легкость бархатом окутала мое сознание. Только один раз, почувствовав внезапный прилив голода, я заставил себя подняться с кровати, чтобы съесть немного инжиру, но я отяжелел, ноги мне не повиновались, и, ощущая себя бочонком с угрями на склоне, я вернулся, спотыкаясь, к кровати и там впал в оцепенение от выпитого вина и запоздалой тоски по погибшим родителям.

Проспал я часов семь. А когда проснулся, на улице было уже темно, в моей же комнате горел свет. На столе стоял ужин — жареные куропатки

и салат. Пытались ли слуги меня разбудить? Если пытались, то, конечно, донесут королю, что врач Меривел спит пьяным сном в сбившемся ночном колпаке. Я даже застонал. Второй раз выпал мне шанс, и я снова его упустил.

Я поднялся, ноги все еще плохо мне повиновались. Встал на колени перед камином, который по-прежнему жарко пылал: невидимые слуги подбросили в него сухие дрова. Погладил беднягу Лу-Лу по голове. К моему удивлению, он открыл слезящийся карий глаз и посмотрел на меня. Склонившись ниже, я прислушался к его дыханию. Хрипы уменьшились. Заглянул в его пасть. Язык распухший, нос сухой. Я набрал воды из умывальника и стал вливать ее понемногу в пасть. Он пил со всей жадностью, на какую только способен больной спаниель. Похоже, сказал я себе, что насильственно вызванные понос и рвота привели к обезвоживанию организма. Осознав это, я вдруг понял, что надежды на исцеление собаки сейчас гораздо больше, чем восемь часов назад, когда я сюда впервые попал. Мое наплевательское отношение сыграло положительную роль. Ведь пока я спал, его никто не беспокоил, — возможно, впервые за несколько дней и ночей, и в борьбу смогли вступить природные силы организма.

«Studenti![7] — громко провозглашал Фабрициус, и его голос, как глас Всевышнего, эхом разносился по примитивному анатомическому театру. — *Non dementicare la natura!*[8] — Помните о жизненных силах организма! Природа — лучший лекарь, с ней никому не сравниться — особенно вам, немцы, от которых нет ни минуты покоя.

В течение последующих семнадцати часов я наблюдал за Лу-Лу. Послал за спиртом и обработал спину животного: после банок она покрылась фурункулами. Больше я ничего не делал, только поил его, а когда жар спал, дал псу несколько кусочков куропатки, предварительно разжевав. На следующий вечер, когда мне принесли цесарку, крем и редиску, я уже знал, что спаниель будет жить. И не ошибся. Через четыре дня я отнес его в покои короля и опустил на королевские колени, где он застыл в полном восторге и только махал хвостом.

5. Пятое начало — самое странное, самое неожиданное и самое важное. Без него не было бы этой истории.

---

[7] Примечания: 7
Студенты *(итал.).*

[8] Примечания: 8
Не мешайте природе *(лат.).*

Изложу его с надлежащей краткостью. (В отличие от Пирса, мне удается быстро дойти до сути, его же истории всегда так перегружены мрачными метафизическими отступлениями, что слушатели теряют нить рассказа чуть ли не с самого начала.) Итак…

Я ушел из Королевского колледжа и забрал свои вещи из квартиры на Ладгейт-Хилл. Во дворце мне предоставили две уютные комнаты, в них не было лишь одного — вида на реку, недоставало связанного с рекой гула людских голосов, живописных бродяг и переменчивого света. Вот краткий перечень моих обязанностей: «Ежедневный уход за восемнадцатью королевскими собаками, лечение их, проведение при надобности операций, то есть совершение всего возможного для продления их жизни». Мне полагалось вознаграждение — сто ливров в год, и если к ним присовокупить двести тридцать семь ливров, оставленных родителями и, к счастью, уцелевших в сыром подвале, то этого вполне могло хватить в обозримом будущем на хорошее вино, туфли на высоких каблуках, шелковые камзолы, брюссельские кружева и дорогие парики. Короче говоря, мне страшно повезло. («Ты этого не заслуживаешь, Меривел», — заметил

Пирс; сам же он по-прежнему выбивался из сил, продолжая лечить нищих в больнице Св. Варфоломея и — премерзкое занятие — обихаживая сумасшедших в Бедламе.[9])

Свое назначение я отпраздновал, встретившись и напившись с миссис Пьерпойнт в таверне «Нога», после чего трахнул ее в грязной канаве на Хэмпстед-Филдс. Узнав о моих успехах, она имела смелость спросить, не могу ли я теперь, попав в услужение к королю, найти и для неотесанного мистера Пьерпойнта, простого паромщика, тепленькое местечко при дворе. Тогда я и усвоил урок, который с тех пор не забываю: за наделенными властью людьми, которым сопутствует успех, тянется длинный шлейф разного рода просителей и прихлебателей, их громкие голоса и лица вторгаются в личную жизнь, преследуют в снах, однако от них можно получать самые разные, в том числе и весьма приятные вознаграждения.

Год при дворе прошел в развлечениях и не без пользы. Мне скоро стало ясно, что я по своей природе создан для придворной жизни. Моя любовь к сплетням и веселью, склонность к обжорству,

---

[9] Примечания: 9
Сумасшедший дом в Лондоне.

щегольство, умение по заказу пердеть — все это привело к тому, что я стал одним из самых популярных людей в Уайтхолле. Без меня редко проходила партия в криббидж или рамми,[10] меня приглашали почти на все музыкальные и танцевальные вечера. Женщины находили меня забавным и дружно позволяли щекотать не только свое воображение, но и сладостные, таящие наслаждение местечки, так что я редко спал один. И — что самое замечательное — король с самого начала был со мной чрезвычайно приветлив; его расположение, как он утверждал, проистекало не только из благодарности за выздоровление Лу-Лу: никто не мог его рассмешить так, как я. Я стал кем-то вроде королевского шута. Когда я заставлял его от смеха держаться за живот, он делал мне знак подойти, брал тонкими пальцами мой приплюснутый нос, притягивал к себе и нежно целовал в губы.

Довольно скоро я убедился, что король активно ищет моего общества, что меня несколько озадачило. Он показал мне свои сады и теннисный корт и даже стал тренировать меня. Я оказался более способным и ловким учеником, чем можно

---

[10] Примечания: 10
Карточные игры.

было ожидать. Король делал мне подарки: великолепные французские часы из той коллекции, которую я видел в злосчастный день нашего знакомства, набор столовых салфеток в полоску, таких больших, что костюм под ними скрадывался, — это придавало мне дурацкий вид, и все за столом покатывались со смеху. Он настоял, чтоб я назвал свою собаку, нежную девочку-спаниельку, Минеттой — именем его любимой сестры.

Нельзя сказать, что я не был счастлив. Моего незаконченного медицинского образования вполне хватало, чтобы поддерживать собак в хорошей форме, тем более что питались они мясом и молоком, спали в тепле. Что же касается удобств, развлечений и женского общества, я имел все, что только может пожелать мужчина. Я понемногу толстел и становился все ленивее, но такое происходило со многими придворными, не обладавшими неукротимой энергией и любознательностью короля Карла. Когда Пирс приехал навестить меня, его лицо побледнело и помрачнело при виде такой, почти языческой, роскоши. «Болезнь нашего века — страшная моральная слепота», — сказал он с каменным лицом.

А потом…

Одним апрельским утром король послал за

мной.

— Меривел, — сказал он, — я хочу, чтобы ты женился.

— *Женился,* сир?

— Да.

— Но я не думал о женитьбе, сир…

— Знаю. Я и не прошу тебя думать. Я прошу тебя жениться и тем услужить мне.

— Но…

— Разве я не оказывал тебе множество милостей, Меривел?

— Да, сир.

— *Voilà.*[11] Значит, и ты можешь хоть раз отплатить мне добром. Впрочем, будет и вознаграждение. Я собираюсь наградить тебя орденом Подвязки, тогда вы с женой получите титул, пусть и скромный. И еще небольшое, но очень миленькое поместье в Норфолке, конфискованное у отпетого врага монархии. Так что, сэр Роберт, исполните свой долг — без колебаний и не торгуясь.

Я преклонил колено. Мы находились в королевской опочивальне, из соседнего кабинета доносилось нестройное тиканье и звон много-

---

[11] Примечания: 11
Ну вот! *(фр.)*

численных часов — в унисон моим собственным спутанным мыслям.

— Так что скажешь? — спросил король.

Я поднял на него глаза. Королевское лицо милостиво улыбалось мне. Королевские пальцы поглаживали темно-каштановые усы.

— Кто?… — заикаясь произнес я.

Король откинулся в кресле и положил ногу на ногу.

— Ах да. Ну конечно же, Селия Клеменс.

Колено, удерживающее вес моего тела, задрожало и подкосилось. Я рухнул боком на ковер. Послышался королевский смех.

— Это означает, что тебе — и, возможно, ей — придется пожить в Норфолке, и, следовательно, на какое-то время я лишусь удовольствия тебя видеть. Но я готов принести эту жертву.

Я предпринял попытку вернуться в первоначальное положение, однако левое колено вдруг онемело и не повиновалось, так что мне оставалось только валяться в ногах короля в позе эмбриона.

— Думаю, мне нет нужды вдаваться в подробности, Меривел? — спросил король.

— Видите ли, сир…

— Значит, нужно? Я удивлен. Мне казалось, ты

один из самых осведомленных людей при дворе.

— Просто это дело… это дело… как-то не укладывается у меня в голове.

— Не понимаю почему. Все проще простого, Меривел. Я привык к частому присутствию Селии Клеменс в моей постели. Всем известно, что она меня развлекает. Точно так же и моя *grand amour,*[12] Барбара Каслмейн, абсолютно необходима мне для хорошего самочувствия. Короче говоря, я люблю обеих женщин и ни одну не хочу терять, однако у меня нет больше желания терпеть из-за мисс Клеменс упреки леди Каслмейн. От этого я становлюсь раздражительным, и у меня расстраивается пищеварение. Поэтому Селию нужно срочно выдать замуж — будет лучше, если я стану встречаться с ней тайно, о чем не узнает леди Каслмейн. Но за кого ее выдать? Конечно, не за влиятельного аристократа: тот со временем вспомнит о своем положении, в нем заговорит голос чести, и это расстроит меня. Нет. Мужем Селии я хочу видеть человека, которому титул и поместья доставят радость, человека, общество которого будет приятно его жене в те редкие периоды времени, когда они останутся вдвоем,

---

[12] Примечания: 12
Большая любовь *(фр.).*

человека, который слишком любит женщин, и потому не совершит ошибку, влюбившись в одну из них. Остановившись на тебе, Меривел, я сделал правильный выбор. Разве не так? Кроме того, у тебя благозвучное имя, что я не раз с удовольствием отмечал. Я могу, не теряя хладнокровия, предложить Селии стать леди Меривел, — разумеется, только на бумаге.

Это и было пятым началом.

Теперь мне предстояло опекать не собак, а самую молодую из королевских любовниц. Когда я покинул комнату короля, меня больше всего интересовал практический вопрос: как далеко от Лондона и в каком направлении (северо-восточном или северном) расположено графство Норфолк.

Глава вторая
Брачные игры

День перед свадьбой моей невесте вместе с подружками следовало провести — как того требовал обычай — в доме своего отца. Утром я подъеду (из довольно скромной гостиной, в которую меня вынудили въехать вечером шестого июня) к ее дверям в сопровождении бегущих впереди с визгом жителей деревни в домотканых подвязках, нарядных бантиках, лентах и прочих украшениях; все это под звуки флейт и виол, стук тамбуринов. Я с нетерпением ждал этой церемонии. Не стоит напоминать, что я падок до всяких развлечений, и шумное пышное празднество вполне в моем вкусе.

Мне не терпелось поскорее надеть свадебный наряд, придуманный королем и пошитый его личным портным: восхитительную белую шелковую рубашку, алую ленту, штаны в белую и золотую полоски, белые чулки, лиловые башмаки с золотыми пряжками, черный парчовый камзол и темно-лиловую шляпу с такими роскошными белыми перьями, что издали можно было поду-

мать, будто на голове у меня трехмачтовый бриг.

Я, конечно же, пригласил на свадьбу Пирса, но он отклонил приглашение, чем очень меня расстроил. Хотелось покрасоваться перед ним в свадебном наряде. Думаю, он отказался не из зависти или по недоброжелательству, а от страха, что при виде меня у него остановится кровообращение, — тут он вступал в противоречие со своим учителем Уильямом Гарвеем,[13] который первый понял, что кровь циркулирует по телу: выходит из сердца и вновь поступает в него по легочным венам. «Не проходит и дня, — как-то сказал мне Пирс, — чтобы я не ч*увствовал* в себе УГ». (Пирс склонен к таким метафизическим высказываниям, но я люблю его, и потому отношусь к этому снисходительно.)

В середине апреля мне пришлось ехать к отцу моей невесты, сэру Джошуа Клеменсу, просить руки его дочери. Похоже, король уже побывал тут и поручился за меня, представив владельца поместья Биднолд в Норфолке как человека честного, способного, богатого, помышляющего только о том, чтобы сделать его дочь обеспеченной и

[13] Примечания: 13

Гарвей, Уильям (1578–1657) — английский врач, физиолог и эмбриолог. Работал в больнице Св. Варфоломея, основатель учения о кровообращении.

счастливой.

Поэтому сэр Джошуа Клеменс принял меня очень радушно, угостил хересом и только раз отвел глаза, когда я пролил вино на шелковую обивку кресла; он заверил меня, что королевского слова ему достаточно, чтобы со спокойной душой вручить мне красавицу дочь. Не ясно только, знал ли сэр Джошуа ко времени свадьбы, что Селия — любовница короля. Подозреваю, что знал и гордился этим. Ведь король в нашем мире — все равно что Бог или сама Вера. Он источник красоты и могущества, по которым мы все тоскуем и мечтаем, чтобы с их помощью успокоились наши разгоряченные сердца. Сэр Джошуа произвел на меня впечатление разумного и во всех отношениях благородного человека, но даже он густо покраснел от удовольствия, услышав, что король удостоит своим присутствием нашу свадьбу. Он поведал мне, что величайшей радостью его жизни является музыка — в частности, игра на виоле да гамба. «Я буду играть на свадьбе моей дочери, — сказал он восторженно, — тогда же сбудется и моя давняя мечта: восстановленный на троне король услышит мою игру».

До свадьбы у меня было несколько встреч с Селией — каждый раз под надзором короля; моя

невеста была так пылко влюблена (об этом говорил весь Лондон), что ни на секунду не сводила с его лица своих карих глаз. На этих свиданиях я прекрасно понимал, что мое присутствие здесь лишнее, но всячески подавлял эту мысль: меня очаровали карты Норфолка, на которых король показал мне поместье Биднолд и прилегающие к нему земли.

Насколько смог, я рассмотрел на этих мимолетных встречах свою невесту: около двадцати лет, очень хорошенькая, черты лица мелкие. Бледная, чистая кожа. Руки маленькие. Светло-каштановые волосы убраны с помощью лент назад и оттуда свободно падают локонами на плечи. Плоская грудь, узкая ножка. Выражение лица спокойное, как у ее отца. Отдавая должное ее неброской красоте, я с облегчением отметил, что она совсем не в моем вкусе: слишком изящна, слишком прямо держится, слишком целомудренные изгибы тела. Рядом с Рози Пьерпойнт (несмотря на изобилие женщин при дворе, я не находил в себе сил порвать с этой озорной распутницей) Селия выглядела бы как мышка рядом с кошкой. В любовных забавах мне нужен хищный клюв и острые когти. Я люблю жаркую схватку, чуть ли не потасовку. Пассивность, которую я

видел в Селии, делала ее в моем порочном воображении существом совершенно бесполезным.

Вы спросите, как прошла моя брачная ночь? Что ж, в свое время узнаете, скажу только, что ни у кого в Англии не было второй такой. Но сначала я должен рассказать о поездке в Биднолд вместе с королем и Селией.

Барский дом, выстроенный при Якове I[14] и окруженный крепостным рвом, стоял посреди обширного парка, где мирно паслись маралы. Внутреннее убранство дома было простое и унылое, оно отражало пуританские вкусы ее прежнего незадачливого владельца, Джона Лузли, эсквайра. Скучный интерьер удручил меня, но в то же время пробудил фантазию: я решил, что изменю эти мрачные комнаты — пусть в малиновых и красных тонах, в охре и золоте, в буйстве красок и света отразится моя необузданная, не знающая удержу натура. Я все здесь переделаю. Распахну двери этого дома, и его новый облик раскроется перед всеми, как сложнейшая анатомия скворца раскрылась предо мною в луче света, проникающего из люка в угольном погребе.

Во время первого посещения Биднолда я, оста-

---

[14] Примечания: 14
Яков I (1566–1625) — английский король из династии Стюартов.

вив короля и Селию одних (они благопристойно восседали на тюдоровской скамье), переходил из комнаты в комнату, и зрелище моего будущего дома гак распалило меня, что я скинул камзол, развязал пояс и бросил их куда попало. Мой дом! А я-то думал, что придется всю жизнь ютиться в крошечной квартирке. Теперь же у меня тридцать комнат — есть где развернуться. В одной почти круглой комнате в Западной башне я непроизвольно взвизгнул от восхищения — так прекрасно было это помещение; я не знал его предназначений да и не интересовался этим, но сразу понял, что его можно довести до совершенства. Казалось, именно здесь, в Биднолде, я получил то, что Гарвей называет «восхитительным пиром ума». И это был *мой* пир! Я сел, снял парик, почесал щетину и расплакался от счастья.

Все были довольны, приготовления к свадьбе шли полным ходом. То, что мы с Селией слова друг другу не сказали и она смотрела на меня с явной неприязнью, похоже, не имело никакого значения. Расстояния, которые преодолевал король, чтобы сохранить Селию (несмотря на ревность леди Каслмейн), убедили ее в силе его любви. Он успокоил ее, сказав то же, что в свое

время сказал и мне: «Физической близости между вами не будет. Во время моего отсутствия ты станешь оказывать ей братские знаки внимания, а она будет тут за хозяйку».

— Я предпочел бы сам быть хозяином в своем доме, сир.

— Твоя воля. Но без хозяйки не обойтись, если станешь устраивать здесь приемы, а, я думаю, ты этого захочешь.

— Конечно, сир. Я уже сейчас мечтаю об этом.

— Прекрасно. Я симпатизирую тебе, Меривел. Ты современный человек.

Итак, до седьмого июня 1664 года, дня моей свадьбы, я пребывал в лихорадочном возбуждении, постоянно общаясь со штукатурами, малярами, обивщиками мебели, серебряных дел мастерами, гобеленщиками и стеклорезами.

Как описать мне свою свадьбу? Она выглядела как вполне пристойный спектакль, из которого по прошествии времени отдельные реплики, сцены, некоторые люди и костюмы ярко всплывают в памяти, в то время как все остальное кануло во тьму.

Помню убогую гостиницу, где провел ночь перед свадьбой. Я прохожу по заплеванному, в опилках полу, переступаю порог и выхожу

на улицу в лиловом, белом и золотом одеянии, чтобы проследовать со своей разношерстной кавалькадой к дому Селии.

Мне помогают сесть на коня серой масти, с колокольчиками на уздечке. Я представляю, как шикарно выгляжу в роскошном наряде, и дух мой ликует: «Вперед! Скорей! Вперед!» Народ уже изрядно выпил, его тянет к распутству, в толпе слышен визг, джентльмены перемешались с крестьянами, в воздух взлетают перчатки и ленты. Веселей компании не найти, а с неба, улыбаясь и кивая, взирает на мои перья летнее солнце.

Мы едем вверх по холму, впереди бегут дети, рядом поспешает скрипач, его голова похожа на репу, а извлекаемая из инструмента мелодия под стать танцам вокруг майского дерева.[15] Это *действительно* зрелище, спектакль, говорю я себе, сидя на украшенном лентами коне. Я играю роль жениха, Селия — невесты. И все же я бесконечно счастлив. Мне хочется кого-то обнять — Бога? короля? покойную мать? — за то, что мне подарили это прекрасное утро. Поэтому, завидев дом невесты, я свешиваюсь с коня, подхватываю деревенскую девчонку с ямочками на щеках и смачно

[15] Примечания: 15

Майское дерево — украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют первого мая в Англии.

ее целую. Мужчины свистят, женщины хлопают в ладоши, скрипач с головой, похожей на репу, улыбается, показывая почерневшие зубы.

Еще я отчетливо помню музыку Джошуа Клеменса. Мы вернулись из церкви уже мужем и женой. На белой ручке Селии надетое мной кольцо. Как и положено, я запечатлел невинный поцелуй на ее сжатых губках, а потом предложил руку и провел молодую жену по залитой солнцем лужайке к дому сэра Джошуа. Накрытый стол превосходит по роскошеству все дотоле виденные мной праздничные столы, и я набрасываюсь на еду с присущим мне азартом. Сидящий рядом с невестой король посмеивается и устраивает настоящий спектакль, обвязав меня салфеткой. Во второй раз за день я радуюсь, что здесь нет Пирса. Его аскетическая натура содрогнулась бы при виде количества и разнообразия поданных блюд. Я же с первого взгляда оценил фрикасе, отварных окуньков, лососину, жареных бекасов, павлинов, чирков, диких уток, перепелов, пироги с мясом, карбонад, пирожки с мозгами, языки, пироги с олениной, запеченных цесарок, салаты, кремы, айву, засахаренные фрукты, марципан, варенья, сыр и фрукты. И еще игристые французские вина, крепкое аликанте и, конечно, херес

— все это будет выпито еще до того, как меня с Селией отведут в спальню.

Примерно через час безудержного обжорства и пьянства, когда волнение уступает место приятному чувству сонливости, я вижу, что сэр Джошуа поднимается из-за стола, берет виолу и встает перед нами у пюпитра. Король прилагает достаточные усилия, чтобы воцарилась тишина, но джентльмены в конце стола не обращают внимания на сэра Джошуа, продолжают грубо выражаться и гоготать. Одного рвет прямо в шляпу, что очень меня смешит. Но сэр Джошуа не обращает на них ни малейшего внимания. Он поднимает инструмент и начинает играть без всякого предупреждения.

Я ожидаю услышать зажигательный танец, при звуках которого мы могли бы, если придет охота, выйти из-за стола и пройтись легким галопом. Но сэр Джошуа выбрал музыку серьезную и печальную — «Слезы» Дауленда[16] (если только меня не подводит память), и вскоре я чувствую непреодолимое желание разрыдаться. Я смотрю на сэра Джошуа, склонившегося над виолой, и в своей печали анатома мысленно снимаю — слой

---

[16] Примечания: 16

Дауленд, Джон (1562–1626) — английский композитор и певец. В сборник «Слезы» входят произведения для лютни, виолы и скрипки.

за слоем — с его лица сначала кожу, потом мышцы, сухожилия, связки, пока не остается один белый череп с пустыми глазницами…

Я отвожу глаза. Закрываю лицо салфеткой и делаю вид, что подавился, — не хочу, чтобы фиктивная жена видела мои слезы. Поднявшись из-за стола, я на ощупь выхожу из комнаты. Слезы струятся у меня по лицу, я рыдаю, как больной мул. Спотыкаясь, выбираюсь на солнечный свет, падаю на лужайку и лежу там, сотрясаясь в рыданиях, не меньше десяти минут.

Наконец я сажусь, сморкаюсь в мокрую салфетку и тут замечаю, что в нескольких шагах от меня сидит мужчина. Утерев слезы, смотрю на него. Это Пирс.

— Почему ты плачешь, Меривел? — спрашивает он.

— Не знаю.

— Итак, ты женатый человек, — говорит Пирс с обычной для него серьезностью.

— Да. Как тебе мой свадебный наряд?

Пирс оглядывает меня и, как мне кажется, мысленно отмечает баснословную стоимость пряжек, обилие лилового цвета, придающего костюму нечто царственное. К счастью, я успел снять трехмачтовый бриг: появление Пирса меня

обрадовало, и я не хотел бы нарушить его кровообращение.

— Он ужасен, — наконец отвечает он. — Думаю, именно из-за него ты пребываешь в таком унынии.

Я улыбаюсь, он тоже улыбается, я протягиваю ему мою пылающую руку, он берет ее и пожимает ледяными пальцами.

Мы с Пирсом делаем круг по розарию. Два садовника следят за нами хмурыми взглядами. «Я жених, — хочется мне сказать, — вы должны радоваться вместе со мной», — но, понимая двусмысленность этих слов, я просто говорю Пирсу: «Если им угодно быть нелюбезными, это их дело».

Мы возвращаемся на пир, я усаживаю Пирса за стол, еле уговорив его отщипнуть кусочек от утиного бедрышка и глотнуть аликанте, и тут король поднимается со своего места и требует поссет.[17] Итак, кульминация приближается. Я вижу, что моя жена с тревогой смотрит на своего господина, а он улыбается ей ослепительной стюартовской улыбкой, именно в ней добрая половина мужчин

[17] Примечания: 17

Поссет — горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином.

и большинство женщин страны видят доказательство его божественного происхождения. Мы все встаем, и, хотя бокалы еще не опустели, я вижу, что меня окружают дворцовые приятели, они кричат, улюлюкают, бьют по столу, отчего остатки фрикасе и пирогов подпрыгивают, а бутылки падают. Меня то толкают, то пытаются нести на руках — и вот я уже в длинном коридоре. За спиной слышится хихиканье Селии и ее подружек. Хотя я получаю удовольствие от этого спектакля, в то же время мне хочется вернуться, выпить еще вина, потанцевать, поскандалить. Но я продолжаю идти в сопровождении ватаги гостей, прохожу два лестничных пролета и оказываюсь в роскошной спальне, где мои одежды с веселыми криками бесцеремонно развязывают, расстегивают и в конце концов срывают. Теперь на мне только парик, чулки и подвязки. Гогоча и отпуская непристойные шуточки, они завязывают у меня на причинном месте красный бантик. Должен признаться, меня это тоже смешит. Я отталкиваю друзей, подхожу к зеркалу и вижу в нем фиктивного мужа. Глаза у него покраснели и распухли от пролитых слез, веснушчатый живот раздулся от непомерного количества утятины и карбонада, парик съехал набок, на мятых чулках

пятна от травы и красного вина, а его петушок лихо торчит, украшенный красной бабочкой, как подарок.

Но времени созерцать эту захватывающую картину нет. На меня через голову натягивают ночную рубашку и ведут по коридору в другую спальню — у ее дверей толпятся остальные гости. При виде нас начинается ликование. Меня вталкивают в спальню под нескончаемую песню:

Ме-ри-вел,
В любви будь смел!
В любви будь смел,
Ме-ри-вел!

И вот я в комнате. Селия сидит на высокой кровати. Меня подталкивают к ней, она отводит глаза, но гости поджимают сзади, желая нашего воссоединения, и я, наконец, понимаю, что надо делать: обнимаю Селию и целую ее в плечико. Ее упругое тело вмиг напрягается, но она заставляет себя рассмеяться. Гости набрасываются на нас, срывают ленты с головы Селии, развязывают бантики на запястьях, стягивают чулки и подвязки. Издав напоследок истошный вопль, они опускают балдахин, продолжая распевать: «Меривел! В любви будь смел!» — но голоса постепенно зати-

хают: гости покидают спальню и возвращаются к праздничному столу. Слышно, как музыканты играют задорную польку.

Я размыкаю руки и освобождаю Селию от символического объятия, на ее лице явное облегчение. Неожиданно мне в голову приходит нелепая мысль: интересно, съел Пирс все утиное бедрышко или только его часть? Я хихикаю. Мне известно, что последует дальше. Король все спланировал заранее, учтя, по своему обыкновению, все детали, его план кажется мне очень забавным. «Ну, что ж, леди Меривел», — обращаюсь я к Селии, но у нее нет желания со мной говорить. Она уже соскочила с кровати и открывает дверь смежной темной комнаты, впуская короля, — он, как и мы, в ночной рубашке. Король берет Селию за руку и озорно улыбается.

— Отлично, Меривел, — говорит он. — Хорошо сыграно.

Я вылезаю из постели, а король с моей женой забираются в нее.

Я вхожу в соседнюю комнату, где мне, согласно договоренности, оставлен чистый комплект одежды (на этот раз красно-серый), седой парик, накладные усы и маска. Закрываю за собой дверь, снимаю ночную рубашку и тут вдруг впервые

понимаю, что в плане есть упущение. Чтобы вернуться на праздник, о чем мы заранее договорились, мне придется снова пройти через спальню, где король с Селией за то время, что я натягиваю на себя новую одежду, могут перейти к брачным играм. Как вам уже известно, я не излишне щепетилен, но у меня нет никакого желания оказаться свидетелем забав короля или — еще хуже — прервать их. Я надеюсь только на то, что влюбленные не забудут опустить занавеси: тогда мне удастся незаметно выскользнуть из комнаты, не опасаясь быть принятым за шпиона или любителя подглядывать.

Я стараюсь одеться как можно быстрее. Такой опытный любовник, как король, решаю я, не станет торопить события и начнет любовную игру с пикантных поцелуев, ласк и нежных слов. Значит, у меня есть небольшой запас времени. Я надеваю маску. Она еще больше расплющивает мой и без того плоский нос, узкие прорези для глаз создают ощущение, будто я конь в наглазниках. Мне противна сама мысль провести в этой штуковине остаток вечера, но, если я хочу спуститься вниз и повеселиться, не раскрывая своего инкогнито, выбора у меня нет.

Но вот я готов. Красно-серый костюм очень кра-

сив, но утрата штанов в золотую полоску и яркого камзола вызывает у меня минутное сожаление. Тот наряд точно выражал сущность Меривела. Хорошо, что я сохранил на память об этом удивительном дне хотя бы алый бантик на члене.

Открываю дверь спальни и что я вижу? Совершенно голый король стоит на коленях у кровати, обнимая раскинутые бедра Селии, а его лоснящаяся голова зарылась в ее маленький кустик. Я так и врос в дорогой ковер. Лицо мое густо рдеет под маской. Я закрываю глаза. Идти дальше нельзя. Возвращаюсь и прикрываю за собой дверь.

Внутри каморки я чувствую себя одиноким. Мне душно. За все сделанное мною сегодня я не заслуживаю ночи на полу. Решаю, что подожду, пока король и Селия перейдут к «восхитительному пиру» (с вашего позволения, Гарвей), и молю Бога, чтобы они при этом опустили занавеси или хотя бы возились достаточно шумно и не слышали моих поспешных шагов.

Но чем занять себя сейчас? Решаю обдумать свое будущее. Мне оно представляется весьма смутно. Я снимаю маску. Одно ясно: медицина мне осточертела. Все мои анатомические штудии приносят только печаль. Когда кто-то играет на виоле да гамба, я хочу делить с ним радость, а

не видеть череп музыканта. Кто знает, к чему могут привести подобные видения? Что, если я, расположившись августовским вечером у реки с Рози Пьерпойнт, вдруг вместо алых губок или розовых бедер увижу червей, копошащихся в ее белых костях? Такие наглядные свидетельства бренности человеческого тела очень скоро, в этом я уверен, доведут меня до отчаяния. И что тогда? Даже положение хозяина Биднолда не принесет мне утешения. Я подвинусь рассудком, и меня упекут в Бедлам, где только бедняга Пирс будет меня навещать, — он будет качать головой и говорить, что ничего не может для меня сделать.

Следовательно, нужно избежать отчаяния и безумия. И постараться забыть об анатомии. Совсем забыть. Предать ее забвению. Позабыть того скворца. А также Фабрициуса и нищего утопленника. Нужно навсегда забыть внутреннее устройство храма человеческого тела. Вместо анатомии я займусь декорированием своего жилища. Куплю мебель, картины, шторы. Да и сам буду писать картины, ведь я, как и отец, неплохой рисовальщик и не боюсь попробовать писать маслом. Так и будет: я забуду о провалах, кавернах, пещерах, ужасных безднах. Жизнь моя упорядочится. Я пережил ночь; теперь, когда мое

сознание сосредоточится на легкомысленных вещах, наступит утро. В конце концов, я человек нового времени.

Поразмышляв о собственном будущем, я снова надеваю маску и прислушиваюсь. Из спальни доносится смех Селии и короля — хороший знак: веселье говорит, что они на пути к райскому блаженству.

Я приоткрываю дверь и с облегчением вижу, что занавеси опущены. Тем не менее приседаю и ползу через комнату, опираясь на руки и колени. Когда открываю ведущую в коридор дверь, она громко скрипит, однако закрывается почти бесшумно.

И вот я в парке, примыкающем к дому сэра Джошуа. Прошло уже несколько часов, все это время я танцевал, в том числе польку, пил, флиртовал с дамами, вообще вел себя так безрассудно, что сейчас у меня ужасно кружится голова. Воздух прохладный — солнце уже село. Пошатываясь, бреду к молодой рощице: я вбил себе в голову, что там прячется Пирс.

Останавливаюсь, чтобы помочиться. Спускаю штаны — бантик все на том же месте. Лента сползает, падает на землю, и я, тихо постанывая, мочусь на нее.

Натягиваю штаны. Впереди, на краю рощицы, кто-то движется. Должно быть, Пирс, сейчас я признаюсь ему, что навсегда бросаю медицину. «Не могу больше», — скажу я.

Но это не Пирс. На голове человека сооружение, которое я узнаю всюду, даже в кромешной темноте, — трехмачтовый бриг! Даже в шутку, желая подразнить меня, Пирс не пришел бы сюда в таком виде.

Слышится смех, похожий на кудахтанье. Внезапно предо мною вырастает та деревенская толстушка, которую я поцеловал по дороге на свадьбу, она смеется мне в лицо.

— Жених, — хихикает она. — Сэр Жених!

Я дотрагиваюсь до лица и с ужасом обнаруживаю, что потерял маску.

— Иди сюда, жених! — фыркает она. — Иди к своей невестушке.

Девушка еще пьянее меня. Шляпа сползла ей на глаза, она судорожно икает. Одну руку я тотчас запускаю в ее лиф, другой — лезу под юбку, тискаю мягкую плоть и одновременно подталкиваю толстушку к рощице. Я валю ее на землю, чувствую головокружение и сам падаю на нее; мне кажется, что ночь летит на нас, как топор палача, после чего наши обезглавленные тела еще долго

извиваются во мраке.

Глава третья
Мое новое призвание

Самой красивой комнатой в Биднолде (за исключением небольшого круглого помещения в Западной башне — его я пока держал пустым, дожидаясь, когда мое воображение найдет наилучший способ выявить его достоинства) была Комната Уединения. Как человек, большую часть жизни проведший в более чем скромных жилищах, я не мог удержаться, чтобы не расплыться в глупейшей улыбке всякий раз, когда вспоминал, что у меня есть комната с таким названием. Комната Уединения — звучит восхитительно! Такое название предполагает, что хозяин комнаты ведет жизнь, полную забот и наслаждений, но иногда ему хочется «уединиться», чтобы выпить коньячку у жаркого камина или предаться приятной, праздной болтовне на красных с позолотой диванах с кем-нибудь вроде очаровательной соседки, леди Бэтхерст. С обычным для меня преувеличенным энтузиазмом я постарался, чтобы жизнь в Биднолде била ключом, тогда у меня был повод иногда «уединяться» и отдыхать от нее.

Я завел у себя музыкальный салон (еще не умея играть на гобое), бильярдную (никогда до того не держа кия в руках), комнату для игры в карты (к этому времени я уже полюбил рамми и безик), студию (где намеревался обрести основы живописи), кабинет (на тот случай, если меня посетит Пирс и почувствует себя не в своей тарелке среди восточной роскоши Комнаты Уединения), Утреннюю Комнату (она выходит на восток, там я провожу время с девяти до десяти часов утра, просматривая счета и расходы) и, конечно же, великолепную Парадную Столовую (после обилия яств на столе каждый захочет «уединиться», чтобы в спокойной и уютной обстановке переварить еду).

Пособие, выдаваемое мне королем как мужу Селии, составляло ежегодно две тысячи ливров — еще год назад я и мечтать не мог о таких деньгах. На них я купил китайскую мебель для Комнаты Уединения, стены обил ярко-красной тафтой, отделанной рюшем, кресла обтянул алой, карминной и золотистой материей, пол устлал ковром из Чанчжоу с таким сложным узором, что ткать его пришлось тысячу дней.

Я был в восторге от отделки комнаты. Потчуя пивом усталых драпировщиков, я мысленно по-

здравил себя с тем, что выбрал такие яркие тона красного, пунцового и золотого, и мне тут же пришло в голову остроумное решение, как сделать так, чтобы гости, с которыми я буду «уединяться» в этой комнате, не омрачили ее унылыми, серыми цветами своих одежд. Я решил заказать великолепный набор алых шарфов, сине-фиолетовых шалей, ярко-красных комнатных туфель, розовых шляпок, желтых перьев, чтобы наряжать в них своих *invitées*[18] и тем самым услаждать свои глаза и доставлять радость душе.

Как вы уже поняли, Селия не принимала никакого участия в обустройстве дома. Хотя имелась договоренность, что по необходимости она будет проводить какое-то время в Биднолде, но король предпочел, чтобы она жила ближе к нему, и поселил новоиспеченную леди Меривел в миленьком домике в Кью — недалеко от Уайтхолла, если плыть по реке. Ходили слухи — я узнал об этом от друзей при дворе, — что летними вечерами, когда страсть к моей жене перевешивала *passion journalière*[19] к Барбаре Каслмейн, король переодевался и тайком пробирался в Кью, подвергая

---

[18] Примечания: 18
Гостей *(фр.)*.

[19] Примечания: 19
Ежедневную страсть *(фр.)*.

себя риску встретиться на реке с бродягами. Когда речь идет об угрозе для жизни, я могу и струсить, но король, похоже, не знает, что такое страх. Должен признаться, к этому времени я уже очень привязался к королю, и мне было больно сознавать, что теперь, когда я выполнил его желание и был награжден за это землями и титулом, он мог при жевании забыть обо мне навсегда. С нежностью вспоминал я, как звонко целовал он в губы своего шута, и от души надеялся, что разлука наша не вечна.

Теперь позвольте рассказать о моих первых попытках стать художником.

Тридцать холстов, четырнадцать кистей, пятьдесят восемь тюбиков краски и мольберт — все это прислали «Пелисье и Дру» из Лондона. Мой портной сшил мне шляпу с вислыми полями, как у великого Рембрандта, и просторное платье из мешковины, в котором, признаюсь, я был больше похож на свинаря, чем на художника Возрождения.

Я с истинным пиететом отношусь к деятельности, которая соединяет разные цвета. Если я и обладаю творческим воображением, то только в области цвета и света. Моя мечта — полностью отказаться от рисунка и чистые холсты покрывать

сразу красками. Однако я понимал, что художнику не обойтись без предмета изображения, а что я мог нарисовать, кроме отдельных частей человеческого тела, — той анатомии, которую поклялся предать забвению, но так и не смог забыть?

На своей первой картине я изобразил мужское бедро и ягодицы. Фон задумал красно-коричневый, пасторальный: выходило, что отрубленная человеческая конечность шагает по пшеничному полю. (Я предпринял довольно жалкую попытку нарисовать на заднем плане горку, а на переднем — несколько колосков.)

Мускулатура ягодиц и бедра была, как мне кажется, отчетливо и точно прорисована, однако, когда я дрожащими от волнения руками стал накладывать масляную краску, стало ясно, что я не имею ни малейшего понятия о передаче светотени (и создании иллюзии третьего измерения), и, хотя я трудился допоздна, у меня ничего не выходило: на холсте был всего лишь кусок ветчины на фоне омлета. Сняв шляпу с вислыми полями и балахон, я лег в постель, где в бессильной ярости грыз простыню, чтобы не разрыдаться.

На следующий день мне в голову пришла блестящая мысль. Если я могу достоверно изобразить отдельные части человеческого тела, то, конечно

же, смогу нарисовать его целиком — особенно, если у меня будет натурщица.

После завтрака я приказал привести лошадь Плясунью (еще один подарок короля) и поехал на вершину холма, где располагалась деревушка Биднолд. Там я постучался в дверь «Веселых Бездельников» — небольшой уютной таверны; время от времени, когда хотелось услышать грубую речь, вдохнуть запах заведения, где пьют пиво, курят табак и смачно плюются, я посещал ее.

В таверне работала некая Мег Стори, и манерами, и дразнящей полной грудью она напоминала Рози Пьерпойнт; к ней меня тянуло против воли. Я бессовестно льстил ей и обещал заплатить, если она придет ко мне в студию позировать. Я заверил женщину, что не собираюсь писать ее обнаженную — нет, она будет красиво задрапирована в платки и шали, с букетиком герани в волосах, — это позволит мне использовать любимый красный цвет, тот, которым я злоупотребил, рисуя мужское бедро, однако я был уверен, что без этого цвета у меня вообще ничего не получится.

Мег Стори пришла в холодное сентябрьское утро. Увидев меня в балахоне и шляпе, она не смогла удержаться от смеха. Мое смущение усилилось, когда, сняв плащ, она пожаловалась на

холод и отсутствие солнечного света.

— Окнам в студиях положено выходить на север, — важно сказал я, затачивая кусок угля. — Художники должны работать при таком освещении.

— Почему? — спросила Мег Стори.

Я поднял глаза. Не хотелось признаваться развязной гостиничной потаскухе, что ответ мне неизвестен.

— Такой свет лучше для художника.

После долгих колебаний и возражений Мег Стори согласилась снять одежду и остаться в одних панталонах. Усевшись на высокий стул, она позволила накинуть себе на плечи красную шаль, соблазнительно ниспадавшую на одну из ее пышных грудей с яркими сосками. Я сделал шаг назад. Ее волосы песочного оттенка цветом напоминали мои, только были тоньше и более шелковистые. Выглядела она прелестно. У меня руки чесались — хотелось поскорей взяться за кисть. Теперь понятно, сказал я себе, что чувствовали фламандские художники, когда принимались рисовать своих сладострастных Диан и пышнотелых пастушек…

Я стал набрасывать углем шею, плечо и правую грудь Мег. Ее панталоны начинались с талии,

но я прекрасно представлял, что находится под ними. Хорошо зная форму женской ноги и жировые отложения в верхней части бедра, я мог нарисовать то, чего не видел. Работая, я так возбудился, что чресла мои затвердели, а когда рисовал руку, то с трудом отогнал внезапное видение: перламутровые ноготки в страсти царапают мою спину. К счастью, размеры холста и просторный балахон скрыли от Мег внешние признаки моего возбуждения, и она, несмотря на холод, покорно позировала более двух часов.

После полудня Мег нужно было возвращаться в таверну «Веселые Бездельники» подавать обед. Я сунул ей флорин и попросил прийти на следующее утро. Несмотря на сильное желание, я не предпринял никакой попытки привлечь ее к себе. Искусство, подумал я, выше животного влечения.

Но от картины я не мог оторваться. Даже вернувшись домой поздно вечером после отменного ужина у леди Бэтхерст, я тут же отправился в студию, зажег несколько ламп и стал рассматривать изображение Мег Стори, чувствуя при этом большое удовлетворение. Как приятно созерцать вполне прилично нарисованное тело, а не отдельные его части! Мне пришла в голову образ-

ная мысль (по своей метафизичности достойная Пирса), что искусство сделает и меня цельным человеком.

Следующее утро выдалось солнечным, несколько изменив свет в студии. Я провел беспокойную ночь, размышляя, какие краски и в каком количестве использовать, чтобы точно передать цвет шеи Мег Стори, ее волос, пяток, сосков. Я страстно желал изобразить на холсте нечто, что было бы не одним только изображением Мег, а чем-то большим. Мне хотелось передать в цвете ее *сущность* — так, чтобы каждый, кто посмотрит на картину, смог бы «увидеть» Мег такой, какая она есть, — красивой и вульгарной; эти два противоположных качества так искусно борются в ней друг с другом, что она постоянно меняется и никогда не бывает одинаковой. Но как это передать?

Я стоял за мольбертом измученный и понурый. Как можно передать в неподвижном рисунке то, что постоянно движется и меняется? Не веря в возможность этого, стал смешивать краски. Мое внимание привлек красный нос Мег («простудилась тут у вас, сэр Роберт»), и я решил начать с него, а потом уж перейти к остальному, но быстро понял, что совершил ошибку. Когда стремишься

передать сущность, нельзя начинать с мелкой детали. Я переметнулся на сосок. Теперь на холсте были уже два мертвых пятна. Быстро смешав умбру, вермильон и коричневую краски, стал раскрашивать волосы Мег. И снова — ни игры света, ни жизни. И тут до меня дошло: я просто не владею техникой, достаточной, чтобы пристойно нарисовать Мег, не говоря уж о том, чтобы выявить ее сущность.

Я отложил кисть, взял шаль, закутал в нее Мег и с грустью сказал, что на этот раз заплачу ей, но больше приходить не надо: чтобы стать настоящим художником, мне надо под учиться.

Думаю, после такого позорного провала на избранном мной поприще я мог бы впасть в уныние, если бы не участие моей соседки, леди Бэтхерст.

С вашего разрешения, расскажу немного об этом семействе. Сам Бэтхерст — заядлый охотник, ему перевалило за семьдесят. В шестьдесят восемь у него отшибло память, тогда в поле его сбросила, а потом наступила на ухо лошадь, и с тех пор из открывшегося отверстия тоненькой струйкой вытекал разум. Он носит потертую одежду зеленоватого цвета, которую редко чистят, и потому она пропахла лошадиным потом,

табаком и вареной кровяной колбасой. Он забыл имя своей жены — Вайолет, и за столом постоянно спрашивает: «Кто эта женщина? Я ее знаю?» Но если вы решите, что он не покидает своей комнаты или даже постели, то ошибетесь. Каждое утро его сажают на лошадь, и он со сворой борзых и терьеров носится по лесам и полям, загоняя до смерти зайцев, лис, барсуков и даже оленей. Стены его большого дома увешаны егерскими шестами, охотничьими хлыстами, лисьими, барсучьими и куньими шкурками, оленьими головами, на полу повсюду валяются мозговые кости для собак, которые живут в доме и справляют свои дела прямо на паркете.

Мне нравится Бэтхерст. У него превосходное вино, а манеры за столом хуже, чем у меня. Он постоянно несет околесицу, но делает это всегда со страстью, сопровождая слова перденьем и отбиванием дроби по столу. Память покинула его, но дух остался жив. Бэтхерст говорит, что друзья бросили его; он не знает, кто они были и почему вдруг пропали, но ощущает пустоту, свободное место там, где прежде лились разговоры и звучал смех, и потому искренне рад, что я могу заполнить этот пробел. Удивительно, но он всегда помнит мое имя или, скорее, его англизирован-

ный вариант: Мерривейл. «Добро пожаловать, Мерривейл!» — громко приветствует он меня, перекрывая рычание и лай собак. «Добро пожаловать, хорошего настроения, и черт бы побрал тех, кто вечно копается и всюду опаздывает!»

Если б, подобно Пирсу, я резко разграничивал благочестие и греховность, то, наверное, испытывал бы неловкость оттого, что, чувствуя расположение к Бэтхерсту я в то же время обманывал его. Пора признаться, что у меня завязалась исключительно приятная *affaire de coeur*[20] с его женой, леди Бэтхерст, или Вайолет, — так я ее называю в минуты близости.

Вайолет на тридцать лет моложе мужа, она красива, остроумна и энергична. Вайолет нанесла мне визит вскоре после моего прибытия в Биднолд и уже тогда поведала о плачевном состоянии рассудка мужа, сделав особенный акцент на том, что он не помнит о ее существовании. Это признание и навело меня на мысль, что между нами что-то может быть. Ведь мужчина, забывший, что у него есть жена, вряд ли станет беспокоиться, в чьей постели и с кем она спит. Наш роман не из тех, когда рвут друг друга в кло-

---

[20] Примечания: 20
Любовная интрижка *(фр.)*.

чья, но встречи наши вполне жарки и достаточно часты. Вайолет находится в том возрасте, когда женщина понимает, что красота ее увядает, и старается взять от жизни что еще может — ковать железо, пока горячо, пусть и не так горячо, как в годы юности, когда, по ее словам, она почти не вылезала из постели.

Так вот, именно Вайолет Бэтхерст, лежащей в моих объятиях под серебристо-бирюзовым балдахином на моей кровати, я признался в том, как несчастен из-за неудачи, постигшей меня в занятиях живописью. «Это и еще равнодушие забывшего обо мне короля, — сказал я, — делают меня человеком без цели, и я боюсь, как бы мне не растерять себя в пьянстве и прочих излишествах».

Вайолет внимательно посмотрела на меня. Моя молодая жена вызывала у нее ревность, она даже заставила меня поклясться на томике Фомы Кемпийского,[21] что у нас с Селией ничего не было. Мысль о том, что я могу погрязнуть в пороках, встревожила ее.

---

[21] Примечания: 21

Фома Кемпийский (1380–1471) — религиозный мыслитель; противопоставлял формализованной церковной набожности уединенное самоуглубление. «Томик», о котором идет речь, скорее всего, трактат «О подражании Христу».

— Тебе не нужно беспокоиться, Меривел, — сказала она, опираясь на белый локоток и лаская нежными пальчиками «мотыльков» на моем животе. — С уроками живописи я помогу. Мне знаком один талантливый молодой человек, который будет счастлив учить тебя: он мечтает познакомиться с местными дворянами. Я заказала ему портрет Бэтхерста, и, если учесть, что тот и секунды не просидит спокойно, результат оказался выше всяких похвал. Его зовут Илайес Финн, из чего можно заключить, что он пуританин, однако он так жаждет успеха, так стремится сделать карьеру, что приспосабливается ко времени. Он страстно мечтает быть представленным ко двору, и, если он окажется хорошим учителем, ты можешь помочь ему в этом.

— Ты забыла, Вайолет, — сказал я несчастным голосом, — что уже три месяца я не получал никаких известий от короля.

— Вот как? Тогда, возможно, тебе следует съездить в Лондон?

— Но теперь у меня нет придворной должности.

— Не сомневаюсь, Его Величеству будет приятно увидеть тебя.

— Не знаю.

— Он всегда целовал тебя, Меривел.

Я рассмеялся.

— Мы оба знаем, Вайолет, — сказал я, — что поцелуи так же недолговечны, как грушевый цвет.

Появление в моей жизни Илайеса Финна — немаловажное событие.

Он называет себя портретистом, но ведет почти нищенскую жизнь, бродит пешком по графствам Англии, заходит то в один, то в другой богатый дом, предлагая нарисовать портреты их обитателей. Он молод, но лицо его костлявое, землистого цвета, запястья тонкие, пальцы как щупальца. Взгляд беспокойный, бегающий. А вот губы красиво очерчены, в них есть нечто женственное, что говорит о его чувствительности. Интонации льстивые, вежливые. Он соткан из противоречий. После нашей первой встречи я не знал, что о нем думать.

Я привел его в студию, показал кусок ветчины и омлет там, где должен быть нарисован мужчина, и незаконченный портрет Мег Стори. Он смотрел на них, и в его взгляде я видел страх, словно картины испугали его. Так оно, возможно, и было: мои творения совсем не похожи на то, чем обычно восхищаются.

— Почему вы хотите рисовать, сэр? — спросил

он через некоторое время.

— Ну… — начал я, — мне надо кое-что забыть. Раньше я занимался анатомией, лечил болезни, но теперь, по личным соображениям, хочу оставить прежние занятия.

— И стать художником?

— Да.

— Но почему?

— Потому что… потому что надо что-то делать! У меня пылкая натура, мистер Финн. Посмотрите на меня! Посмотрите на мой дом! После Реставрации я сам не свой, во мне бушуют страсти. Мы живем в Новом Веке, я ему идеально подхожу, но надо направить свою энергию на что-то дельное, иначе затянет лень и отчаяние. Поэтому прошу, помогите мне!

Он снова взглянул на мои картины.

— Если судить по ним, — сказал он, — вы вполне прилично рисуете, но совсем не чувствуете цвета.

Не чувствую цвета! Я стоял словно громом пораженный.

— Цвет — то, что волнует меня больше всего на свете, — заговорил я. — Мой свадебный костюм был лиловый с золотом! В день коронации я чуть не упал в обморок при виде малиновой барки ко-

роля… — Тут я заставил себя остановиться. — Вы, конечно, правы. Я люблю цвет, но одна любовь ничего не значит. Чего мне не хватает, так это умения превращать любовь в искусство.

Мы тут нее приступили к занятиям. Финн привез несколько своих работ — преимущественно портреты модно одетых женщин. Заказчицам, видимо, они не понравились, потому и остались у него. Меня же портреты привели в восхищение.

— Если когда-нибудь я нарисую нечто подобное, то буду самым счастливым человеком на свете, — признался я.

Финн с жалостью улыбнулся. Он заговорил о применяемой им технике; фон, сказал он, всегда должен быть классическим: античный сад с разбитыми колоннами, морская битва, живая охотничья сценка.

— Вы хотите сказать, что вместо окна следовало нарисовать позади Мег Стори корабли или всадников? — спросил я.

— Да, — ответил Финн. — Безусловно.

Я не мог припомнить, чтобы на знаменитых портретах Гольбейна[22] был классический фон, но промолчал: если Финн научит меня рисовать

---

[22] Примечания: 22

Гольбейн, Ганс, Младший (1497–1543) — немецкий живописец и график. Сын Г. Гольбейна Старшего.

дорические колонны или военный корабль, несущийся на всех парусах, я буду ему очень признателен.

— Фон должен показывать позирующего человека в выгодном свете. Более того, он придаст весомость жизни модели, даже если ее реальное существование окажется недолгим.

Прежде я не задумывался о таких вещах, но чувствовал, что Финн в чем-то прав. Первую встречу мы посвятили композиции: как сделать так, чтобы ни одна деталь в картине не была «мертвой», будь то рукоятка меча или лодка на дальнем аркадском берегу. Потом заговорили о перспективе: к примеру, горы, расположенные в глубине картины, будут выглядеть более расплывчатыми и бледными, чем те, что на переднем плане, а если модель поместить в островок света, это придаст ей энергичности и приблизит к зрителю.

— Когда в следующий раз будете в Уайтхолле, — сказал в заключение Финн, — не забудьте посмотреть картины Рафаэля и Тициана, они, по слухам, висят в покоях короля, — вы увидите блестящие образцы того, о чем мы сегодня говорили.

Значит, Вайолет уже рассказала ему о моем знакомстве с королем. Я только кивнул. Еще

неизвестно, заслуживает ли Финн, чтобы ему оказывали услуги, но про себя я отметил, что его желание быть представленным ко двору едва ли не больше моего желания научиться рисовать — надо постараться использовать себе во благо это отлично сбалансированное несходство интересов.

К концу ноября, после того, как под руководством Финна я нарисовал не слишком плохой портрет спящей у несуществующего водопада Минетты, собачка заболела.

В моем сердце воцарился страх. Я любил Минетту. Ее существование постоянно напоминало мне, что я был — и надеялся остаться — другом и шутом короля, и я не сомневался, что ее смерть станет зловещим знамением будущих бедствий.

С большой неохотой вытащил я хирургические инструменты, лекарства, мази и порошки, но, положив их рядом с Минеттой на стол, вдруг понял, что не знаю, как лечить собаку: в желании забыть прошлую профессию я так преуспел, что уже ничего не помнил.

На память пришли Лу-Лу и рассуждения Фабрициуса о природе. Удастся ли исцелить Минетту таким же ничегонеделанием? Вряд ли. Бедняжку почти все время рвало, на животе была большая

мокрая язва.

Добавив в молоко немного опия, я влил его в пасть собаки, и вскоре она спокойно уснула. Я осмотрел язву. Она гноилась, от нее шло зловоние. Я решил, что заключенный в ней яд проник в кровеносные сосуды и далее — в сердце. Будь это нарыв, я мог бы его вскрыть, но то была открытая рана, я не замечал ее несколько дней, а то и недель — ведь она была на животе.

Я постарался как можно лучше обработать рану — промыл теплой водой, смочил льняную тряпочку спиртом и наложил на больное место. Минетта заскулила во сне, потом ее стали сотрясать ужасные конвульсии. В уголках пасти выступила пена. Я крепко держал ее, дожидаясь конца судорог. Рядом стоял мой слуга Уилл Гейтс — белый, как бумага, на его лбу проступил пот.

— Плохи дела, — сказал я Уиллу. — Не знаю, что и делать. Где сейчас можно найти доктора Мердока?

— Доктор Мердок — шарлатан. Сущий невежа.

— Все равно. Он — наша единственная надежда. Где его можно найти?

— Только в одном месте, больше нигде.

— И где же?

— В «Веселых Бездельниках», сэр.

Почему я не послал Уилла в таверну? Я не послал его, так как решил, что легкий галоп по ноябрьскому снежку на Плясунье поможет освободиться от беспокойства и страха, не оставлявших меня в тот вечер. Я крикнул конюху, чтобы тот седлал лошадь, а сам тем временем отнес Минетту в свою спальню, положил на кровать и приказал Уиллу под угрозой увольнения не оставлять собаку ни на минуту.

— А что мне делать, если ее опять станет трясти, сэр?

— Крепко держать, — ответил я. — И стараться, чтобы она не дергалась.

Я вскочил на Плясунью и поехал через парк, спугнув попавшегося на пути марала. Пришпорив лошадь, я погнал ее быстрым галопом, жадно вдыхая свежий густой воздух и чувствуя, как острый страх понемногу отступает.

К тому времени, когда я привязывал Плясунью у входа в таверну, лицо мое пылало, а тело взмокло от пота. Дыша тяжело, как кит, я вошел внутрь. Огляделся, ища взглядом приметную — сутулую, с длинными липкими руками — фигуру доктора Мердока. Однако доктора нигде не было видно.

— Не знаешь, заглядывал сюда вечером доктор Мердок? — спросил я зачуханного крестьянина,

потягивавшего пиво. — Кто знает, где его можно найти?

Сквозь дурно пахнущее сборище свинарей, егерей и птичников ко мне пробралась Мег Стори. В тусклом свете волосы ее пылали огнем. Она по-дружески чмокнула меня в щеку, потом взяла за руку и, не говоря ни слова, отвела в прохладную темную кладовую — хранилище бочек с пивом, и там нежно поцеловала в губы. «Хочу, чтобы ты знал, — сказала она, — мне очень жаль, что из твоего нового занятия ничего не вышло».

Мое тело и мозг горели. Я издал ликующий вопль и заключил Мег Стори в объятия. «Пусть природа решает судьбу Минетты и мою тоже», — бормотал я между поцелуями и ласками. Вскоре я совсем забыл о бедной собачке и увлеченно кувыркался с Мег на земляном полу.

Как выяснилось, через час доктор Мердок пришел в таверну, но я, смущенный и взволнованный любовным приключением с Мег, провел остаток вечера, выискивая доктора в других местах. Наконец Плясунья совсем выбилась из сил, перешла на шаг, и так мы, усталые, вернулись домой.

Уилл Гейтс крепко спал на полу моей спальни. А на кровати, под полосатой тряпкой — в ней я

узнал одну из столовых салфеток, подаренных королем, — лежала мертвая Минетта.

Опустившись на колени, я хотел было помолиться, но, как оказалось, забыл не только то немногое, что знал о болезнях и их лечении, но и те, веками освященные слова, с которыми обращаются к Богу.

Глава четвертая
Индийский соловей

Наутро после смерти Минетты пришел Финн, чтобы дать мне урок рисования. Я устало натянул шляпу с вислыми полями и надел балахон. По крыше барабанил холодный дождь. Поношенная одежонка Финна изрядно вымокла, и это делало его похожим на бродягу. Короче говоря, мы оба выглядели паршиво. Мне пришло в голову, что, хотя грусть часто служит стимулом для творчества, для реализации задуманного нужно прямо противоположное — холерический огонь, а этим утром я не ощущал в себе ни малейшей искорки.

— Иди домой, — сказал я Финну; сказал, не подумав, ведь Финну некуда идти: эту ночь он провел в одном из коровников лорда Бэтхерста. Несчастный, насквозь промокший художник с горя так осмелел, что заговорил (не в первый и не в последний раз) о столь важном предмете, как мой авторитету короля. Не мог бы я помочь ему получить местечко при дворе, пусть самое скромное, вроде помощника художника при фресковых работах или рисовальщика игральных карт?

Смерть Минетты не только опечалила, но и испугала меня. Сознательно избранная мной позиция невмешательства привела собаку к смерти; король Карл, в свою очередь, — теперь мне было ясно — предал забвению бывшего шута. В качестве компенсации я получил дом и титул, но обо мне самом забыли. Мое место заняли более сообразительные, остроумные люди — не столь низкого происхождения. Меня использовали, а потом выбросили за ненадобностью. Хотя сердце мое разрывалось от боли, я, однако, не собирался рассказывать Финну (который и так полон *hauteuf,*[23] ибо относился с презрением к моим художественным способностям), что уже не пользуюсь влиянием в Уайтхолле.

— Финн, — начал я, стаскивая с себя шляпу и швыряя ее на кипу чистых холстов, — нет никакого смысла поднимать этот вопрос: ведь ясно как божий день, что ты понятия не имеешь, как осуществляются такие сделки.

— Что вы хотите сказать? — спросил Финн, переминаясь с ноги на ногу, — в его ботинках хлюпало.

— Я хочу сказать, что мы живем в меркантиль-

---

[23] Примечания: 23
Высокомерия *(фр.).*

ное время. Хотим мы этого или нет, но такова жизнь. И тот, кто с этим не считается, скорее всего, умрет бедным и никому не известным.

Финн широко раскрыл свой красивый рот, отчего его лицо приобрело детское, глуповатое выражение.

— Будь я богатым, — сказал он с сожалением, — не пожалел бы золота на то, чтобы вы замолвили обо мне словечко перед Его Величеством, но я едва свожу концы с концами, и если мне придется вернуть те небольшие деньги, что вы платите за уроки…

— Мне неинтересно, *каким* образом ты собираешься убедить меня использовать ради тебя мое влияние в Лондоне, — огрызнулся я. — Просто хочу напомнить, что время филантропии, которая, возможно, когда-нибудь и увлечет наши прагматические английские души, пока еще не наступило. И того, кто отстал от жизни, ждет презрение современников и могила бедняка. Иди домой, или, точнее, в коровник Бэтхерста, или еще куда-нибудь, где собираешься преклонить сегодня свою глупую голову, и подумай над моими словами.

Я смотрел, как он вышел на дождь. Высокой, худощавой фигурой он вдруг напомнил мне отца, и,

глядя, как художник удаляется от дома, я испытал острую, как удар кинжала, боль в глубине своего существа. Чувство бесконечного одиночества навалилось на меня. Хотелось прыгнуть в седло и помчаться на Плясунье в Лондон, но я обещал королю держаться подальше от двора и «никогда не бывать у Селии в Кью и в коридорах Уайтхолла, слышишь, Меривел?». Я мог появиться там только по приглашению короля.

Я сел перед мольбертом. Холст был чист. Сняв парик, я яростно потер свою щетину. Дары короля были щедры — нет никаких оснований считать, что меня предали, и все же я так считал. Когда я очнулся после брачной ночи в сыром лесу — с больной головой, совсем один, и увидел, как от дома сэра Джошуа отъезжает карета, мне не могло прийти в голову, что я никогда больше не увижу короля. Казалось, теперь наши судьбы неразрывно переплелись. Я вбил себе в голову, что, если меня, который глупыми шутками умеет отвлечь его от государственных забот, не будет рядом, король впадет в тоску и почувствует потребность в своем шуте. Но смерть Минетты показала, что я заблуждался. Приближалась зима. За пять месяцев, несмотря на частые визиты придворных кавалеров — им нравилось дышать

норфолкским воздухом и играть в крокет на моем поле, — я не получил ни одной весточки от короля — ни письма, ни другого знака внимания. «Не переживай, — притворно утешали меня придворные остряки, — он пошлет за тобой, когда ему придет охота послушать твой пердеж!» Говоря это, они сгибались от смеха пополам над крокетными молотками. Я тоже присоединялся к общему веселью. Эти люди любили меня за постоянную готовность быть объектом насмешек. Но, как вы понимаете, меня их слова совсем не успокаивали.

Я покинул студию, вошел в Утреннюю Комнату, сел за бюро и стал писать письмо королю.

Мой добрый господин, — начал я, и тут же перед глазами возник образ короля, он двигался, и от него шел неземной, мерцающий свет — от этого видения перехватывало дух.

> *Верный шут Меривел приветствует Вас,* — продолжал я, — *и молит небеса, чтобы это письмо застало Ваше Величество в превосходном здоровье и душевном состоянии, но — да простит меня Вог — не настолько прекрасном, чтобы при воспоминании о моих глупых выходках*

и всем моем карикатурном облике Вам не захотелось бы хоть ненадолго меня увидеть. Спешу сообщить Вам, сир, что, когда бы ни возникло у Вас желание или каприз увидеть меня — пусть на короткое время и в любой роли, — Вам нужно только сказать слово, и скорость, с какой я прилечу в Лондон, будет ненамного меньше скорости моих мыслей, которые часто переносят меня к ногам Вашего Величества.

Моя склонность к правдивости побуждает рассказать о горе, обрушившемся на меня посреди, роскошного существования, а именно о смерти моей собаки Минетты, подаренной Вами, — это маленькое создание я любил всем сердцем. Мой господин, прошу Вас, поверьте: я сделал все, что мог, чтобы ее спасти, и еще знайте: ни разу за всю ее короткую жизнь — ни на день, ни на час — она не была забыта

Ее хозяином, Вашим верным слугой

Р. Меривелом.

Я перечел письмо, не позволив живущему в

моем сознании правдолюбцу комментировать то, что написано лгуном, обитающим там же: пусть эти двое продолжают сосуществовать в прохладных, но не во враждебных отношениях. Запечатав конверт, я вручил его Уиллу Гейтсу и попросил, чтобы письмо поскорее отправили в Лондон.

Работа над письмом настолько успокоила меня, что я приказал заложить экипаж и отправился под непрекращавшимся дождем к Бэтхерстам. Перед поездкой я напудрил подмышки, надел желтый камзол — словом, сделал все, чтобы как-то *себя* приукрасить, в надежде — вдруг повезет — и Вайолет будет в доме одна, и тогда, возможно, удастся излить свою печаль на ее атласной груди. Но мне, увы, не повезло. Память Бэтхерста, этот потерпевший крушение корабль, утром вдруг вынырнула на краткий миг на поверхность, и за это время Бэтхерст успел вспомнить, что Вайолет — та самая женщина, с какой он совершал безумства в постели, срывая с нее бантики и подвязки. Когда слуга докладывал обо мне, он как раз снимал со стены голову куницы и пару барсучьих шкурок, чтобы бросить эти охотничьи трофеи к ногам жены.

В очередную пятницу Финн не пришел на

урок.

Осеннее утро было просто чудесным, солнце заливало все вокруг, я же не мог освободиться от грустного видения: изгнанная мной промокшая фигурка в заляпанной одежде идет под дождем размашистой и неуклюжей отцовской походкой. Может, бедняга умер от холода и сырости? А может, мой цинизм до такой степени потряс его, что он решил отказаться от желания попасть в круг господ, ведущих порочную жизнь, и стал рисовать портреты таких, как Мег Стори, за пинту пива или за любовь на скорую руку в кладовой?

Однако день был слишком хорош, чтобы тратить его на пустые сожаления. Судьба Финна мне не подвластна. Я надел шляпу с вислыми полями, балахон и с помощью Уилла перенес мольберт и прочие принадлежности для рисования в дальний угол южной лужайки, откуда открывался превосходный вид на парк: багряно-золотые буковые деревья, желтовато-коричневые вязы, огненно-красные каштаны, а под ними мягкие коричневатые очертания пощипывающего траву марала.

Я вглядывался в эту картину, понимая, что не смогу передать в рисунке хитросплетения листвы — особенно масляными красками. Однако мож-

но попытаться ухватить цветовые сочетания. И вот, без предварительных набросков углем, я стал яростно смешивать краски и наносить их смелыми мазками на холст — белые завитушки облаков, волнистые желто-зеленые полоски сочной травы, оранжево-красную с золотом листву каштанов, более темные, сливающиеся воедино красно-коричневые кроны растущих в отдалении буков. Я работал истово, как кочегар или стеклодув — пребывал в постоянном напряжении и тяжело дышал. У меня явно поднялась температура, усилилось сердцебиение. Меня переполнял энтузиазм. Картина получалась такой же дикой, непредсказуемой и хаотичной, каким был мой характер, однако в ней я выразил — пусть и неумело — свое *отношение* к этому осеннему дню, и потому она казалась мне довольно убедительной. Более того, когда я наконец закончил рисовать, отступил от холста и посмотрел на него слегка прищуренными глазами, то увидел, что изображение похоже на восхитивший меня пейзаж. Правда, казалось, его нарисовал ребенок. Немного аляповато. Цвета слишком яркие, и их слишком много. И все же картина не лгала (во всяком случае, не больше, Финн, чем твои прекрасно нарисованные греческие колонны

или пикники пастушек). По существу, именно это я и видел. Я обошел мольберт и написал на оборотной стороне холста название картины по-французски: *Le Matin de Mertvel, l'automne.*[24]

Именно тогда я поднял глаза и увидел Финна, довольно броско одетого в ярко-зеленый костюм, — широким шагом он шел ко мне по лужайке. Я был рад, что он не умер от голода, а увидев на его лице понимающую ухмылку, еще больше порадовался тому, что он внял моим словам и принес небольшой подарок, дабы у меня был стимул оказать ему ту услугу, какую, он верил, я могу оказать. Должен сказать, что я обожаю получать подарки. Даже то, что теперь у меня полно всяких ненужных безделушек и *objets d'ar,*[25] не уменьшило желания получать еще; и какой-нибудь оловянный кувшин для вина или даже голова куницы, подаренная старым Бэтхерстом, могут вернуть мне хорошее расположение духа на весь день.

— Финн! — ласково окликнул я художника. — Вижу, ты не голодаешь, как последний нищий, где-нибудь под забором.

---

[24] Примечания: 24
Утро Меривела, осень *(фр.).*

[25] Примечания: 25
Предметов искусства *(фр.).*

— Что вы сказали? — Финн замедлил шаг.

— Ничего, просто пошутил, — рассмеялся я. — Подойди ближе, взгляни, что я нарисовал.

Финн подошел. Солнце, переместившись на небе, теперь ярко освещало картину, отчего цвета стали еще более кричащими. Художник уставился На мое творение. Постепенно на его лице проступило выражение глубокого отвращения, словно он был Робин Гудом, на чистый жилет которого опрокинула пудинг его возлюбленная Мэриан. Я видел, что слова возмущения прямо клокочут у него в горле, они душили его, но он поборол себя и отвернулся.

— Ну и как? — спросил я.

— Возмутительно, — сказал Финн.

— Согласен. Возможно, ты нашел правильные слова.

— Во времена Кромвеля вас бы…

— Что со мной сделали бы, Финн?

— Ничего. Я не то хотел сказать. Однако вам не стоит…

— Что?

— Не стоит всем подряд показывать эту картину. Думаю, ее надо сжечь.

— Вижу, она оскорбляет твой взор.

— Она нарушает…

— Что она нарушает?

— Все законы, методики, все знания, которые с таким трудом я старался вам передать.

— Ты абсолютно прав. Это серьезный просчет. И все же для меня картина — памятное отображение тех цветов и оттенков, которые я *вижу*, глядя на свой парк. Но это только доказывает — не так ли? — что не обладающий мастерством художник-дилетант, каким бы сильным ни был его творческий порыв, бессилен и смешон, как влюбленный евнух.

Я рассмеялся, но Финн даже не улыбнулся. Несмотря на выказанное художником неприятие моей работы, на душе у меня было легко, а Финна с его серьезным отношением к жизни было даже жаль.

— Что ж, — сказал я, — забудем о картине. Со временем я сожгу ее. Не выпьешь ли бокал вина, Финн, для восстановления душевного равновесия?

Бедный Робин согласился. Мы вернулись в дом, и я приказал принести из погреба в Утреннюю Комнату запотевшую бутылку белого вина.

Финн выпил вино одним глотком, как томимый жаждой путник. Его рука дрожала. Едва опустившись на стул, он тут же вскочил и объявил, что

принял к сведению мой совет, как преуспеть в «наш бессердечный век» (его точные слова), и потому, основательно потратившись, приготовил для меня подарок в надежде, что я замолвлю за него словечко перед королем.

— Превосходно, Финн, — сказал я. — Ты хороший ученик. Чего не скажешь обо мне по части живописи, так ведь?

Нервная гримаса скривила его ангельский рот. Он выскочил из комнаты и тут же вернулся с большим цилиндрическим предметом, завернутым в красивую вышитую скатерть, и бережно поставил его у моих ног.

— Что это, Финн? — испугался я. Не принес ли он мне в подарок обломок столь милой его сердцу коринфской колонны: ведь ни одна его картина не обходилась без нее? Художник ничего не ответил, он только робко переводил взгляд с меня на сверток и обратно и был похож на мышку-полевку, которая боится, не сцапает ли ее какой зверь, если она побежит за приглянувшимся ей зернышком.

Я развернул ткань. Под ней оказалась необычайно тонкой работы птичья клетка, раскрашенная берлинской лазурью и отделанная золотой фольгой. В ней, на раскачивающейся жердочке

сидела птичка — поначалу я принял ее за чучело: она сидела не шевелясь и смотрела в одну точку. Потом перевела на меня желтый глазок, открыла клюв и издала мелодичную трель.

— Бог мой, Финн, — вырвалось у меня. — Она живая.

Финн кивнул.

— Это индийский соловей, — гордо заявил он. — Его привезли из-за океана.

Хочу признаться сразу: подарок восхитил меня. Редко, подумал я, во взятку вкладывают столько души. Клетка была красива нездешней красотой — такая бывает только в старинных вещах. Птичка же была на вид самая обыкновенная — блестящее темно-синее оперенье и оранжевый клювик. Однако она издавала трели дивной красоты; таких звуков я никогда не слышал в жизни — разве только в мечтах.

— Говорят, ее можно научить другим нотам, целым мелодиям, подыгрывая ей на духовом инструменте, лучше всего — на гобое.

— Как удивительно! — сказал я. — Почему на гобое?

— У них сходные регистры.

— А-а…

— Но ведь вы не играете на гобое?

— Нет. Но я научусь. Мне кажется, я могу развить в себе большой интерес к музыке.

По лицу Финна пробежала тень испуга. Я понял, чего он боится, и это меня позабавило. Однако я решил ничего по этому поводу не говорить. Некоторое время мы молчали и смотрели на индийского соловья.

— Теперь, — заговорил наконец Финн, — когда вы окажетесь при дворе…

— Твой подарок очень мил. Спасибо.

— Когда вы увидите короля…

— Помолчи, Финн, — сказал я. — Сейчас я не могу ничего обещать. В настоящее время король занят государственными делами, нужно ждать, когда он устанет от важных забот и захочет повеселиться.

— Понимаю.

— Главное — правильно выбрать время. Возможно, нам придется переждать зиму.

— Зиму? — испуганно переспросил Финн. — Но тогда я умру от голода и холода, сэр Роберт.

— Поверь, никто не жаждет так, как я, чтобы к королю вернулись веселость и беззаботность. А пока это время не пришло, он не возьмет к себе на службу ни одного художника, гобоиста, тренера по теннису и прочий сброд…

Глубокая печаль отразилась на лице Финна от моего неосторожного употребления слова «сброд», куда я включил и представителей его профессии. Я чуть было не сказал, что сам, как сын перчаточника и неудавшийся врач, тоже вхожу в эту категорию. Все мы, чуть не сказал я, ничего собой не представляем — так, ерунда, пушинки на ветру, которые, попав в огонь, сгорают, но вовремя сдержался, решив лучше скрыть от Финна — а вдруг он все-таки научит меня рисовать? — мое скромное происхождение, неудачи в медицине и врожденный пессимизм, способный убить веру в нем самом. Я довольствовался тем, что хлопнул Финна по колену в зеленом чулке и громко сказал: «Не унывай, старина Финн. Может случиться, что ты попадешь в Уайтхолл уже к Рождеству».

Пролетело несколько недель — вестей от короля не было. К этому времени стало ясно: написанное письмо принесло облегчение лишь ненадолго — теперь, когда я его отправил, тоска только усилилась. Раньше я мог внушать себе, что в любой момент король может снова призвать меня, что он только на время выбросил своего шута из головы и непременно вскорости вспомнит — на веселой пирушке или во время игры в

кегли. Теперь же его молчание могло означать только одно: он сознательно забыл меня. Даже смерть Минетты не побудила его нарушить это молчание. Доказательств хватало: король больше не был ко мне привязан, меня выбросили из его лучезарного окружения в кромешную тьму.

Тьма эта, черная, как воды Стикса,[26] особенно тяжело переносилась мною в ночные часы. Тогда я оставлял рядом с кроватью горящую свечу или вообще сбегал из дома, проводя ночи под крышей «Веселых Бездельников», в каморке Мег Стори, — там я засыпал после пива, грубого спаривания и идиотских рассказов о моих путешествиях по Стране Реки Мар, вымышленной земле, которая, по мнению невежественной Мег, расположена «рядом с Африкой». Каких только историй я не придумывал! «Жители Реки Мар больше всего любят воду, — рассказывал я. — Они даже спят в воде. Поэтому вдоль берегов реки Мар с мангровых деревьев свисают кожаные петли — в них аборигены просовывают головы, чтобы не утонуть во сне». Услышав такие невероятные вещи, Мег вздыхала от изумления; мой голос убаюкивал ее, она задремывала, а я слушал, как на улице

---

[26] Примечания: 26

Стикс — в греческой мифологии река в царстве мертвых.

бедная Плясунья била копытом по замерзшей земле и тихо ржала от холода.

Пышное и умелое тело Мег Стори приносило мне немалое утешение, но мне остро недоставало духовного участия — тогда-то я и стал посылать сообщения Богу. Эти жалкие послания представлялись мне в виде крошечных световых точек, извивающихся светлячков — Бог мог заметить их, только направив в нужную сторону телескоп. Те дни, когда мы с Богом вели ежедневные беседы, давно канули в прошлое. Они оборвались одновременно с пожаром, который поглотил тела моих бедных родителей так же, как ленты и перья, — необходимый материал для их невинного ремесла, в этом огне сгорело то, что еще оставалось от Моей веры. Я и раньше — после моего несогласия с Галеном и его теорией божественного совершенства — осознал, что анатомия уводит меня от Бога. Сравнительное изучение мной *uterus bovinae*[27] и *uterus humani*[28] показали, что детородные процессы в организме коровы и женщины очень похожи; поневоле призадумаешься, нет ли между человеческим и животным

---

[27] Примечания: 27
Коровьей матки *(лат.).*

[28] Примечания: 28
Человеческой матки *(лат).*

миром некой существенной связи. Это сбросило бы нас с божественного пьедестала, на который поднялись не только короли и прочие правители, но и омерзительные мошенники и убийцы. То были мысли еретика, я держал их при себе, но когда увидел, как быстро и страшно погибли мои добрые родители, как — без всяких признаков божьего сострадания — разорвались их легкие, а плоть поджарилась, как обычная говядина, я почувствовал, что не в состоянии больше вести диалог с всемогущим и милостивым Богом. Разве можно Его так называть? Если Он милостивый, тогда почему ниспослал такую страшную кару на честных и трудолюбивых людей? А если всемогущий, почему не предотвратил такой конец? «Но страданием искупаются грехи, Меривел, — говорил Пирс. — Твои родители в муках искупили их». «Не было у них грехов, — отвечал я. — Каждое воскресенье они присутствовали на двух службах. Читали утренние и вечерние молитвы, стоя на коленях у супружеского ложа, которого ни один из них не осквернил. А теперь взгляни на меня! Меня пожирает похоть, я упиваюсь вином, сквернословлю и занимаюсь самообманом. *Почему* не я сгорел в огне? Почему страдают случайные люди? Нет, Пирс, это не дело. Если Бог

есть. Он жесток. Это древний и ужасный Бог Моисея, Бог Авраама. Хотя логичнее предположить, что Его вообще нет».

Любопытно, с какой легкостью я отказался от веры. И всю любовь, питаемую мной до той поры к Богу, перенес на короля, который отвечал (не так, как Бог, говоривший устами жирных епископов и частенько прибегавший к долгим загадочным паузам) смехом на мои шутки, а его царственные поцелуи были слаще любых женских ласк. Отсутствие этих нежных проявлений дружбы и привязанности погрузили меня в черное отчаяние и заставили искать во тьме утраченного Спасителя, хотя Он мог вновь проявить свою жестокость.

Эти поиски, молитвы-светлячки, посылаемые мной в звездное небо над комнаткой Мег Стори, не принесли поддержки Бога, зато привели ко мне старого друга Пирса, прибывшего в Биднолд на муле. К спине мула были привязаны жалкие пожитки Пирса (про себя я называл их — как мне кажется, довольно остроумно — его «горящими углями», по аналогии с безумным квакером из Вестминстера, бродившим по этому району Лондона с миской углей на голове, — он призывал к покаянию наших щеголей). На самом деле всех

вещей у Пирса было: три Библии, книга «Исследования о зарождении животных» его любимого Гарвея, еще несколько трактатов по анатомии, в том числе работы Везалия,[29] да Винчи и Нидхема,[30] несколько гусиных перьев, черный сюртук и шляпа, две пары черных штанов, несколько заплатанных рубашек и чулок, коробка с заржавевпшми хирургическими инструментами, оловянная кружка миска и фарфоровый половник. Последний — все что осталось Пирсу от матери, которая, чтобы послать сына в Кембридж, обрекла себя на нищенское существование и умерла в бедности. Иногда, когда Пирс впадал в столь свойственное ему меланхолическое настроение, он прижимал к себе половник, гладя длинными пальцами его холодную поверхность, — похоже на то, как лютнист, перебирая струны, извлекает мелодию из мертвого дерева с выдолбленной сердцевиной.

Признаюсь, я был рад Пирсу. Когда Уилл Гейтс сообщил мне, что к дому подъезжает на муле оде-

---

[29] Примечания: 29

Везалий, Андреас (1514–1564) — естествоиспытатель эпохи Возрождения, основоположник научной анатомии.

[30] Примечания: 30

Нидхем, Джон (1713–1781) — английский естествоиспытатель, пытался экспериментально доказать самопроизвольное зарождение микроорганизмов (жил позже времени действия романа).

тый в черное мужчина с длинной шеей, я сразу догадался, что это мой старый друг и сокурсник, и выбежал ему навстречу.

Накрапывал дождь. Пирс и мул — оба — были мокрыми и грязными.

— Мы приехали из Фенза, — объявил Пирс трагическим голосом.

— Из Фенза, Пирс? — переспросил я. — А что вы там делали?

— Я теперь житель Болотного края,[31] Меривел, — сказал он. — Работаю и живу там.

— Вижу, на первое место ты поставил работу, Пирс, а жизнь — на второе.

— Естественно. Впрочем, их разделить нельзя.

— Как сказать. Я вот совсем не работаю — лишь немного рисую.

— Рисуешь? Как интересно!

— Так Ты ушел из Королевского колледжа?

— Да Теперь я занимаюсь только душевнобольными Держи мука и проследи, чтоб его накормили мы оба очень устали.

Пирс спешился, сделал два неуверенных шага и рухнул на колени. Я громко позвал Уилла Гейтса тот пулей примчался на зов, и мы вдвоем отвели

---

[31] Примечания: 31

Болотный край — так называют земли Кембриджшира и Линкольншира.

Пирса в дом. Конюху я приказал побыстрей снять с мула «горящие угли», боясь, что мул сдохнет и раздавит половник.

Пирса мы уложили в самых невзрачных покоях, так называемой Оливковой Комнате, выходящей на север; я сохранил в ней темную панельную обивку и темно-зеленый балдахин, который оживляла только узкая малиновая оборка. Здесь он выпил крепкий мясной бульон, спросил, могут ли принести его книги, и погрузился в сон, продолжавшийся тридцать семь часов. Почти все это время я провел у его изголовья — проверял пульс, прислушивался к дыханию, задремывал сам, смачивал горло вином и вглядывался в удлиненное, бледное лицо — оно раздражало меня и в то же время было бесконечно дорогим.

Когда Пирс наконец проснулся, мне не терпелось рассказать ему о том отчаянии, в какое я впал, — я еще надеялся получить от него дельный совет. Но, как оказалось, он совершил тяжелый путь из Фенза только по одной причине: поведать мне, что он обрел прочный мир в душе, занимаясь лечением безумцев в месте, которое он назвал Новым Бедламом, — оно лежало где-то между Уотербичем и Уитлси, — и постараться убедить меня порвать с «тщеславной и суетной» жизнью

и присоединиться к нему.

— У меня такое чувство, — сказал он, вглядываясь в мое веснушчатое румяное лицо под париком, — что у тебя не все в порядке, Меривел. Из твоих глаз ушел свет. Роскошная жизнь душит тебя.

Я опустил глаза. Меня так и тянуло признаться Пирсу, по-детски залившись слезами, что не из-за роскоши лишился я счастья, а потому что король покинул меня. Да, я был несчастен, но вовсе не по той причине, какую он называл. Однако я сдержался и ничего не сказал, зная, что мои слова дадут повод Пирсу произнести еще одну высокопарную тираду о душевнобольных, этих невинных младенцах, и о том, что спастись можно, лишь уподобившись «малым детям».

— Благодарю тебя, Пирс, за участие, — сказал я, — но ты не прав. Если мои глаза кажутся слегка тусклыми, то это оттого, что я много часов просидел у твоей постели без сна. Что до моих жизненных сил, их у меня с избытком.

— Меня не обманешь, Меривел. Вот когда ты стоял в моей университетской комнате и держал в руке человеческое сердце, жизненные силы действительно кипели в тебе.

— Неужели! Ты бы видел меня в парке за моль-

бертом…

— Надеешься найти спасение в искусстве?

— Дело не только в спасении…

— Но я говорю именно о нем, Меривел. Разве смерть не высший момент нашего существования, когда мы пожинаем то, что посеяли?

— Это твой взгляд на вещи, Пирс.

— Нет. Не мой. Мне это говорит Бог. А что сеешь ты, Меривел, здесь, в этом дворце?

— Это просто дом, Пирс.

— Нет! Дворец! И он полон порока, если судить по этим красным кистям.

— Они ни о чем не говорят.

— Ответь мне, Меривел. Что ты *сеешь?*

Я снова потупил взор. Сельскохозяйственные метафоры, которыми напичкана Библия, всегда казались мне упрощенными и грубыми, особенно не по душе мне пришлось частое употребление Пирсом глагола «сеять». Почему-то всплывало в памяти мое письмо к королю: ведь письму отводилась роль семени, которое должно было пустить росток в короткой королевской памяти, но семя, похоже, упало на каменистую почву.

Я взглянул на худое, бледное лицо Пирса на белой подушке.

— Цвет, — ответил я. — Цвет и свет. Вот что

я сею.

— Ты несешь вздор, Меривел, языческий вздор!

— Нет, — упорствовал я. — Поверь, Пирс! При помощи цвета и света я надеюсь достичь искусства. Через искусство обрести сострадание. Посредством же сострадания — хотя путь может быть более тяжелым, чем проделанный тобой (твой мул, кстати, сдох), — надеюсь достичь просвещенности.

— Просвещенность еще не все, — презрительно фыркнул Пирс.

— Возможно. Но с ней можно двигаться дальше.

Не дав Пирсу времени на ответ, я взял половник, лежащий на секретере орехового дерева, куда его положил слуга, и вручил другу.

— Вот твой половник, — сказал я. — Играй с ним, пока не почувствуешь себя настолько крепким, чтобы спуститься вниз, там я покажу тебе нечто прекрасное.

— Что именно? — спросил Пирс, в голосе его сквозило подозрение.

— Индийского соловья, — ответил я и поскорее вышел из комнаты — прежде, чем Пирс успел отпустить очередную колкость.

Надо сказать, что к этому времени у меня вошло в привычку ежедневно петь для моего индийского соловья. У меня нет голоса, и пою я так фальшиво, что, стоило мне открыть рот, как моя рано ушедшая из жизни Минетта начинала выть и скулить, словно я был бродячим псом из Страны Мар. И все же я люблю петь. В голове у меня звучат правильные ноты. То, что мне не удается их воспроизвести, расстраивает слушателей, но не меня. В этом отношении я похож на человека, который, решив перепрыгнуть через сложное препятствие, каждый раз, несмотря на все свое рвение, терпит поражение, однако отнюдь не унывает, а напротив, лучится радостью. Финн посоветовал мне подыгрывать птице на гобое; я заказал музыкальный инструмент в Лондоне, а тем временем сам пел соловью — пел довольно тихо, чтобы не оскорблять его тонкий музыкальный слух. Соловей внимательно прислушивался, вертел хвостиком и ронял крупинки помета на крашеное дно клетки.

Наконец Пирс смог встать с постели и в засаленной черной одежде пришел ко мне в Комнату Уединения, где я пел для соловья. Ослепленный блеском обстановки Пирс демонстративно заслонил ладонью глаза, приблизился к клетке,

встал рядом и смотрел на соловья, часто мигая, как ящерица. Я перестал петь, и соловей тут же просвистел мелодию.

— Узнаю, — сказал Пирс.

— Что это? — взволнованно спросил *я*. — Что-то из Перселла?[32]

— Нет, — ответил Пирс и устремил на меня взгляд рептилии — в нем сквозила жалость. — Так поет обычный черный дрозд.

— Не говори глупости, Пирс, — быстро проговорил я, ощущая, как сильно после этих слов забилось мое сердце, каким бы бесчувственным оно ни было. — Птицу мне подарили. Она путешествовала по океанам.

— Когда подарили? Кто ее привез?

— Понятия не имею. Бесспорно, орнитолог. Она обогнула мыс Горн. Так что забудь о черном дрозде.

Пирс пожал плечами и повернулся спиной к клетке, словно она его больше не интересовала.

— Тебя надули, Меривел, — только и сказал он.

— Хорошо. Давай выйдем в сад, найдем черного дрозда, послушаем его примитивную песенку, и тогда ты поймешь, что ошибся.

---

[32] Примечания: 32

Перселл. Генри (1659–1695) — английский композитор и органист.

— Как хочешь, — сказал Пирс, — но хочу напомнить: сейчас зима — в это время года птицы поют редко.

— Вот еще одно доказательство того, что это не английская птица. Ты только что слышал ее красивое пение.

— Неудивительно. Твоя комната кажется ей цветочной клумбой.

Я улыбнулся его словам. Пирсу не удалось подколоть меня: яркая, пестрая комната очень нравилась мне, и вообще замечу мимоходом, что от его критики я никогда не чувствовал себя оскорбленным, как он ни старался.

Мы с Пирсом надели плащи (его, потертый, вызвал у меня острую жалость с примесью раздражения) и вышли на улицу. Мороз разукрасил инеем все вокруг. Декабрьское утро было холодным и тихим. Сухой воздух обжигал легкие.

Мы стояли, прислушиваясь. В стороне, над парком, там, где растут буковые деревья, кружили с криком грачи. Никаких других звуков не было слышно. «Пройдемся немного по аллее», — предложил я, и мы медленно — Пирс всегда ходил неспешно — двинулись вперед. Думаю, если б сам Господь вдруг вырос перед ним с раскрытыми объятиями, то и тогда Пирс не перешел бы на

бег, приближаясь к Создателю своим обычным, размеренным, степенным шагом.

Не успели мы отойти на заметное расстояние от дома, как в морозную тишину ворвались звуки, которых я совсем не ждал: топот копыт, звон бубенчиков. К нам ехала карета, запряженная четверкой. Я затаил дыхание. Сомнений не было: Вайолет решила выпить бокал глинтвейна и провести со мной часок в постели. А я в это время вышел слушать черных дроздов со своим единственным другом, которого явно расстроит ее визит. Ясно одно: если я хочу удержать Пирса в Биднолде, надо немедленно отослать Вайолет обратно, как ни соблазнительно для меня ее общество.

Чтобы пропустить экипаж, мы сошли на обочину, но тут карета вывернула на подъездную аллею, и на повороте стало видно, что великолепные серые лошади не из конюшни Вайолет. Других гостей я не ждал и ломал голову, кто может мчаться к моему дому на такой скорости.

Я поднял руку — кучер (догадавшись по моей нарядной одежде, что перед ним хозяин Биднолда) попытался замедлить бег лошадей, но их галоп был таким резвым, что карета промчалась мимо. Лишь мельком увидел я в окне женское

лицо под темной вуалью.

Карета подкатила к главному входу. Я побежал к дому, Пирс тащился следом, как призрак сосланного в изгнание Джона Лузли. К несчастью, я поскользнулся на льду, кое-где затянувшем аллею, и постыдно свалился, порвав розовый чулок и до крови разодрав правую руку.

Поднявшись, я нетвердой походкой продолжил путь. «Эй, там! — крикнул я. — Подождите!» Однако, когда, раскрасневшись и тяжело дыша, я доковылял до главного входа, женщина из кареты уже вошла в дом, а мои лакеи вносили за ней объемистые коробки и дорожные сундуки.

Тут я заметил, что из моей руки сочится кровь. Раздраженный этим открытием, я вошел в холл. После яркого солнечного света там было особенно темно, и вначале я ничего не видел. Потом я поднял глаза. На дубовой лестнице стояла женщина, ее лицо скрывала черная вуаль. Неуловимо знакомая поза… Еще до того, как она подняла вуаль, я уже знал, чье лицо увижу. Моей жены.

Мы стояли и смотрели друг на друга. Селия выглядела еще хуже, чем я, хотя щеки мои пылали, а парик сполз на глаза. Мне показалось, что жена очень состарилась. Она запомнилась мне очень хорошенькой — маленькое личико,

ямочки, — теперь же у нее был усталый вид, лицо осунулось, глаза были красные, веки распухли так, словно она проплакала всю зиму. Я сделал к ней шаг. Острая жалость охватила меня, я хотел произнести ее имя, но, открыв рот, вдруг понял, что не могу его вспомнить.

Глава пятая
Два червя

Лихорадочно обустраивая дом в соответствии со своим причудливым вкусом, я совсем упустил возможность того, что Селия Клеменс когда-нибудь будет жить под его крышей.

Поэтому, хотя в доме насчитывалось одиннадцать спален, ни одна из них, по моему мнению, не подходила для женщины, которую Вайолет Бэтхерст звала «леди Меривел, твоя супруга» и о существовании которой я напрочь забыл. «Послушай, Вайолет, — отвечал я на ядовитые замечания леди Б., — Селия мне такая же жена, как Бэтхерст тебе муж. Я о ней и не думаю, поверь мне».

Обычно подобные слова усмиряли ревность Вайолет, но однажды вечером, когда я стоял над ней на коленях и нежно водил своим набухающим членом вдоль уютной ложбинки между грудями, она вдруг приподнялась и оттолкнула меня с такой силой, что я непременно скатился бы на пол, если б моя правая нога не запуталась в простыне. «Сравнение с Бэтхерстом неуместно, —

сердито сказала Вайолет, — и, если ты привел его сознательно, показывает тебя жестоким и циничным человеком. Как тебе известно, у Бэтхерста бывают светлые моменты, когда к нему возвращается память, и тогда он просто невыносим. К примеру, в среду вечером просветление пришло к нему посреди ужина, и он пополз ко мне на четвереньках под обеденным столом, попутно расстегивая штаны. Не скажи я, что лежащие на тарелке вальдшнепы — его любимое блюдо — могут остыть, все могло произойти. То же самое может случиться и с тобой, Меривел. Ты клянешься, что все позабыл, но это не означает, что однажды ты не поползешь к ней униженно на коленях.

— Я только раз в жизни ползал на коленях и то перед королем, когда по неосторожности упал у его ног, — возразил я, занимая прежнюю позицию (хотя схожесть моей позы с положением Бэтхерста под столом была мне слегка неприятна). — Твое предположение, что я, находясь в здравом уме, буду ползать на коленях перед Селией, — полный бред, и не станем больше об этом говорить.

Сказав это, я заткнул Вайолет рот поцелуем, тем самым предотвратив дальнейшие излияния.

Остаток вечера прошел исключительно приятно: внезапная вспышка ревности вызвала у Вайолет дикий и необузданный приступ чувственности.

Но, провожая Вайолет до кареты, я вдруг вспомнил Селию и задумался, где ее поселить, если она все же приедет в Биднолд. Если б в тот странный вечер моей свадьбы я не видел собственными глазами ее бесстыдно раскинутых ног и прильнувшего к ее лону короля, если б, сидя в чулане, я не слышал слетающих с ее уст воплей наслаждения, воплей африканской кошки, то решил бы, что Селия — непорочная девственница, скромница с непритязательным вкусом, не знающая, что такое страсть, девушка, которой по душе спальни, обтянутые муаром бледно-абрикосового цвета, украшенные темными гравюрами с изображениями рек и соборов. Однако к тому времени, когда карета с Вайолет растворилась во мраке и я перестал махать ей вслед рукой, решение было принято: в случае чего я предложу Селии поселиться в Золотой Комнате. Несмотря на поздний час, я разбудил слуг и заставил их зажечь свечи в этой комнате, решив как следует ее осмотреть. Если б не Вайолет, такая мысль никогда бы не пришла мне в голову. Ведь это она во время нашего вечернего свидания заставила

меня вздрогнуть от мысли, что в моем доме может появиться жена. Однако на следующее утро мысль о Селии вновь перешла в тот уголок моего сознания, который я представлял в виде фистулы, только заполненной не гноем, а мраком, надежно укрывшим то, что я когда-то узнал.

И вот я стою в разорванных чулках, с окровавленной рукой и смотрю на мою бедную жену, она же с лестницы обернулась ко мне, и ее лицо говорит об огромном несчастье.

— Дорогая! — восклицаю я, быстро вытаскивая из кармана шелковый фиолетовый платок и торопливо обвязывая им руку. — Добро пожаловать в Биднолд. Почему не предупредила заранее? Я подготовился бы к твоему приезду.

— Мне не нужна торжественная встреча, — говорит Селия, голос ее звучит слабо, как у умирающей старухи. — Слуги проводят меня в мою комнату.

— Конечно, — говорю я запинаясь, — но и я могу это сделать. Тебе предназначена Золотая Комната…

Я уже перевязал руку, но, когда берусь за перила и собираюсь подняться по лестнице, вижу, как она отшатывается от меня, словно перед ней гадюка. «Не приближайся, — шепчет Селия, и вид у

нее такой, что она вот-вот грохнется в обморок от отвращения. — Пожалуйста, не приближайся».

Я замираю на месте и ласково ей улыбаюсь. «Селия, — говорю я, вспомнив наконец ее имя, — не надо меня бояться. Мне ничего от тебя не нужно. Я всего лишь хотел проводить тебя в твою комнату, и, надеюсь, ее убранство и цвета хоть немного смягчат то горе…

— Меня проводят слуги. Где моя женщина, София?

— Что? — переспрашиваю я.

— Где моя женщина? Где София?

— Понятия не имею. Ты привезла ее с собой? Она твоя служанка?

— Да. Позови ее, пожалуйста, Меривел.

Я поворачиваюсь и смотрю на входную дверь. Два лакея, теснясь, вносят в дом кожаный дорожный сундук, заполненный, без сомнения, шляпками с горностаевой опушкой и туфельками из кожи тритона — подарками моего бывшего хозяина, влюбленного короля. Тут мои мысли принимают печальный оборот: я с грустью вспоминаю комплект полосатых столовых салфеток, которыми давно не пользуюсь, — они лежат в дубовом шкафу вместе с другим бельем. Поток грустных мыслей прерывает Пирс — он появля-

ется в холле, тяжело дыша и сопя, как его мул.

— Пирс, — торопливо говорю я. — Ты не видел женщину по имени София?

Пирс только моргает. Большие глаза, крючковатый нос, длинная шея делают его похожим на одного из ведущих ночной образ жизни животных — они живут на деревьях, их еще называют сумчатыми (странное название).

— Нет, — отвечает Пирс. — Что стряслось, Меривел? Я чую беду.

— Ты прав, — согласился я. — Похоже, случилась беда. Но первым делом нужно найти служанку моей жены…

— Твоя жена приехала?

— Да. Вот она. Вернись к карете, Пирс, и скажи служанке, что ее зовет госпожа.

Пирс трет глаза старым плащом, словно желая убедиться, что похожая на призрак женщина в черном — та самая Селия Клеменс, которую последний' раз он видел веселой и смеющейся на ее свадьбе. Я уже собираюсь напомнить другу, чтобы он шел на улицу, но тут на пороге появляется некрасивая темноволосая дородная женщина лет тридцати пяти, она несет в руках два или три платья.

— София, — зовет ее Селия охрипшим голо-

сом, — иди сюда!

София переводит взгляд с Пирса на меня; видно, что наш вид вызывает у нее омерзение, и она быстро поднимается по лестнице к хозяйке, простирающей к ней руки.

Рядом со мной неведомо откуда вырастает. Уилл Гейтс.

— Уилл, — поспешно говорю я, — пожалуйста, проводи мою жену и ее служанку в Золотую Комнату.

— В Золотую Комнату, сэр? — шепотом переспрашивает Уилл. — Может, в другую?

— Нет, — грубо обрываю я слугу.

Уилл озадаченно смотрит на меня, но, тем не менее, как вышколенный слуга — а он такой и есть, — идет к лестнице, поднимается по ней, проходит мимо женщин и дальше идет уже с ними, проявляя свою обычную сдержанную любезность. Следом лакеи несут тяжелые сундуки и коробки.

В тот день я больше не видел Селию.

После ужина, к которому вышли только мы с Пирсом, я спросил у повара: заказывали мои гости какую-нибудь еду? Только бульон и сливовый пирог, был ответ.

— Съели? — спросил я.

— Или они, — ответил пучеглазый повар Кэттлбери, — или их собака.

— Собака?

— Ну да, сэр.

— Какая еще собака, Кэттлбери?

— Мистер Гейтс сказал, что с ними собака, маленький спаниель, вроде того, что был у вас, сэр Роберт.

Как хитер король, с грустью подумал я, выходя, из кухни. В предчувствии расставания он дарит этот очаровательный живой подарок любившим его людям, дарит, чтобы быть уверенным в том, что любовь к нему не угаснет (как будто он в этом сомневается!) — на тот случай, если в них возникнет нужда. Бедняжка Селия!

К тому времени, когда я вернулся в кабинет, где оставил Пирса за чтением латинского текста из времен учебы в Падуе, я уже решил, что стоит в этой ситуации проявить понимание и участие (если Селия позволит), такое отношение, возможно, поможет и мне выйти из депрессии. Ведь сомнений нет: король с ней расстался. Она сыграла свою роль, как прежде сыграл свою я, и теперь король в нас больше не нуждается. Я как будто видел, как за обедом он изящным движением обнимает белые плечи леди Каслмейн, маленькие

усики, которые он так безукоризненно подравнивает, обольстительно поблескивают при свечах. Он склоняется к даме, покусывает изумрудную сережку. «Что ты знаешь о Норфолке, Барбара?» — шепчет он.

— Очень немного, — отвечает она. — Только то, что это место далеко от Лондона.

— Вот именно! — смеется король. Как раз то, что мне нужно. Туда я *envoie*[33] тех, кто мне наскучил.

— Думаю, я знаю, что произошло, — сказал я Пирсу, устраиваясь в кабинете. — Больше всего я боюсь, как бы Селия не решила, что теперь ее жизнь кончена. Не уверен, что она когда-нибудь утешится.

При этих словах Пирс даже не оторвался от книги (была у него такая скверная привычка, я не выносил ее еще в студенческие дни) и продолжал читать, словно меня не было в комнате. Я ждал. Иногда Пирс был таким несносным, что, будь я королем, непременно сослал бы его в Норфолк.

— Ты слышал, что я сказал? — спросил я Пирса.

— Нет, не слышал, — ответил Пирс. — Думаю, это имеет отношение к горю твоей жены.

---

[33] Примечания: 33
Ссылаю *(фр.).*

— Так и есть.

— Что тут скажешь? Когда умирает страсть и веселью наступает конец, шутов — одним из которых ты стал — и куртизанок — как она — обязательно настигает бич Божий.

Я вздохнул и уже открыл рот, чтобы положить конец этим невнятным метафорическим высказываниям, но тут Пирс поднял книгу, которую читал, и стал размахивать ею перед моим носом.

— *Невероятно* интересно! — заявил он. — Здесь рассматривается картезианское[34] представление о непроизвольном размножении: ведь если размножение низших форм не является непроизвольным, тогда *vermiculus unde veni?*[35] Откуда личинки?

Я встал.

— Извини, Пирс, — холодно прервал я друга, в моем голосе звучал металл, — но беседовать о личинках после пережитых испытаний я не в состоянии. Пойду поиграю перед сном на гобое.

С этими словами я вышел из кабинета и направился в Музыкальный Салон. Не стану утомлять

---

[34] Примечания: 34

Картезианство — учение Декарта (1596–1650) и направление в философии и естествознании XVII–XVIII вв.

[35] Примечания: 35

Тогда откуда берутся черви? *(лат.)*

вас рассказом о том, как этим вечером я сражался с музыкальным инструментом и сколько потратил слюны, мусоля один за другим язычки.[36] Скажу только, что у меня не шли даже простейшие гаммы; спустя час или чуть больше у меня так сильно разболелась пораненная рука, что я улегся прямо на пол Музыкального Салона, сунул больную руку промене бедер, колени прижал к животу и в этой детской позе заснул тяжелым сном.

Проснулся я совершенно окоченевший от холода, рука опухла и как бы преждевременно сдалась *rigor mortis.*[37] Сероватый свет в окне подсказал мне, что в Норфолке, графстве изгнанников, занимается рассвет. Несмотря на боль и оцепенение при пробуждении, я был полон решимости. Немедленно пойду к Селии! Нужно ее убедить, что, хотя мы почти незнакомы и моя внешность ей, возможно, неприятна, я могу быть великодушным и с радостью — без всяких компенсаций и наград — буду ее защитником, обещая во время

---

[36] Примечания: 36

Гобой принадлежит к язычковым музыкальным инструментам (язычок — пластинка, закрепленная одним концом и колеблющаяся от струи вдуваемого воздуха).

[37] Примечания: 37

Трупному окоченению *(лат.)*

ее пребывания в Биднолде относиться к ней почтительно и сердечно.

Я поднялся в свою комнату, сменил одежду и парик. Слуги еще спали. Взглянув на подаренные королем изящные часы, я увидел, что сейчас около шести. В камине еще тлели угли, и, прежде чем пуститься в путь по холодным коридорам к Золотой Комнате, я стал греть перед ним онемевшую руку.

У дверей Селии я остановился. Изнутри доносились тихие жалобные звуки, сначала я принял их за плач, но потом догадался, что скулит спаниель. Эх, Минетта, Минетта, подумал я. Мне тоскливо без моей собачки. Тебя похоронили в парке, и маралы щиплют травку на твоей могилке… Однако жалеть себя времени не было, и я решительно и уверенно постучал в дверь (левой рукой — в правой я по-прежнему чувствовал колючую и ноющую боль) и стал ждать.

Через минуту-другую незнакомый голос с иностранным акцентом, явно принадлежавший Софии, сердито спросил:

— Кто там?

— Сэр Роберт, — ответил я. — Мне нужно поговорить с леди Меривел.

Собака скреблась под дверью. Похоже, перед

тем как ответить, служанка грубо отшвырнула ее.

— Хозяйка спит. Пожалуйста, уйдите.

— Никуда я не уйду, — сказал я. — Разбудите мою жену. Я должен сказать ей нечто важное.

— Ну уж, нет, — прошипела София. — Говорю вам, она спит.

— Выспится позже. Мне нужно немедленно с ней поговорить.

Я чуть не прибавил, что в настоящий момент испытываю к Селии глубокое сострадание, однако, учитывая человеческую природу, трудно гарантировать, что спустя какое-то время чувства мои не изменятся, но тут дверь открылась. Передо мной стояла служанка в ночной рубашке и кружевном чепце. Теперь я видел, что у нее нездоровая, желтая кожа, а на верхней губе густая поросль. Я подумал, что она, должно быть, португалка из многочисленной женской свиты, сопровождавшей в морском путешествии в Англию Екатерину Браганса,[38] многие остались служить своей возлюбленной королеве и на чужбине. Остряки из Уайтхолла называли их презрительно «юбочницами»: под широченными

[38] Примечания: 38

Браганса — династия королей Португалии в 1640–1853 гг.

юбками они скрывали короткие толстые ноги.

Не обращая внимания на Софию, взгляд которой выражал крайнюю степень отвращения, я вошел в комнату. Ничего, «юбочница», скоро тебя здесь не будет, мысленно пообещал я. Все-таки я здесь хозяин.

Впрочем, не скрою, что в последующей за этим сцене (я сознательно употребляю слово «сцена», хотя навязшее в зубах представление о моей жизни после свадьбы как о фарсе не кажется мне достаточно убедительным) я продемонстрировал вопиющую неспособность быть хозяином положения и вынес ужасные оскорбления и ругательства. Вот как это произошло.

Как оказалось, Селия вовсе не находилась в постели («юбочница» солгала), а сидела, полностью одетая — снова в черное, — на диване у окна, облокотившись на оранжевые и зеленые подушки. Она смотрела в окно, встречая унылый рассвет.

Я спросил, хорошо ли она почивала, на это Селия ответила, что не сомкнула глаз, Да и как можно заснуть в такой ужасной комнате — ничего более вульгарного, безвкусного и аляповатого она в жизни не видела. Трудно представить человека, который чувствовал бы себя здесь хорошо. Кроме меня, разумеется.

В ответ я заверил ее — и голос мой не дрогнул, — что она может выбрать *любую другую* комнату на свой вкус. Затем спросил, могу ли я сесть. Лучше, если я буду стоять, ответила Селия.

Хотя к этому времени меня основательно сбила с толку необъяснимая враждебность Селии, я все же заговорил о том, ради чего пришел. Я сказал, что, как человек, испытавший на себе в течение недолгого времени благосклонность короля, могу больше, чем кто-либо другой, понять глубину ее горя. Я поведал ей, до какой степени мои плоть и дух, пребывавшие ранее в мире и спокойствии — во власти лишь Бога и Святой Троицы, «одержимы» королем. Более того, я пошел дальше и сказал, что, по моему разумению, во всем королевстве нет ни мужчины, ни женщины (кем бы они ни были — благочестивыми христианами, как мои родители, пуританами или квакерами, здравомыслящими людьми или безумцами), которые не мечтали бы о том, чтоб исходящее от него сияние осветило хоть на миг их унылое существование. «Что же до нас с тобой, Селия, нас, которые удостоились толики его любви…»

— *Любви?* — вскрикнула Селия. — Не много ли ты на себя берешь, Меривел? Какой самообман! Как смеешь ты называть любовью отношение

к тебе короля? Ни одной секунды, ни одного мгновения король Карл не любил тебя, Меривел. Мой тебе совет: никогда впредь не употребляй это слово!

— Я только хотел… — начал я, но тут Селия встала и, метнув в мою сторону страшный взгляд, заставила замолкнуть. Она ткнула белым пальчиком меня в алый жилет и пронзительно прокричала: «Правда в том, что король, любя *меня,* сгорая страстью по *мне,* использовал тебя. Всего лишь использовал, Меривел. Ему было нужно найти самого недалекого человека в окружении, самого глупого, самого тупого, который повиновался бы ему, как собака, и ничем не мешал, — и он нашел тебя! Я умоляла: не заставляй меня выходить замуж за такого идиота, умоляла на коленях, но он в ответ только хохотал. „Кому, как не идиоту, могу я предложить стать платным рогоносцем?" Тебе ясно, Меривел? Ты в состоянии уразуметь, о чем я говорю» или ты совсем уж непроходимый тупица?»

Боюсь, у меня недостанет сил пересказать дальнейшее. Слишком больно. Конечно же, я все «уразумел», повторяя ее слова. Уразумел весь ужас своей роли и, хотя Селия, в гневе и отчаянии, продолжала бросать мне в лицо оскорбления, не

стесняясь жирной «юбочницы», которая, мерзко ухмыляясь, наблюдала за нами, я просто не способен их воспроизвести.

Прекратив попытки установить дружеские отношения с Селией и, уж конечно, не расспрашивая жену, как случилось, что король ее отверг, я тихо вышел из комнаты и сам закрыл дверь, не дав возможности «юбочнице» демонстративно захлопнуть ее за мной.

Первое, что пришло в голову: у кого искать утешения после этого ужасного открытия? У Пирса? Уилла Гейтса? Вайолет Бэтхерст? Мег Стори? У моей бывшей подружки Рози Пьерпойнт? Я чувствовал острую потребность в искреннем человеческом участии. Однако час был ранний, дом погружен в темноту, и все, кто мог помочь, спали: Пирс на спине — он сжимает в руках половник; Уилл Гейтс, лежа на низенькой кровати на колесиках, грезит о деревенских девушках; Вайолет, благополучно ускользнувшая на время из сознания старого Бэтхерста, спит, зарывшись в роскошную парчу; Мег забылась сном на своем чердаке, дыхание ее отдает пивом; нежная Рози ворочается в постели Пьерпойнта, потревоженная журчанием просыпающейся реки… Ну да Бог с ними.

Покинув Золотую Комнату, я направился в западное крыло дома и поднялся по холодным каменным ступеням в башенку, где находилась круглая комната, та, которая привела меня в восторг, когда я впервые увидел ее. Комната все еще пустовала, перемены ее не коснулись. Я подходил поочередно к каждому окну, выглядывал наружу. Тонкая красная полоска на небе говорила о близком рассвете. Легкая дымка затягивала парк, скрывая от посторонних глаз маралов.

У одного окна я сел. Эта прекрасная комната никогда не найдет себе применения, подумал я. Во всяком случае, на моем веку. Это место неподвластно моему пониманию, я не сумею им правильно распорядиться, хотя оно волнует мое воображение. Мои возможности ограничены. Я слишком земной, грубый, невежественный человек и никогда не смогу постичь этой комнаты.

Конечно же, я поделился с Пирсом тем, что наговорила мне Селия в Золотой Комнате.

Я согласился помочь ему в более чем странной затее: принести с деревенского кладбища немного земли, из которой Пирс намеревался выделить селитру. Дело в том, что, помимо прочих болячек, Пирс страдает мочекаменной болезнью и надеется излечиться от нее, регулярно прини-

мая определенную дозу этого мерзопакостного вещества.

Для этой цели Пирс прихватил с собой небольшую лопатку и кожаную сумку. Я проявил благородство, вызвавшись нести лопату (мой друг еще полностью не восстановился после тяжелого путешествия по болотам), а сумку Пирс повесил на свою длинную шею, в результате чего стал еще больше похож на монаха из нищенствующего ордена.

Неспешно пройдя по подъездной аллее, мы вышли на тропу, ведущую к деревне. После посещения кладбища я намеревался предложить Пирсу подкрепиться в «Веселых Бездельниках» и за трапезой обо всем рассказать. Однако Пирс еле тащился, и я, чтоб не окоченеть от холода, всю дорогу трепал языком не умолкая и успел поделиться своими грустными новостями еще до того, как мы пришли в деревню. Закончив рассказ, я жестом, полным отчаяния, далеко отшвырнул лопату.

Пирс взглянул на меня. В его больших глазах я уловил нечто похожее на жалость, но он не проронил ни слова и, пока я ходил за лопатой, не останавливаясь, шел вперед. Я уже подумывал, не повторить ли мою историю еще раз» чтобы

проверить, слушает ли меня мой друг, но тут Пирс откашлялся и произнес:

— Меня могут счесть старомодным, но я верю, что все, включая безумие, можно излечить.

— Что? — не понял я.

— Испокон веков люди верят, что сумасшедшие одержимы дьяволом и, следовательно, в них живет зло. Все сходятся на том, что зло можно из них выгнать, прибегая к разного рода истязаниям, пыткам и прочим жестоким методам…

— Пирс, в другое время я с удовольствием поговорю о твоей работе, — сказал я, — но сейчас хотелось бы привлечь твое внимание к моим проблемам…

— Я говорю как раз о них, Меривел. Дай мне возможность высказаться, не перебивай, и сам поймешь, что у меня есть по этому поводу некоторые мысли.

Мы продолжали идти. Тусклое солнце выглянуло из-за облаков, озарив нас слабым, призрачным светом.

— Позволь мне рассказать тебе об одной женщине, которую привезли ко мне в «Уитлси» — так называется наша лечебница. Ее подобрали в канаве, она там чуть не утонула. Месяц за месяцем, год за годом скиталась она по графству, просила

милостыню, грязно при этом ругаясь, и истязала свою плоть, особенно исхлестывая колючими ветками грудь и плечи. Но самую большую радость доставляла ее больному сознанию возможность что-нибудь испачкать. Женщина носила при себе в мешочке собственные испражнения и мазала ими руки и чистую одежду тех, кто подавал ей милостыню. Так же оскверняла она надгробия и церкви. Когда мы забрали ее к себе, она впала в такую страшную ярость, что пришлось (хотя я очень не люблю этого делать) приковать ее цепями к стене. Несколько недель подряд она днем и ночью пыталась вырваться из оков, ее запястья и лодыжки превратились в сплошные раны, несмотря на то, что их забинтовывали. У тебя сложилось представление об этой женщине, Меривел?

— Да, Пирс, — ответил я.

— Хорошо. Теперь позволь мне рассказать о событиях того утра, когда я пришел к женщине и увидел, что она наконец успокоилась. Скрючившись, сидела она в углу и не шевелила ни рукой, ни ногой. Заметив меня, женщина подняла руку и указала на две большие кучи дерьма, которые она недавно из себя извергла. У меня не было желания туда смотреть, но женщина настаивала,

да и перемена в ней была столь разительна, что я повиновался. Подойдя вплотную к кучам, я увидел в зеленоватых испражнениях двух огромных белых червей — каждый несколько дюймов в длину, — эти отвратительные создания копошились, то скрываясь в дерьме, то выбираясь наружу. Я перевел взгляд на женщину — она плакала. С нее сняли цепи, увели, вымыли и уложили в чистую постель. С этого дня женщина успокоилась, она рассказала нам о доме, детстве, маленьком ребенке, оставленном на попечение сестры, и мы поняли, что она исцелилась. Глисты испортили ей кровь, и эта кровь проникла в ее мозг. Она не была порочна, Меривел, она была больна. К счастью, ее тело освободилось от источника болезни.

— Рад за нее, — сухо отозвался я.

— То же происходит и с тобой, дорогой друг. Вот что, на мой взгляд, случилось. Ты одержим одним желанием — чтобы король вновь приблизил тебя и вернул свою любовь. Лишенный любви, ты просто *помешался* от горя. Со временем это помешательство принесет печальные плоды, ты станешь похож на женщину, о которой я рассказал. Нет, ты не станешь пачкать людей экскрементами, но вот загрязнить ненавистью

сможешь. Это случится, если тебе не удастся разглядеть в своей тоске по утраченной благосклонности короля тяжелую болезнь, от которой ты *должен* излечиться, иначе — смерть.

Пирс остановился, положил костлявую руку на мое плечо. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но он продолжил речь:

— В том, что случилось сегодня утром, в резких словах твоей жены я склонен видеть одну лишь пользу для тебя, Меривел. Не прерывай меня, а выслушай! Сознание того, что король никогда тебя не любил, а только использовал, — как я и подозревал, — дает тебе надежду на исцеление. Ведь это знание может привести к целительным последствиям — обильным гнилостным испражнениям, которые хоть и омерзительны, однако изгоняют из организма еще более омерзительный источник отравления и распада. Так червь может даровать надежду.

Я пристально смотрел на Пирса. Говорить я не мог — меня вдруг захлестнула глубокая вера в справедливость его слов. Я только кивал и кивал. Как шут, который хочет, чтобы на его колпаке звенели бубенчики.

Глава шестая
Королевские капли

Прошло несколько дней, и все это время я чувствовал, как на меня нисходит благодатный покой.

Когда Пирс сказал, что должен возвращаться в «Уитлси», я поблагодарил его — с тем сентиментальным пылом, который он во мне никогда не одобрял, — за то, что он спас меня, не дав впасть в полное безумие, и от чистого сердца просил приезжать в Биднолд, как только ему позволят дела. Пирс ответил, что будет молиться за меня, и горячо советовал вернуться к научным занятиям, читать книги по медицине. «Это поможет, — сказал он, — сменить ориентиры: на место материального достатка поставить знание». У меня не хватило духу сказать, что я не чувствую в себе для этого достаточно сил. «Но я *могу* обещать тебе, Пирс, — заверил я друга, — что с моими глупыми ожиданиями королевских милостей покончено. Не думаю, что еще когда-нибудь увижу короля. Чем я займусь в будущем, пока не знаю. Возможно, живописью».

Мимоходом заметим, что мнение Пирса о моих картинах было ненамного выше, чем мнение Финна, однако он ничего не сказал, занявшись сбором «горящих углей», которые сложил в небольшую трогательную стопку. Почувствовав внезапный прилив нежности к другу, я хотел подарить ему Плясунью, но он отказался, сказав, что эта лошадь с большим норовом, и попросил, если можно, купить ему нового мула.

Один из слуг отправился за мулом и вскоре вернулся с нескладным пятнистым животным: «мул может укусить, сэр Роберт, зато он очень выносливый и хорош для долгой дороги».

Пирсу я ничего не сказал о дурных наклонностях мула, которого тут же взнуздали. Пирс сел в седло и, не прощаясь, пустил мула рысью. Когда они были у первого поворота, я увидел, что мул запрокинул голову и сделал попытку укусить Пирса за ногу. На этот гнусный поступок Пирс ответил пинком в бок, отчего мул взвился и перешел на галоп «Последнее, что я видел, глядя им вслед, было облачко пыли от копыт животного.

Я продрог и, почувствовав потребность подкрепиться, попросил Уилла принести кувшин с глинтвейном в Комнату Уединения, где собирался провести часок-другой, размышляя в

одиночестве. К моему удивлению, я застал там Селию, она разглядывала мою птичку.

— Прошу прощения за вторжение, — сказал я, поворачиваясь, чтобы уйти.

— Что это за птица? — спросила Селия.

Я ответил не сразу, боясь, что Селия, как и Пирс, станет охаивать бедную птаху.

— Мне ее подарили, — нерешительно произнес я. — Сказали, что индийский соловей.

— Какой красивый! — восхитилась Селия. — Жаль только, что не поет.

Селия повернула ко мне лицо, и я увидел, что оно еще сохраняет молодость и гармонию. И вдруг я остро, как никогда раньше, осознал, что вижу перед собой очень красивую женщину.

— Он *поет.* Нужно только небольшое поощрение. Если хочешь, я принесу гобой, наиграю несколько нот, и он в ответ выдаст мелодичную трель.

— Да, будь добр, принеси, — сказала Селия.

Должен сказать, что в последние дни я, добившись относительного душевного равновесия, проводил много времени в Музыкальном Салоне, пытаясь покорить мой инструмент, в результате чего даже научился играть маленькую песенку под названием *«Лебеди пускаются в плавание».*

Я предложил Селии бокал глинтвейна, она, к моему удивлению, не отказалась, и я решился играть для нее и соловья. Как все начинающие, поначалу я пару раз сфальшивил, но потом поправился и сыграл песенку довольно бойко. Когда я закончил, Селия — она внимательно следила за моей игрой — отвернулась в сторону и прикрыла рот ладошкой, пряча улыбку. Меня это нисколько не обидело: усилия, затраченные на несносных «*лебедей*», были мне не в тягость — скорее, развлечением, и, отложив гобой, я расхохотался. Теперь и Селия перестала сдерживать смех; какое-то время мы стояли рядом и смеялись, и тут птичка раскрыла желтый клювик и издала нежнейшую трель.

Последовавший за этим час был восхитительный. Ужасная «юбочница» не нарушала нашего уединения, мы с Селией пили глинтвейн, и в конце концов она, проявив изрядное мужество и достоинство, попросила у меня прощения за нанесенные утром оскорбления. «По правде говоря, — сказала она, — я думаю, мы живем в такое время, когда многих производят в шуты и многих обманывают. Я верила в любовь короля и, выходит, была не умнее тебя. И все же я верю, что он еще позовет меня».

— Селия, может, лучше оставить эти надежды?… — начал я.

— У меня нет выбора, — сказала она. — Надежда — или смерть. Ведь все остальное на свете я в грош не ставлю. Ничего другого для меня не существует.

— Тогда от всей души желаю, чтобы король Карл призвал тебя, а тем временем…

— А тем временем, Меривел, прими мою благодарность за гостеприимство. Большую часть времени я буду проводить в одиночестве, однако верю, что наши встречи всегда будут столь же сердечны, как эта.

— Аминь, — сказал я.

— Только не жди, Меривел, что я буду веселиться.

— Не буду.

— И еще прошу тебя, пусть Розовая Комната, куда мы с Софией перебрались, станет моим *личным* покоем. Пожалуйста, никогда не приходи туда.

— Конечно, не приду…

— Будем дожидаться лучших времен, — сказала Селия.

Она поднялась, готовясь выйти из комнаты. Ее благородное, честное поведение придало

мне смелости, и я спросил, не согласится ли она отужинать сегодня со мной. После минутного колебания она согласилась.

Меня так обрадовало ее согласие, что я тут же спустился на кухню. Веря в способности Кэттлбери, я включил в меню пирог с угрями, голубиные грудки в мадере, с черносливом, жареных куропаток и салат с фенхелем; на десерт — яичный пудинг и печеные яблоки. Что до «юбочницы», то я распорядился отнести ужин к ней в комнату.

Леди Бэтхерст примчалась в Биднолд, как сумасшедшая, — храп и ржание впряженных в карету лошадей слышались еще издалека. Она вошла в дом нарядная, как картинка, с гордо поднятой головой, гнев и похоть так и рвались из нее наружу!

Она потребовала, чтобы меня немедленно вызвали. Ей сказали, что я ужинаю с женой. Оттолкнув слуг, она величавой поступью прошествовала в столовую, где мы с Селией как раз лакомились пирогом. Леди Бэтхерст испепелила нас взглядом. На ней была восхитительная бархатная шляпка с двумя торчащими вверх фазаньими перьями — зрелище поразительное, глаз не оторвать. Я так и уставился на нее.

Ей не надо было мне говорить, насколько я ви-

новат. С приезда Пирса я ни разу ее не навестил и даже не послал записки. Теперь, должно быть, до нее дошли слухи о возвращении моей жены, и она ошибочно предположила, что именно в этом кроется причина моего пренебрежения.

Надо сказать, язык Вайолет Бэтхерст подчас (это обстоятельство я приписываю влиянию Бэтхерста с его охотничьими замашками) восхитительно вульгарен, и я не сомневался: именно на нем она будет изъясняться, если ей дать открыть рот. Желая уберечь Селию от обвинений, которые могли бы ее расстроить, я поднялся из-за стола, поклонился, принес извинения, взял пылающую гневом Вайолет за руку и властно вывел из комнаты.

Позволив ее гневу свободно изливаться, я быстренько препроводил ее в Комнату Уединения, захлопнул за нами дверь, заключил яростно бьющееся в моих руках создание в объятия и стал страстно целовать. Трепещущее, распаленное гневом тело источало особенно сладострастный аромат, за считанные секунды я сорвал с головы Вайолет шляпку с фазаньими перьями, повалил ее на ковер из Чанчжоу, расстегнул штаны и, не в силах больше сдерживать своего нетерпения, вошел в нее, — такого желания я не испытывал со

времени канувших в прошлое встреч с Рози Пьерпойнт. Каждый толчок моего тела сопровождался яростными ругательствами Вайолет, что еще больше распаляло нас обоих, и так, перемежая вопли грязными ругательствами, мы достигли краткого мига экстаза и лежали в полузабытьи, тесно прижавшись друг к другу и тяжело дыша.

Наконец мы поднялись. Вайолет больше не гневалась. Я целовал ее плечи, поклявшись памятью моей дорогой матери, что никогда в жизни не прикасался к жене, да и впредь не собираюсь. Завтра вечером приеду к ней и останусь на ночь, пообещал я. Тогда и объясню причину столь долгого отсутствия, ведь она заключается всего лишь в пребывании в Биднолде моего друга Пирса, беседы с которым касались таких серьезных материй, что я забыл даже о наслаждении.

Я надел шляпку с перьями на ее хорошенькую головку. Вайолет запечатлела нежный поцелуй на моем приплюснутом носу и послушно удалилась. Я не покидал комнату до тех пор, пока не услышал шум отъезжающей кареты. Вернувшись в столовую, я увидел, что пирог уже унесли, а его место заняли голубиные грудки. Селия сидела подчеркнуто прямо, молчала и потягивала вино.

— Прошу прощения за непредвиденное втор-

жение, — сказал я. — И, пожалуйста, окажи честь голубям.

— Спасибо, — поблагодарила Селия. — Твой повар — просто волшебник. Скажи, Меривел, у тебя есть любовницы?

— Естественно, — ответил я. — Разве я не сын своего времени?

— И эта женщина — одна из них?

— Да. Ее имя леди Бэтхерст.

— Ты любишь ее?

— Не слишком ли часто мы употребляем это слово?

— И все же?

— Нет, Селия. Я не люблю ее. А теперь скажи. нравится тебе приготовленный Кэттлбери соус с мадерой?

Он великолепен, был ее ответ. Непредвиденные упражнения с Вайолет пробудили во мне волчий аппетит, и я, позабыв о приличиях, с жадностью набросился на голубиные грудки и быстро с ними расправился. Я утирал рот перед очередной сменой блюд, когда за окном послышалось резвое цоканье копыт. Через некоторое время — перед нами как раз поставили блюдо с куропатками — дверь еще раз распахнулась, и в столовую вбежал Уилл Гейтс.

— Сэр, вам письмо, — возбужденно проговорил он. — Только что доставили из Лондона.

— Хорошо, Уилл. Только к чему такая спешка? Дай сюда письмо.

Слуга вручил мне письмо. Он так же, как и я, не спускал с него глаз. По особой печати на конверте мы оба знали, что доставленное в этот необычный вечер письмо может быть только от короля.

Это письмо сохранилось у меня.

Вот что там написано.

Меривелу,

Нашему дорогому шуту шлем. Мы приветствия.

Прошу, будь милым мальчиком и. навести Нас в *Саду Врачевания,* в *восемь часов утра завтра,* в *пятницу, десятого декабря 1664 — четвертого года Нашего правления…*

Это приказ твоего единственного господина, верного слуги Господа нашего,

короля Карла.

Я скакал всю ночь, до Ньюмаркета — на Плясунье, там и еще в Ройстоне сменил лошадей. Уилл Гейтс умолял взять его с собой — думаю, он боялся, как бы, стремясь поскорее попасть в

Лондон, я не свернул себе шею, свалившись в канаву, где и почил бы, никем не оплаканный. Но я ему отказал. «Звезды, — сказал я (впадая, сам не замечая того, в романтический тон, больше присущий моему другу Пирсу), — станут моими союзниками, да и сама тьма!»

Я предчувствовал — так оно и оказалось, — что во время путешествия дух мой будет лететь впереди тела и мне придется его обуздывать. То, что какой-нибудь батрак проснется в своей лачуге от моих песен или криков, нарушающих тишину декабрьской ночи, не слишком волновало меня, и все же я предпочитал проделать это шумное путешествие в одиночестве: пусть лучше Уилл в мое отсутствие присмотрит за «юбочницей» — с нее станется в приступе ярости сжечь мои картины, извести соловья, играть на моем гобое или сделать еще какую-нибудь пакость.

Когда я уезжал, Селия плакала. Сомнений нет, ей было больно или, точнее, очень страшно оттого, что приглашение пришло мне, а не ей. Она послала бы со мной письмо, мольбу о прощении, но не сумеет подобрать нужные слова, жалобно сказала Селия. Я же не мог мешкать — не было времени даже закончить ужин или напудрить парик. «Если я немедленно не вскочу в седло, —

сказал я Селии, — мне ни за что не попасть в Лондон к утру, а ты знаешь не хуже меня: Его Величество не станет ждать ни минуты, если я не предстану перед ним точно в назначенный срок. От своих подданных он требует пунктуальности не меньше, чем преданности. Опоздание для него равносильно предательству. Часы — это первое, что он мне показал».

И вот я пускаюсь в путь, предварительно рассовав по карманам куропаток, дабы поддержать силы во время двенадцатичасовой поездки. Подбежавший Уилл сует мне в руки фляжку с аликанте, я прикрепляю ее к седлу. «Прощайте!» — кричу я, не оглядываясь. Все мое существо рвется вперед.

В семь утра я въехал в Лондон. Из-за реки лениво выползало солнце, — за ночь я успел по нему соскучиться, — от воды поднимался туман. С баржи неслась матросская брань, на нее отвечали с лихтера, слышались крики чаек, сердитое кудахтанье голубей. Бедра мои ломило от усталости, крестец я натер до крови, однако дух мой был по-прежнему бодр.

Наконец я в Уайтхолле. Заворачиваю в гостиницу, чтобы немного передохнуть и выпить воды, — внезапно пересохло в горле. Служанка

почистила мои штаны и помыла обувь. Я вытряс парик, вымыл с мылом лицо и руки. Волнение мое так велико, что, когда я входил в Сад Врачевания, мне казалось, я вот-вот лопну, оставив после себя лишь грязную лужицу. Как и в тот позорный для меня первый визит, я чувствовал, что близкое присутствие короля изменяет состав воздуха. «Господи не дай мне задохнуться», — прошептал я короткую молитву.

Я шел меж аккуратных рядов кавказских пальм, вдыхая аромат вечнозеленых растений — лавра, розмарина, шалфея, лимонника, тимьяна, — и в самом центре сада увидел его — он сверял свои часы с солнечными, — увидел человека, которого, будь у меня в груди дыра, как та, какую я видел в Кембридже, попросил бы протянуть руку и взять мое сердце.

Я подхожу ближе, снимаю шляпу, опускаюсь на колени. У меня перехватывает дыхание, я не могу произнести ни слова и, к своему стыду, чувствую, что мои глаза наполняются слезами. «Сир…» — шепчу я.

— А, Меривел… Это ты?

Я поднимаю голову. Как не хочется, чтобы король видел мои слезы, однако он зрит не только их, а гораздо больше: с ужасающей откровен-

ностью ему открывается вся глубина страдания отверженного им человека.

— Да, это я, сир, — слышится мое бормотание.

Изящной походкой идет он туда, где я стою на коленях; мелкие камешки, которыми выложена дорожка, больно впились в мои ноги. Рукой в перчатке касается он моего подбородка.

— Ну, и каковы твои успехи в теннисе? — спрашивает он.

Я с ужасом вижу, как крупная слеза скатывается с моего подбородка прямо на перчатку короля.

— Уверен, что не ударил бы в грязь лицом, сир, — по-дурацки отвечаю я, — только в Бидноллде нет теннисного корта.

— Нет корта? Вот отчего ты так растолстел, Меривел?

— Никаких сомнений — причина в этом. И еще в моей прожорливости, с ней мне никак не совладать…

В этот момент я вдруг осознаю, что карман моего камзола заляпан жирными пятнами, — я забыл выбросить кости куропаток. Торопливо прикрываю карман перьями шляпы. Король смеется — к моей величайшей радости. Он убирает руку с моего подбородка, проводит длинными пальцами по губам, потом — по приплюснутому

носу и больно его щиплет.

— Вставай и иди за мной, Меривел, — говорят он. — Нам есть о чем потолковать.

Не в парадные покои он ведет меня, а в свою лабораторию; это место — когда я жил в Уайтхолле, — всегда восхищало меня, там живой ум короля был постоянно занят все новыми экспериментами, самым захватывающим из которых было получение ртути. В лаборатории стоял запах, похожий на тот, что всегда присутствовал в комнате Фабрициуса в Падуе: на ночном столике тот любил препарировать ящериц. Этот запах вызывал представление о нечистотах или могильном склепе, однако всегда действовал на воображение. Пока не оставил медицину, я считал, что этот запах сопутствует открытиям.

Как только мы оказываемся в лаборатории, король стаскивает с себя камзол и швыряет на пол. Химик еще не пришел, и пока мы в комнате одни. Я поднимаю камзол и держу его в руках, глядя, как король крупными шагами ходит вдоль столов — смотрит, проверяет, нюхает.

Похоже, его занимают только опыты, и я начинаю думать, что обо мне забыли. Но тух король останавливается, берет склянку с ярко-красной жидкостью и смотрит ее на свет.

— Обрати внимание» — замечает король, — это слабительное я сам составил и запатентовал.

— Превосходно, сир, — говорю я.

— Лекарство действительно превосходное, это не обычный, скучный медицинский препарат. У него есть одно дополнительное свойство — я его отнюдь не добивался, — одновременно и поучительное, и забавное. Мы назвали это лекарство Королевскими каплями. Я накапаю его тебе в вино, и посмотрим, что будет.

Я молчу. Король усаживается на скамью подле меня и внимательно вглядывается в мое лицо.

— Время изменило тебя, Меривел, — говорит он. — В тебе пропала живость.

И на это я не нахожу что ответить.

— Такой взгляд я вижу у многих моих подданных, он говорит о том, что они перестали думать и предпочитают просто *существовать.* Да выпусти ты из рук мой камзол, Меривел.

Я кладу рядом с собой камзол из плотной парчи, от него исходит тонких запах духов, такой же запах источают даже королевские перчатки и платки.

— К счастью для Англии и, возможно, для тебя, мой драгоценный шут, на нашем острове объявилось нечто, что может нас всех пробудить от сна.

— Что же это, сир?

— Чума, Меривел. Бубонная чума. В Дептфорде она уже унесла четверых. И будет распространяться дальше. Кто-то уцелеет, кто-то умрет. Но все очнутся от спячки.

— Я ничего не слышал о чуме, сир.

— Но ты ведь живешь в Биднолде. Залег в норфолкскую берлогу. Спишь и видишь сны.

Я хочу ответить, что если и вижу сны, то только о прошлом, — хочется, чтобы вернулось прежнее время, но тут король достает из кармана кружевной платок и не без нежности утирает пот с моего разгоряченного лица.

— А теперь поговорим о мисс Клеменс, твоей жене, — переходит он к главному, приведя в порядок мой внешний вид. — Для этого я и позвал тебя, Меривел. Зная твой характер — надеюсь, я в нем не ошибся, — верю, что ты, как и твой отец, принадлежишь к людям, сознательно принимающим тот статус, в каком они оказались благодаря стечению обстоятельств и — в не меньшей степени — свойствам своих натур; такие люди не станут унижаться, гоняясь за тем, чего у них быть не может. Тебе ведь достаточно дарованного Нами, так ведь?

— Да, сир.

— И хоть ты, боюсь, совсем обленился, но ведь не станешь изводить себя черной завистью, желая большего, *n'est-ce-pas?*[39]

— Нет.

— Или все-таки изводишь? Может, мечтаешь о титуле герцога?

— Нет, нет… Даю слово.

— Хорошо. Кстати, глянь вон на ту жабу, что в конусообразной банке. Поможешь ее препарировать?

Я смотрю в ту сторону, куда указывает король, и вижу ужасную, огромнейшую жабу — раздувшуюся и затвердевшую после смерти.

— Как пожелаете, сир, — отвечаю я.

— Пожелаю. А теперь слушай, Роберт. Твой брак с Селией я затеял, чтобы спрятать ее от проницательных глаз леди Каслмейн, мне было удобно являться к ней тайно и развлекаться вдали от любопытных взглядов.

— Это мне известно, сир.

— Очень хорошо. Значит, ты можешь вообразить мою досаду, проникнуться моей яростью, когда я услышал от твоей жены требование порвать с Каслмейн, не крутить романы с актри-

---

[39] Примечания: 39
Не так ли? *(фр.)*

сами из «Плейхауза» — словом, спать только с ней, не считая нашей доброй королевы. На это я, естественно, ничего ей не ответил: никто из подданных не имеет права ставить мне условия. Просто распорядился, чтобы она покинула дом в Кью, оставив там все имущество, кроме платьев и драгоценностей, и ехала к тебе, где должна оставаться до тех пор, пока ей не станет мучительно стыдно за свою глупую назойливость.

Король встает и вновь начинает ходить взад-вперед, следя за развитием химических реакций. Я вижу, как у него дергается щека, — верный знак королевского гнева. Я молчу и только киваю. Проходит минута-другая. Король берет в руки крупный пестик и, размахивая им для большей выразительности, продолжает:

— И все же, увы, Меривел, я скучаю по ней. Плотью я ужасно к ней привязался, хотя с удовольствием отшлепал бы глупую девчонку. Вот такие дела! Разум твердит: забудь о ней, но неуемный королевский инструмент крутит головкой и ищет ее повсюду. А ведь жизнь коротка, Меривел. И плотским радостям следует отдаваться с той же страстью и энергией, как и прочим делам, — помнится, когда-то ты, как никто другой, понимал это.

— Да и сейчас, сир, если…

— Тогда сделай для меня вот что. Объясни Селии всю несуразность ее требований. Напомни ей о моей любви к порядку, к общественной иерархии и о том, как отвратительны мне те, кто пытается прыгнуть выше головы. Научи ее довольствоваться тем, что у нее есть, — а это, согласись, немало, — и не надеяться на большее. Скажи ей, что если она придет ко мне исполненная смирения, то к ней все вернется — дом, слуги, деньги и время от времени ночи с королем.

Роль посредника не очень меня радует. Я хочу сказать королю, что слишком мало общаюсь с Селией, и, боюсь, нелюбовь ко мне помешает ей проникнуться королевской мудростью, но тут король берет меня за руку и говорит: «Хватит об этом. Теперь это дело в твоих руках. Пойдем, Меривел, я налью тебе стакан вина, а в вино добавлю одну-две капли моего эликсира!»

Гнев короля утих так же быстро, как и зародился. Наливая вино, он ищет нужное соотношение и сдавленно смеется. Я слежу за его руками, ловлю улыбку, столь мне дорогую. И неожиданно обретаю уверенность: в намерения короля не входит причинить мне вред — каким бы ни был состав этого стимулирующего средства.

Напиток выпиваю залпом. Король доволен и восторженно бьет себя по ляжке.

— Вот так молодец, — говорит он. — А теперь займемся жабой.

Бессмысленно, решаю я, напоминать королю Карлу, что я уже много месяцев не держал в руках скальпеля, и тем более говорить, что я сознательно заставил себя позабыть все, касающееся хирургии. Кроме того, я вижу, что ему ужасно хочется самому распороть жабу, продемонстрировав мне ловкость своих длинных пальцев, аккуратность и безупречность работы. Поэтому я молчу и наблюдаю, как извлекают жабу из банки и кладут на поднос. Его Величество закатывает рукава рубашки. Я слезку за происходящим — только и всего, и вдруг меня пронзает острое ощущение счастья, такого чувства я не испытывал с тех давних дней, когда встречался с Рози Пьерпойнт, брал уроки тенниса, играл в рамми, получил от короля в подарок столовые салфетки.

Король разрезает жабье брюшко, оттягивает и накалывает светлую кожицу.

— Сейчас мы увидим, как блестят ее кишочки, — говорит он, делая первый надрез.

Как король ни аккуратен, но внутренности вываливаются довольно беспорядочно. Годы

спустя в моих ушах вновь слышится ворчание Фабрициуса: «Смотри, Меривел, не запутайся в кишках! Ты не Лаокоон!»[40]

— Ну вот, — говорит король. — Видишь, какой цвет?

Я смотрю на внутренности жабы и вижу на нежных кольцах серебристо-зеленоватый налет. Меня охватывает непонятная рассеянность: слово «цвет» напоминает о моих попытках освоить живопись, а также об экзальтации, в какой я тогда пребывал, и, сам того не желая, я рассказываю королю о желании рисовать, схватить суть людей и природы «прежде, чем они исчезнут или изменятся, потому что, сир, все на свете — во всяком случае мне так кажется — находится в состоянии постоянного изменения, даже неодушевленные предметы — на них может по-разному падать свет, да и сам наш глаз сегодня может иначе воспринимать то, что видел вчера…»

Я болтаю без умолку, король же молчит, продолжая методично, неспешно работать, и вот уже перед нами — жабье сердце, легкие, селезенка, дыхательное горло, спермий. Я рассказываю, как нарисовал парк — картину, вызвавшую глубо-

---

[40] Примечания: 40

Лаокоон — в греческой мифологии троянский прорицатель, умер, задушенный змеями.

кое отвращение у Финна, я пытаюсь ее описать, но мой голос почему-то слышится со стороны, словно принадлежит не мне, а той одержимой, о какой рассказывал Пирс, и говорю я не столько о самой картине, сколько о том, что побудило меня заняться рисованием, о страхе, что король бросил меня, разлюбил и не нуждается в моем обществе. «Я был вашим шутом, — слышу я свое рыдание, — и пусть управление страной требует серьезности, но не говорите мне, что королю не нужна разрядка в виде смеха!»

Я снова рыдаю. Слезы струятся по моему лицу, капая на жабу, на поднос. Внезапно, почувствовав невыносимую усталость, я падаю.

Перед моими глазами двигаются руки короля, он откладывает инструменты. Потом берет салфетку, вытирает с пальцев кровь и ошметки ткани. Тут я перестаю его видеть. Не знаю, что случилось, но я продолжаю слышать свой голос, я думаю, что говорю с королем, однако его уже нет рядом, он где-то в темном углу лаборатории, ходит, как обычно, взад-вперед — беспокойный, высокий, не знающий ни минуты покоя… но его нет и там. Я здесь один. Он вышел на солнечный свет, а я лежу в темноте под дубовой скамьей. Я умираю.

Меня будит старик в балахоне аптекаря. Горло мое горит, оно пересохло. Старик это знает и подносит к моим губам мензурку с водой. Вода прохладная, вкусная.

Мне приносят еду. Я сижу за маленьким столиком. Съедаю немного хлеба. Слуга в ливрее приносит письмо для меня.

Я в Саду Врачевания. Надо мной яркое небо. Я распечатываю письмо.

> *Бедняга Меривел* (говорится в письме), я *не предупредил тебя об одной вещи: Королевские капли заставляют людей выбалтывать секреты. Однако ты не открыл мне ничего нового. Я и так все прочитал на твоем лице. Будь осторожен: любовь не должна перерождаться в болезнь. Желаю удачи в деле с Селией. Я даю ей два месяца на то, чтобы она раскаялась в том, что Нас расстроила. После этого она, если достигнет нужного смирения, мажет вернуться в Кью, и там Мы навестим ее.*

Подписал

король Карл.

Я смотрю в сторону солнечных часов. Мне хочется сказать королю: позвольте навестить *вас* еще раз. Позвольте прийти теперь, когда мне все известно о Королевских каплях. Но короля там уже нет.

Глава седьмая
Вода

В Уайтхолле я не задержался.

Хотя многие придворные, в чьих покоях я когда-то играл в карты, фанты или музицировал, тепло меня встретили, я не стремился к их обществу. Голова моя раскалывалась от боли, а мысли больше походили на бред сумасшедшего. Я хотел только одного — поскорее лечь в постель, пусть даже не спать, но хотя бы дать отдохнуть воспаленному мозгу. Так случилось, что я расположился в той самой комнате, где моя нерадивость послужила к выздоровлению Лу-Лу, надел чистый ночной колпак, лег на мягкие подушки и стал слушать величественный оркестр реки.

Обеденное время застало меня в таверне «Нога», я выпил там изрядное количество пива, стремясь залить пламя в желудке, после чего меня сморил сон, и я проспал часок на жесткой скамье. Проснулся я голодным, и мне тотчас принесли весьма необычный обед — пирог с начинкой из скворцов и свиную ногу с маринованными маслинами. «Темное мясо скворцов с его пикантным вкусом

исцеляет от хандры», — сказала прислуживавшая мне хорошенькая служанка. И она оказалась права: после обеда мысли мои прояснились. Возможно, помогли скворцы, а может, притупилось действие Королевских капель.

Когда я вышел из таверны, улицу заливал дивный свет зимнего солнца. Надо сказать, что я очень чуток к переменам погоды. Когда в Норфолке дуют ветры, я иногда чувствую, что моя психика дает сбой. Но тут пирог со скворцами и солнечный день вернули мне хорошее настроение. Я решил пойти к Рози Пьерпойнт. Скудного жалования мужа-паромщика не хватало, и потому Рози в 1661 году стала брать стирку на дом, там я и надеялся ее застать среди утюгов для гофрировки, баков, где крахмалилось белье, у ее огромной, топившейся углем печи. Может, уговорю ее позволить пощупать ее «штучку», если же откажет, то хотя бы полюбуюсь закатом из окна, а ее попрошу постирать мою рубашку и оттереть жирные пятна на карманах.

Рози я застал дома, она трудилась не покладая рук. В прачечной стоял такой сильный жар, что Рози работала в одном корсаже, ее пухлые плечи увлажнились и порозовели, — розовый цвет тела был так красив, что мне страстно захотелось

перенести его на холст, нисколько не исказив. Я подошел к Рози, она поставила утюг на плиту, и мы радостно обнялись; все это время перед моими глазами стоял херувим — я видел его на очень известной картине, — он был такой же розовый, однако интересно, где ему в его ангельском обличье удалось так распариться?

То, что последовало, было так сладостно, так восхитительно, что напомнило мне одну истину: на свете ничто не сравнится со встречей разлученных любовников. К легкости общения, порожденной «актом забвения», добавляется бальзам из приятных воспоминаний. Сознание отторгает существование смерти, тело же приводит в восторг возвращение в прошлое. Думаю, не будет преувеличением сказать, что такие встречи являются и «актами забвения» и «актами воспоминаний». Я оставался у Рози до захода солнца. Мы лежали на скомканной куче из несвежих простыней, рубашек, нижних юбок, кружевных воротничков, скатертей и на этом грязном белье творили праздник; думаю, именно о таком празднике плоти я буду грезить в старости, лежа один в чистой постели. Наконец мы встали. Рози зажгла две свечи, при их свете она будет гладить, пока не вернется домой Пьерпойнт и они не сядут за

ужин из рыбы, устриц, хлеба и пива.

Я же проделал путь до причала Гайд-Ворф, там нанял лодку, попросив гребца отвезти меня в Кью.

— До Кью путь не близкий, — предупредил лодочник. — Когда приплывем, будет глубокая ночь, сэр.

— Знаю, — ответил я, — но у меня был тяжелый день, да и прошлая ночь прошла не лучше, и теперь мне хочется вдохнуть свежего речного воздуха.

— Но, сэр, в темноте плыть трудно — можно сесть на мель, врезаться в лихтер или баржу.

— Луна в последней четверти, — возразил я, — и облаков нет. Видимость вполне приличная.

— Мы промерзнем до костей, пока доберемся.

Было ясно, что Лису (так я назвал про себя лодочника) не хочется пускаться в путь, но, зная, что в наше время все решают деньги, я пообещал удвоить плату и заплатить ему не два, а четыре шиллинга. Я удобно устроился под тентом, и с вечерним приливом мы отплыли.

Почему я так стремился в Кью? К этому времени действие капель полностью выветрилось, ко мне вновь вернулась способность логически мыслить. Я понимал, что должен обдумать сло-

ва короля, касавшиеся Селии. По причинам, не вполне мне понятным, у меня появлялось ощущение дискомфорта при одной только мысли, что предстоит передать их Селии. Впервые в жизни мне не хотелось повиноваться королю. Почему? Этого я не понимал. Утренние события не только не лишили меня надежды на королевскую любовь, а напротив, показали, что король все еще сохранил ко мне теплые чувства. Но то, что он говорил о Селии, символически помахивая при этом пестиком, доказывало, что других чувств к моей жене, кроме физического влечения, у него нет и что его неугомонной натуре она скоро надоест. Я плыл в Кью надеясь увидеть дом (хоть и знал, что сейчас он погружен во мрак), который он ей подарил. Думаю, мне хотелось измерить силу его любви и, исходя из увиденного, решить, что сказать жене по возвращении. Я готов признать за нелепость попытку определить глубину любви одного человека к другому по беглому взгляду из лодки на дом при свете луны. Однако никакого другого объяснения этому путешествию, которого настойчиво требовало мое сердце, у меня нет. Любит ли король Селию? Я полагал, что лодка плавно несет меня в обществе Лиса к ответу на этот вопрос; легкий ветерок трепал

мой кружевной воротничок, приятно освежал разгоряченное лицо.

Согласившись на мои условия, Лис работал на совесть — греб размашисто и умело. Шею он обмотал какой-то рванью, чтобы предохранить тощее горло от вечерней сырости, и, не переставая махать веслами, провез меня мимо Темпла с его сводчатыми воротами, мимо густо застроенной территории Уайтхолла — там светились почти все окна, и до меня даже донеслось мимолетное звучание гобоя.

В районе Уайтхолла и дальше на реке (несмотря на поздний час) было довольно оживленно — множество лодчонок крутилось на воде, заставляя волны биться о пристань, слышались грубые окрики барочников «посторонись!» — все это напомнило мне ситуацию на плацу, когда сержант на строевой подготовке надрывает глотку, стараясь заставить встать в шеренгу группу неорганизованных хлыщей.

После Вестминстера Темза поворачивает на юг, там река становится спокойнее, по ее левую сторону тянется темный массив Воксхолского леса, куда родители любили брать меня — в муаровом костюмчике, ну сущий ангелочек! — на пикники и прогулки. «Если не будешь шуметь,

Роберт, — помнится, шептал отец, — нам повезет, и мы увидим барсуков!» Однако, боюсь, я никогда не вел себя достаточно тихо, потому что первого барсука в своей жизни я увидел в прозекторской Кембриджского университета и сразу обратил внимание на то, что приводило в умиление моего отца, — клоунскую раскраску его мордочки.

— А скажи мне, — спросил я Лиса, — водятся в этих лесах барсуки?

— Водятся, сэр, — ответил Лие. — Говорят, их можно увидеть, если вести себя тихо.

На это я ничего не ответил, но, пока мы подплывали к Челси, все время думал, почему мне так нравится шум. Даже нестройные звуки (мое пение, первые провальные исполнения песни «Лебеди пускаются в плавание») и шум, лишенный смысла (безумные рассуждения старого Бэтхерста), пробуждают в моем сердце радость, и хотя в бытность мою студентом-медиком я знал, что тишина необходима для плодотворных занятий, но, признаюсь, в такие дни страдал. Хорошо бы меня провожала на тот свет труппа танцовщиц Морриса.

Полная луна уже взошла, и при ее свете мы миновали излучину у Чисуик-Медоуз. Мы уже подплывали к Кью, когда я спросил у старого

речного волка: «Говорят, у короля в Кью есть любовница и вы, перевозчики, иногда видите, как он тайком пробирается на свидание к ней. Это так?»

Лис сплюнул за борт.

— Сам видел его однажды, — сказал он.

— Ты уверен, что видел именно короля?

— Еще бы!

— Как можно ручаться?

Лис сплюнул снова. Возможно, он был пуританином или приверженцем прежней власти.

— Дело было ранним утром, — продолжал он, — до рассвета, тогда движенья на реке еще мало. Я вез вишни из Суррея в Блэкфрайерз на продажу. Было темновато. Четыре часа утра. Вижу навстречу движется ялик, а в нем человек очень большого роста — плащ он сбросил, остался в красивом, расшитом золотом камзоле, и тогда я сказал себе вслух: «В нашем королевстве есть только один такой человек, только один!»

— Ты выждал, проследил за ним? Заметил, куда он причалил?

— Более того, сэр. Я продал ему вишни.

— Да ну? Значит, ты видел его лицо близко и можешь поручиться, что это был он?

— И не сомневайтесь. Дал мне пенни за ягоды,

монетку вытащил из маленького кошелька, а тот весь в драгоценных камнях.

— Так ты видел, куда он пристал?

— Ага.

— Можешь показать это место?

— Только не в такой темноте, сэр.

Я откашлялся.

— Милейший, — сказал я. — Луна светит вовсю. Совсем не темно — как я и предсказывал.

— Темновато, сэр.

— И все же постарайся, пожалуйста, вспомнить то место и покажи мне.

Лодка продолжала скользить по воде. К этому времени мое лицо, пылавшее много часов подряд, охладилось, а руки, те даже немного окоченели. Однако внутри все клокотало от тревоги и волнения. В любой момент я мог увидеть приют любви короля и Селии. Потом, когда мы повернули и пошли против ветра и течения, я решился…

Я велел Лису подвести лодку к северному берегу и замедлить ход. Хотел даже сам сесть за весла, чтобы лодочник целиком сосредоточился на поисках дома, но он не доверил мне (и правильно сделал) свое основное средство к существованию, объяснив это тем, что может с закрытыми глазами провести лодку отсюда до Спителфилдса, то

есть, по сути, сам же опроверг свою выдумку о мелях и столкновениях с лихтерами, а ведь с ее помощью он выторговал лишних два шиллинга. Я слишком от него зависел и потому не мог показать, насколько рассержен. Мы плыли молча, один раз сменили направление, вернулись назад на тридцать-сорок ярдов, потом вновь двинулись вперед, но вот Лис разглядел в слабом мерцающем свете небольшую пристань со ступенями, поднимавшимися из воды.

— Вот оно, — сказал он. — Вот это место.

— Но где же дом? — спросил я.

Лис пожал плечами.

— Это здесь, — повторил он.

Я велел ему пришвартоваться. Из лодки я выбрался с большим трудом (стоило мне подняться, она заплясала подо мной, как бешеная) и пошел по деревянному настилу. За изящными железными воротами начиналась узкая тропа, проложенная меж зарослей, которые я — на первый взгляд — принял за орешник и боярышник. Неожиданно луна скрылась за тучей, и я оказался в полной темноте. Я стоял и ждал возвращения луны. Хотя за спиной слышался плеск воды, на какой-то момент меня охватил страх, что я сбился с пути.

Осторожно я двинулся дальше — на этот раз меня окружала черная ночь — хоть глаз выколи, неизвестный зверь шуршал в сухих листьях, ночная птица неуверенно прокричала во тьме.

И тут я услышал музыку.

Вскоре луна вышла из-за туч, и тогда я увидел, что стою в крошечном цветнике, прямо перед домом. Дом не был большим или величественным. Судя по величине окон, даже парадные комнаты в нем были весьма скромных размеров. Мне вдруг пришло в голову, что, будь у меня дочь, я подарил бы ей именно такой дом. Однако я не мог долго размышлять о размерах дома, потому что увидел, что в одной комнате, из которой неслись звуки клавесина и флейты, собралось много народу. Горели лампы и канделябры. На диванчике у окна мужчина обнимал шейку хорошенькой девчонки. Похоже, музыкальный ужин был в самом разгаре. Пока я стоял под окном, потирая ладони, чтобы согреться, неожиданно раздался громкий взрыв смеха.

Всю дорогу до Лэмбета (где я решил заночевать в гостинице «Старый Дом») я изводил Лиса, уверяя его, что он ошибся. «Или ты видел не короля, или он пришвартовался в другом месте», — говорил я. Но хищное лицо лодочника выражало

уверенность в своей правоте. Он ясно помнил, как легко и грациозно король привязал ялик и выскочил из него («можно было подумать, что он из моряков, сэр»), и уверял, что другой такой пристани нет в округе на расстоянии полумили или даже больше.

Я хорошо пообедал в «Старом Доме», разговорившись с приятным господином из Морского министерства об искусстве ваяния из мрамора. Мой собеседник утверждал, что терпение — главное, чем должен обладать скульптор: ведь кусок мрамора может быть не меньше двуспальной кровати, мастер же со своей киянкой может обработать в день не больше четырех дюймов.

Позже, размышляя о подобном упорстве, подобной настойчивости, я задумался, смогу ли вложить столько терпения в свои занятия живописью, и тут вдруг вспомнил нечто, отчего у меня ёкнуло сердце, — обещание, данное мною Вайолет Вэтхерст провести эту ночь в ее постели.

Ночью мне снилось, что кто-то утонул. Я был в Грэнчестер-Медоуз в компании Пирса и других студентов-медиков, мы сидели на берегу

заросшего водорослями Кема[41] и вдруг увидели плывущий по реке труп. Всех нас охватило желание выловить его и использовать для анатомических занятий. Сняв камзолы, мы легли плашмя на землю и, вытянув руки, пытались ухватить распухшие конечности. И тут я осознал, что утопленница — Селия. Ее волосы запутались в водорослях, рот посинел и раскрыт, как у рыбы. Я хочу крикнуть товарищам, чтоб они ее отпустили, и тут просыпаюсь. Меня трясло, болело горло, из носу текло, и еще — опять мучила жажда.

Я зажег свечу и неуверенно, то и дело на что-нибудь натыкаясь в незнакомой комнате, добрел до умывальника, долго и жадно пил воду, потом вернулся в постель и постарался согреться. Однако сон об утонувшей Селии не шел из головы, он так испугал меня, что я боялся заснуть и снова его увидеть, — у снов есть пугающая особенность повторяться.

«Бог — создатель всех наших сновидений, — как-то объявил Пирс. — Он посылает в нагл спящий мозг то, чем мы пренебрегаем в обычной жизни». «Что за ерунда, Пирс! — воскликнул я тогда. — Почти все мои сны о еде. Ночи мои

---

[41] Примечания: 41
Река, протекающая через университетский городок Кембридж.

полны сладостными фрикасе из крольчатины, паштетами из оленины, шоколадными пирожными — всем, чем я не пренебрегаю и наяву». Если я правильно помню, Пирс тогда с кислой миной заметил, что Бог сознательно воссоздает во сне картины моего чревоугодия, но, помнится, я отмахнулся от его слов. Но на этот раз казалось вполне правдоподобным, что сон об утопленнице мне «послали» специально. Вид дома Селии, заполненного людьми, ее жилища, из которого лилась музыка (как будто бедняжка действительно умерла, и память о ней канула в воду), поверг меня в такое смущение и уныние, что я «пренебрег» своим долгом и отложил на неопределенный срок раздумья о том, что все-таки скажу ей, сам же целиком отдался беседе о скульпторах, работающих с мрамором…

Так я лежал, дрожал в лихорадке — болезнь внезапно поразила меня, — и пытался безотносительно к собственной особе проанализировать ситуацию как можно отстраненнее и точнее, как если бы Селия была моей пациенткой, а я был бы не я, а кто-то вроде мудрого Фабрициуса, некий великий, не способный ошибаться врач.

К рассвету, когда я наконец позволил своему раскисшему телу погрузиться на часок в благо-

датный сон, у меня была выработана следующая программа действий.

Вернувшись, я скажу Селии, что король, похоже, забыл ее; ходят слухи, что в Кью поселилась новая фаворитка; в разговоре со мной король выражал крайнее недовольство назойливыми требованиями Селии и якобы дал понять, что никогда не позовет ее снова. Я дам ей совет — как в свое время дал мне Пирс — перестать надеяться. «Если ты будешь надеяться, Селия, — скажу я ей, — ты сойдешь с ума, и я не берусь предсказать, каков будет твой конец. Не исключено, такой же, что и у бедняжки Офелии, утонувшей в реке». Я скажу ей, что наконец понял, из какого элемента состоит король. «Из ртути, — скажу я. — Из той самой ртути, какую он, часами торча в лаборатории, тщетно пытается выделить из киновари, однако этот элемент слишком неуловим, непоседлив, его невозможно удержать. Что толку мужчине или женщине любить ртуть?»

Но одного я не знал заранее: я не представлял, как отыскать лекарство, способное исцелить Селию от боли. Я чувствовал, что эта задача мне не по силам. Я не был Фабрициусом. Не был даже Пирсом. Я не мудрый человек.

Лихорадка, возникшая, вне всякого сомнения,

из-за резких перепадов жары и холода, которым за прошедшие ночь и день подверглось не только мое тело, но и мозг, заставила меня целую неделю проваляться в «Старом Доме».

Когда жар усилился, я нащупал в паху и на шее слегка раздувшиеся лимфатические узлы, и вот тогда меня охватил настоящий ужас. Надвигалась эпидемия чумы, и лучшего места для старта, чем зловонные болота Лэмбета, ей не найти. Больше пятидесяти часов я думал, что умираю. Я плакал и кричал. Зная, что мои молитвы не будут услышаны, умолял бедную, погибшую в огне мать заступиться за меня перед Богом. «Милые родители, — слышал я в бреду свои слова, — пожалуйста, подарите Богу шляпу. Ему нравятся пышные оперенья. Подарите ему нарядную шляпу в обмен на мою жизнь!» Я говорил без умолку и громко рыдал. Трусость моя была безгранична, как воображаемый колодец от Норфолка до Чанчжоу.

На третий день жар стал ослабевать, узлы тоже уменьшились. Бедной служанке, принесшей бульон, я объявил, что воскрес; это заявление она расценила как страшное богохульство и испуганно перекрестилась.

Все еще слабый после болезни, я сел в дилижанс

и доехал до Ньюмаркета, где и заночевал. Утром следующего дня я снова воссоединился с Плясуньей — кобыла радостно приветствовала меня нежным ржанием. Я безумно люблю животных. Мне нравятся всякие — и мелкие, изящные зверьки, и крупные звери. Они не умеют хитрить. А ведь в нашем бойком королевстве каждый, будь то мужчина, женщина или ребенок, непременно плетет интриги. Животные же не прибегают к уловкам. Подозреваю, что король так привязан к своим собакам в основном по той же причине.

Плясунья мчалась домой галопом, словно ее впрягли в боевую колесницу, — на обратном пути она явно превосходила меня энергией. Хотя я мертвой хваткой вцепился в поводья и судорожно сжимал коленями бока лошади, все же близ Фликстона я вылетел из седла. Тяжело дыша, я валялся в канаве и тут увидел неподалеку дряхлую старуху — задрав юбки из мешковины, она преспокойно мочилась на ежевику. Это меня позабавило, и я, если б имел силы говорить, пожелал бы ей доброго утра.

Наконец, с трудом поднявшись на ноги, я кое-как вскарабкался на Плясунью, которая тем временем пощипывала заиндевелую траву. Тщетно старался я сдержать ее неукротимый порыв к

дому, и мы примчались в Биднолд оба взмыленные, в самом что ни есть непотребном виде.

Одежда моя была ужасно грязной и отвратительно воняла, и потому я рассчитывал сначала провести несколько часов в горячей воде, как следует отмокнуть, надеть чистую одежду, а уж потом поговорить с Селией. Я кликнул Уилла (иногда своей беспрекословной преданностью он напоминает маленького шустрого зверька) и вскоре уже блаженствовал, сидя в деревянном чане и рассматривая мотыльков на животе. Уилл то и дело обдавал меня горячей водой, а я рассказывал ему, как лежал в «Старом Доме», как Смерть вошла в комнату и коснулась меня ледяной рукой, отчего я распустил нюни, как ребенок.

«Если чума придет в Норфолк, я постараюсь держаться мужественно, однако, боюсь, это будет лицемерием отчаявшегося человека, а не истинной храбростью, при которой дух и разум невозмутимы», — сказал я Уиллу.

Уилл покачал головой, как бы не соглашаясь, он, несомненно, хотел польстить мне, ошибочно веря, что, когда придет время, я поведу себя как благородный рыцарь. Однако он еще и слова не успел сказать, как снизу послышались чудные звуки виолы да гамба, они неслись, похоже, из

Музыкального Салона.

Я резко сел, вызвав тем самым небольшую волну, немного воды выплеснулось через борт чана.

— Уилл, кто это играет? — спросил я.

— А-а, это… Я как раз собирался вам сказать, сэр Роберт, — приехал ваш тесть.

— Сэр Джошуа?

— Да, сэр.

— Сэр Джошуа приехал в Биднолд? Но зачем, Уилл?

— Точно не знаю, сэр, — возможно, чтобы забрать вашу жену домой.

— Забрать *домой?*

— Да.

— Ты что-нибудь об этом слышал?

— Да, сэр. То, что они уедут, как только вы вернетесь.

Музыка не прекращалась. Я стал энергично мылить тело. Как бы со стороны я слышал свой голос, раздраженно говоривший Уиллу, что не позволю сэру Джошуа увезти мою жену: король приказал ей оставаться здесь, и, кроме того, мне надо многое с ней обсудить.

Уилл в изумлении вылупился на меня — он никак не мог уразуметь, с чего это я с таким пылом отнесся к тому, что обычно ничуть меня не

интересовало.

Глава восьмая
Подарок короля

Чисто вымытый, надушенный, в свежем опрятном парике, скрывавшем природную щетину, в шелковом синем камзоле я сошел вниз. Звуки виолы смолкли, и я, как всегда, когда удавалось слышать хорошую музыку, понял, до какой степени она просветляет мое сознание: музыка словно пронзала темную массу мозга вспышкой, блеском, подобным тому, что я наблюдал на внутренностях жабы, которую препарировал король.

Через мгновение сэр Джошуа возобновил игру на виоле, на этот раз зазвучала песня; я слышал ее когда-то в Кембридже и помнил название *«Я легла отдохнуть в лесу, под вязами»* — прелестная мелодия, вот только текст немного подкачал: не так много слов рифмуется с «вязом». Из коридора я услышал, как очень высокий и красивый голос запел. Голос — сопрано исключительной чистоты — принадлежал Селии, раньше я никогда не слышал, чтобы она пела. От восхищения у меня по спине пробежал холодок. Мне стало ясно, что не белоснежная кожа, не тонкие шелковистые

волосы, не миниатюрный ротик, не упругая грудь, а именно ее *голос* поразил и околдовал короля. По сравнению с голосом все остальное отступало на второй план — хорошенькая девушка, каких много, — ничто в ней не говорило о том, что внутри таится такой чудный дар. Я сел на обитый декоративной тканью стул и погрузился в размышления. Возможно, в каждом из нас есть скрытый талант, — правда, относительно моего — ясности пока не было. Талант Пирса, несмотря на едкую критику мира и многих присущих человечеству вещей, заключался в его доброте. Невольно напрашивалось предположение, что талант Вайолет — гневливость, я не знаю другого такого человека, в ком гнев проявлялся бы столь восхитительно. Ей идет гневаться. А что за талант у короля? Что ж, их у него тысячи, и только время покажет, нет ли у него еще какого-нибудь тайного таланта, который он до поры до времени держит в секрете от всех нас.

Пение не прекращалось. «Селия, — хотелось сказать, — ну, почему никто не сказал мне, как поразительно ты поешь?» Перед глазами мгновенно возникла сладостная сцена: я играю на гобое, с восторгом аккомпанируя поющей жене. Жизнь, в основе который лежал бы простой ду-

эт, могла быть совсем другой, упорядоченной, ясной. Сейчас же все иначе. Я знал: стоит мне появиться в Музыкальном Салоне, как Селия тут же перестанет петь. Я не имел никакого отношения к ее музыке, сегодня вечером она уедет в родительский дом, а в Биднолде воцарится тишина, ее лишь изредка будут нарушать трели моего индийского соловья. Вынув из кармана изумрудного цвета носовой платок, я очистил все еще заложенный нос. В очередной раз возникло ощущение, что меня изгоняют оттуда, где мне очень хочется находиться и вносить свой вклад, каким бы ничтожным он ни был. Убирая платок, я сказал себе, что это мое наблюдение весьма печально.

Я встал. Как только Селия узнает о моем возвращении, она сразу же захочет, чтобы я прояснил ее положение. Приближалась минута, когда мне придется сказать ей то, что я решил сказать, и тем самым убить в ее сердце всякую надежду, этот тлеющий огонек, всю опасность которого открыл мне Пирс. Но, подходя к Музыкальному Салону, я уже ни в чем не был уверен, я просто не мог произнести придуманную речь. Мне было ясно, как день, что после этой речи равнодушие ко мне Селии перерастет в ненависть. Подобно

Клеопатре, наказывавшей гонцов с плохими известиями, Селия могла уничтожить меня презрением и ненавистью. И до того бывший для нее пустым местом, я просто исчезну из ее жизни. Она навсегда покинет мой дом, и красивая сказка, сочиненная королем, закончится раньше назначенного срока. И, кроме того… ах, опасные мысли!.. Я не хотел отказываться от удовольствия слышать волшебный голос Селии. Вот такие дела. Как бы ни сказалось это на психике Селии и моей тоже, я твердо решил удерживать ее под крышей моего дома — пусть только те два месяца, что назначил король.

Как я и думал, стоило мне появиться на пороге салона, музыка тотчас оборвалась. Селия устремила на меня взор, в нем были удивление и надежда одновременно, а сэр Джошуа отложил инструмент и сердечно протянул мне руку. Я отвесил поклоны обоим. «Как видите, я вернулся», — объявил я неизвестно зачем и сразу же стал расхваливать их музыкальные таланты. Селию, естественно, совершенно не интересовало мое мнение о ее пении, она нетерпеливо требовала, чтобы я поскорее передал ей вести из Лондона. Несмотря на ее нетерпение и беспокойство, я, сохраняя невозмутимость, предложил ей руку.

— Если ты окажешь мне честь и совершишь круг по саду в моем обществе, я расскажу тебе все, что знаю.

Селия бросила на отца страдальческий взгляд, но тот кивнул, давая разрешение на прогулку, и она, без дальнейших церемоний, положила свою белую руку на мой рукав; мы вышли в коридор, и я громко потребовал, чтобы «юбочница» мигом принесла плащ для хозяйки.

День был холодный, солнце стояло довольно низко. Наши с Сепией фигуры отбрасывали длинные тени — даже я казался гораздо выше — и если б кто-нибудь случайно увидел их на плоской каменной дорожке, то решил бы, что мы очень элегантная пара.

Некоторое время я молчал, обдумывая, что буду говорить, а потом выложил Селии следующую вымышленную историю — чистую импровизацию, какой я, впрочем, остался доволен. «В отношении тебя, — сказал я, — король не давал никаких обещаний. Он только просит, чтобы ты не покидала Биднолд, пока не усвоишь того, что он определил как „осознание изменчивой природы всего сущего"».

Селия недоверчиво уставилась на меня. «„Изменчивой природы сущего?" А почему он хочет,

чтобы я это усвоила?»

— Не знаю, Селия, — ответил я. — Его Величество сказал только, что хотел бы этого, но он понимает: тут требуется время: ведь чем человек моложе, тем труднее ему постичь эту мысль.

— И все же, — возразила Селия, — разве он, сурово отвергнув меня, не знает, что мне и так был преподан жестокий урок?

— Все это верно, но король гораздо мудрее меня или тебя, Селия, он настолько мудр, что понимает: хотя несчастья и потери учат, но по-настоящему эта наука усваивается со временем, когда у нас появляется возможность спокойно размышлять.

— Но сколько должно длиться это «спокойное размышление»? Я что, так и состарюсь в «спокойном размышлении», видя, как увядает моя красота и все те прелести, что раньше доставляли ему наслаждение?

— Нет. Уверен, он этого не хочет.

— Тогда сколько это будет длиться? Недели? Месяцы?

— Он не сказал, Селия.

— Почему? *Почему* он не захотел сказать?

— Потому что не мог. Он целиком доверил это дело тебе и мне.

— Тебе?

— Да. Именно я должен буду ему сказать, повторив его же слова: она обрела мудрость и освободилась от иллюзий.

— Вот как! — Селия резким движением сняла свою руку с моего локтя. — *Тебе* предназначено быть судьей? Король поручает своему шуту *разбираться* в вопросах моего просвещения. Да простит он меня, мне это кажется несправедливым.

— Конечно. Вне всякого сомнения. И все же в этом есть своего рода здравый смысл. Ведь я совсем не в восторге от своей роли, ибо считаю себя недостойным ее. Поэтому в моих интересах, Селия, чтобы ты как можно скорее пустилась в свое путешествие — постигать мудрость, и тогда я мог бы вернуться к своей беспечной жизни, ты — в свой дом в Кью, а король — в твою постель.

— Но как мне достичь мудрости? С чем отправиться в это «путешествие»?

— Не знаю. Разве что тебе поможет твой бесценный дар — пение.

— Пение? С его помощью я стану мудрой?

— Да.

— Каким образом?

— Не знаю. Могу только догадываться, что именно этот путь — твой. Пытаясь рисовать, я

стал кое-что понимать о себе и о мире, поэтому, осмелюсь предположить, если петь, скажем, о любви или измене, или еще о чем-то, узнаешь не только об этих чувствах, но также и о бесконечных способах людей обманываться, уловках, к которым прибегают, чтобы распоряжаться судьбой другого человека. Так начнется твое «путешествие»…

Не похоже, чтобы Селию обрадовал мой совет. Она плотнее закуталась в плащ, покачала головой, на ее глазах выступили слезы.

— Я сделала бы все, что он попросит, — сказала она, — при условии, что понимаю, чего он хочет. Но как можно повиноваться, если не понимаешь просьбы? Как?

— Не знаю, — повторил я все те же слова в третий или четвертый раз. — Однако не сомневаюсь, что мудрость придет к тебе через музыку. И тут я помогу, чем смогу.

В тот вечер Селия и «юбочница» не соизволили покинуть Розовую Комнату, и я обедал в обществе сэра Джошуа Клеменса, — он по-прежнему держался со мной чрезвычайно любезно, я же всегда испытывал к нему бесконечное уважение. К моему величайшему удовольствию, он сказал, что убранство Биднолда его позабавило, и хотя

такую обстановку не назовешь успокаивающей и ласкающей глаз, все говорит о том, что «в век рабской имитации и поголовного обезьянничания я выделяюсь из толпы дерзкой оригинальностью ума».

Мы отдавали должное великолепной жареной свинине, умело приготовленной Кэттлбери, когда сэр Джошуа заговорил о дочери, сообщив мне (как будто я раньше этого не знал), что ей невозможно любить кого-то или что-то на земле, кроме короля, которому она вручила свое сердце. «Селия преданная и послушная дочь, — сказал он, — но если король потребует, чтобы она ради любви отказалась от нас с матерью, не сомневаюсь, она сделает это».

— Сэр Джошуа… — начал было я.

— Я не преувеличиваю, Меривел, — продолжал он. — Ее чувство — наваждение, оно как бездонный колодец, куда при необходимости могут быть сброшены даже очень дорогие люди или вещи.

— А если король не позовет ее, что тогда станет с Селией?

— Он *должен* ее позвать. Селия пересказала мне ваш разговор. Выходит, ситуация теперь в твоих руках, Меривел. Если я правильно понимаю, она

была слишком назойлива с королем. Укажи ей на эту ошибку. Цинизм — единственное средство защиты в наше время, и даже моей нежной дочери надо научиться пользоваться этой броней. Ей следует понять: того, на что она надеется, никогда не будет.

— А на что она надеется?

— Этого я не могу сказать, Меривел. Мне слишком стыдно.

Больше я не приставал к сэру Джошуа по этому поводу, и мы некоторое время молча ели свинину; мне попался хрящ — небрежность Кэттлбери — и я его выплюнул. Потом сэр Джошуа заговорил снова:

— Ты совершенно прав, считая, что Селия может обрести утешение — и, возможно, мудрость — через пение. Отказавшись от большинства вещей, она сохранила любовь к песне — во многом из-за того, что именно ее голос впервые пленил сердце короля.

— Я знаю… — заговорил я, — то есть не то что знаю, но догадываюсь…

— Ясно. Так что обязательно поощряй ее занятия пением. Осмелюсь предположить, что ты играешь на каком-нибудь инструменте.

— На гобое, сэр Джошуа, но…

— Прекрасно. Она обожает гобой.

— Но разве вы не задержитесь в Биднолде? Разве не погостите у нас? Тогда вы могли бы аккомпанировать Селии на виоле?

— Очень любезно с твоей стороны, но, к сожалению, это невозможно: жена нездорова и нуждается в моей помощи. Я бы с радостью увез Селию домой, но, как я понял, король хочет, чтобы она жила здесь.

— Именно такой наказ я получил от него.

— Значит, ей придется остаться. Скоро Рождество. Прошу тебя, Меривел, сделай все, чтобы до весны она вернулась в Кью.

Ложась вечером в мягкую постель, по которой за неделю успел соскучиться, я подумал, что за свою ложь буду наказан кошмарами. Отнюдь. Помню, что видел исключительно приятный сон о Мег Стори. Во сне я рисовал ее портрет. Она позировала в платье из мешковины, вроде того, что было на старухе, задравшей юбку и мочившейся в канаве, но само лицо было прекрасно и сияло радостью.

Вот я перед вами — в малиновом камзоле, такой, каким описывал себя в начале рассказа. Теперь вы со мной хорошо знакомы, разве не так? И сами видите, какие ловушки ставит мне

жизнь. Как я и предсказывал, события только разворачиваются, мы находимся где-то в середине истории, и кто может сказать — во всяком случае, не вы и не я, — чем она закончится? Приведут меня в восторг или разочаруют те сюрпризы, что готовит мне жизнь?

С появлением в доме Селии я изо всех сил стараюсь сдерживать аппетит — хочу вызвать у нее симпатию или хотя бы смягчить то отвращение, какое она ко мне питает. Я умеряю свою жадность к еде. Не езжу в трактир «Веселые Бездельники». Меньше пью вина. Стараюсь сдерживать газы. Но вот сегодня, увы, я снова веду себя как дурак и развратник. Я в гостях у Бэтхерстов, у них собралась большая компания, и пир в разгаре. Здесь герцог и герцогиня Уинчелси и другие остряки из аристократов. Мы осушили море шампанского, а теперь — визжим и помираем со смеху; глядя, как старик Бэтхерст, внезапно пропавший с полчаса тому назад, въезжает в зал на громадном жеребце. При виде нас конь от изумления изгибает дугой хвост, испускает мощные газы, его черный задний проход мелко дрожит, и вдруг из него вываливается прямо на паркет огромная куча блестящего дерьма. Уинчелси так хохочет, что его лицо становится багровым, а глаза чуть не

вылезают из орбит; я гляжу на Вайолет (она сжимает свой бокал, как лодочник — весло) и вижу, что она корчится от смеха, прикрываясь веером.

Покачиваясь, я встаю из-за стола.

— К черту благоразумие! — кричу я. — Давайте играть в кобыл и жеребцов!

— Оле! — вопит Уинчелси, отбивая дробь ногами, как танцор фламенко (ногами, которые всегда, прибавлю я от себя, обуты в туфли на исключительно высоких каблуках — Уинчелси не так повезло с ростом, как ему хотелось бы), и все гости тотчас начинают хлопать в ладоши и топать, все, за исключением тучного старика, сидящего напротив меня: он поглощен своими заботами — повернулся к леди Уинчелси, извлек своими жирными руками у нее из платья левую грудь и благоговейно держит ее, как будто она предмет огромного веса и ценности — золотая кегля, к примеру.

Я наклонился к леди Уинчелси, желая привлечь ее внимание.

— Сударыня, — говорю я, — ваш сосед завладел вашей собственностью.

Она опускает глаза, видит свою белоснежную грудь в красных, с набрякшими жилами руках соседа и улыбается беззаботно и пренебрежи-

тельно.

— А ведь и правда, — соглашается она.

Тут я чувствую, как меня больно бьет по пояснице женоподобный мужчина по имени Руперт Пинуорт — я встречал его при дворе.

— Легенды! — говорит он. — О них ходят легенды. Разве ты не знал, Меривел?

— О чем — не понимаю? — спрашиваю я.

— О грудях Фрэнсис Уинчелси. Разве не так, Фрэнсис?

Леди Уинчелси улыбается Пинуорту. Сосед уже сжал сосок в своих дрожащих губах. Не обращая никакого внимания на манипуляции старика — во всяком случае, не больше, чем если бы он предложил ей блюдо с редиской, она кивает, соглашаясь с Пинуортом, откидывается в кресле и извлекает из корсажа другую грудь, на которой красуется очаровательная коричневая родинка.

Гости к тому времени перестают топать и бить в ладоши, большинство глазеют на Фрэнсис Уинчелси, аплодируя ее грудям. Я смотрю на самого Уинчелси. Несколько обескураженный тем, что жеребец Бэтхерста пятится к его креслу, он тоже аплодирует. И тут я вдруг ощущаю себя круглым дураком. Похоже, все, кроме меня, принимают как должное то, что груди Фрэнсис Уинчелси

необходимо обнажать и восхищаться ими на каждом приеме, где она присутствует. Долгое заточение в Норфолке оторвало меня от сплетен и «легенд». Я уже не знаю, что делают и говорят в свете. Лицо мое пылает. Не могу описать, каким идиотом я себя чувствую. Чтобы скрыть смущение, я утыкаюсь в бокал и пью большими глотками шампанское.

Когда я вновь поднимаю глаза, груди леди Уинчелси уже водворены на прежнее место, однако престарелый сосед все еще жмется к ней, пуская слюни. Чтобы взбодриться, я спорю с Пинуортом, что руку старик непременно держит на пенисе, и ставлю на это двадцать шиллингов и шесть пенсов. Пинуорт гогочет, обнажив красивые зубы, отодвигает кресло и лезет под стол, откуда быстро возвращается с раскрасневшимся лицом.

— Он не просто держит на нем руку, Меривел, — объявляет Пинуорт. — Старикашка извлек древнюю штуковину на свет божий.

— Тогда гони денежки, Пинуорт.

Пинуорт хихикает, признается, что у него совсем нет денег, — он живет исключительно на проценты с красивой наружности.

— Не надо недооценивать красоту, — заявляет бы. — Красота — самый надежный капитал.

Пинуорт лжет: у него есть двадцать шиллингов и шесть пенсов, но, прежде чем я успеваю его уличить, он устремляет на меня томные карие глаза и говорит: «По слухам, у тебя очень красивая жена».

Я бросаю быстрый взгляд на Вайолет: не долетело ли до ее ушей слово «жена» (упоминание о которой доводит ее до бешенства), но кресло Вайолет пустует. Она стоит на ногах, пытаясь обуздать жеребца: глаза коня побелели от ярости — похоже, он вот-вот встанет на дыбы, сорвется с места и помчится бог весть куда.

Понимая, что только неимоверное количество выпитого вина заслоняет от меня страх быть затоптанным до смерти, я вновь сосредоточиваю внимание на Пинуорте.

— Да, Селия исключительно красивая женщина, — отвечаю я.

— А еще говорят, что тебе не позволено и пальцем ее коснуться, — продолжает Пинуорт.

В этот момент Вайолет удается вывести из зала коня, обмякший Бэтхерст висит на нем, как куль. В поисках нового развлечения гости перестают хлопать в ладоши, топать и переключают внимание на меня — мое положение рогоносца известно всему королевству, и эта тема, похоже,

выставляется на всеобщее обозрение так же часто, как груди леди Уинчелси.

Меня засыпают вопросами. Даже дряхлый сосед леди Уинчелси отрывает от нее взгляд ровно настолько, чтобы успеть задать вопрос: «Как вы относитесь к тому, что перед вами захлопывают дверь спальни?» Я хочу ответить, что никак к этому не отношусь, потому что меня это нисколько не волнует, но никто не ждет ответа: я всего лишь мишень для насмешек. Не выходя из образа, я добродушно улыбаюсь. Когда мне говорят, что с меня можно писать главного персонажа в пьесе «Сэр Добровольный Рогоносец», я хлопаю себя по бедру, обтянутому малиновой тканью, и громко смеюсь. «Для меня большая честь быть героем пьесы!» — слышу я свой ответ, однако на самом деле, хоть я пьян и с радостью принял предложение участвовать в необычной вечеринке, мое хорошее настроение мигом улетучивается: оно будто лопнуло, как пузырь, пронзенный острым куском льда. Но это известно только мне. Продолжая скалить зубы, я перевожу взгляд с одного гостя на другого. За их улыбками и смехом мне чудится жалость.

Позже, когда слуги приступают к уборке зала, залитого вином, изгаженного блевотиной и

конским навозом, меня почти втаскивают на атласную постель Вайолет. Она пребывает в возбуждении от успеха вечеринки, полна страсти и жаждет любовных утех. Ее руки блуждают по моему телу. Груди скользят по моим «мотылькам». Ее изогнутая дугой спина — зрелище отменно эротичное — на этот раз оставляет меня совершенно *бесчувственным*, мое тело пребывает в онемении, подобном параличу.

— Вайолет, — шепчу, — я слишком много выпил. Мне нужно поспать.

— Не сейчас, — говорит Вайолет. — Немного позже.

И она с еще большим воодушевлением трудится надо мной, старается возбудить. Через некоторое время плоть моя достигает известной твердости, и я кое-как вхожу в нее, но, увы, не вкладываю в свои действия сердца и потому тут же сникаю, чем привожу даму в страшную ярость. «Что с тобой, Меривел? — хочет она знать. — Что, черт подери, происходит?»

— Я не в себе, Вайолет, — бормочу я.

— Это видно. Но почему?

— Много выпил…

— Чушь, Роберт. Мы с тобой и раньше надирались до чертиков.

— Виновато вино.

Вайолет возобновляет ласки, и тут мне становится ясно, что дело не только в шампанском — не одно вино превратило меня в никудышного любовника. Что-то еще мучит меня. Частично это открытие, что меня обсуждают и жалеют на лондонских обедах и вечерах. Думаю, однако, что смог бы стойко и даже с добродушием перенести эти сплетни, если б сам не задумался над тем, что с появлением в моей жизни Селии у меня есть все основания жалеть себя. Бедненький Меривел, оплакивал я себя, он женат на женщине, у которой самый красивый голос во всей Англии, но, увы, ей даже в одной комнате находиться с ним противно! Хотя она живет в его доме, ему никогда, пока он жив, не прикоснуться к ней, не поцеловать ее волосы, не почувствовать прикосновения беленьких пальчиков на сплюснутом, уродливом лице…

— Уже лучше., — слышу я голос Вайолет, сделавшей перерыв в своих манипуляциях шлюхи.

Ах, ах, говорит мое сердце, как было бы прекрасно, если б, кочуя из постели в постель, от Мег к Вайолет, от Вайолет к Рози Пьерпойнт, я мог бы сделать остановку у Розовой Комнаты. Я вежливо стучу; дверь открывается, меня втягивают

внутрь, втягивает жена, я сажусь и нежно глажу ее ступни, она поет для меня, а потом, без моей обычной слепши и суеты, я встаю и со спокойным достоинством целую ее в губы, она же обвивает руками мою шею — теперь никто не будет смеяться надо мной в знатных домах или жалеть, ведь я занимаю место короля, люблю женщину, которую любил он и на которой меня женил…

Я занимаюсь любовью с Вайолет Она вопит, как язычница, я же двигаюсь молча, в голове моей бродят новые мысли.

После вечеринки у Вайолет я не мог прийти в себя два дня, пока «юбочница» в своей грубой манере не напомнила, что сегодня рождественский сочельник.

Всю жизнь я стараюсь не слишком часто вспоминать свою мать — не только из-за мучительных обстоятельств ее смерти, но еще и потому — и это еще тяжелее, — что она возлагала на меня большие надежды и верила, что придет день, когда она будет гордиться мной. Однако на Рождество трудно удержаться от мыслей о ней, так было и по мере приближения 1665 года.

В день рождения Христа она позволяла *себе* «молитвы не по случаю». Во время Гражданской войны она молилась, чтобы воцарился мир. Все-

гда молилась за меня и отца. На Рождество же она разговаривала с Богом так, как если бы он был чиновником на государственной службе. Просила, чтобы в Лондоне стал чище воздух; чтобы январские ветры не снесли налги трубы; чтобы наш сосед, мистер Симкинз, следил за состоянием своей выгребной ямы — она имела обыкновение перетекать в нашу. Мать молилась, чтобы Амос Трифеллер не поскользнулся и не утонул, спускаясь к реке в Блэкфрайерз по общественной лестнице, покрытой илом и находившейся в страшном запустении». И, конечно, молилась, чтобы не было чумы.

Когда я был ребенком, она разрешала мне просить у Бога вещи, к которым страстно рвалось мое сердце. Больше всего мне хотелось иметь костяные коньки или сиамского котенка. И вот мы е матерью вдвоем сидим у камина и молимся. А потом едим пирог со свининой — его мать пекла сама, — с тех пор, вкушая этот пирог, я всегда ощущаю вкус молитвы.

Итак, в день Рождества, не имея возможности: выйти из дома — весь день из черного неба хлестал дождь, — я сидел в полном одиночестве в Комнате Уединения, думал о матери и пытался составить прошение к Богу, черпая силы во

вкуснейшем пироге со свининой, который велел испечь Кэттлбери.

Спустя час или около того я обратил внимание что от пирога ничего не осталось, а молитва так и не сложилась. По правде говоря, я не знал, чего просить, или, точнее, знал и в то же время не знал. В отчаянии я отказался от мысли побеседовать с Богом и упал на колени у камина, уткнувшись головой в кресло (словно в материнские колени): «Направь, поддержи меня, дорогая мамочка, ибо идея взаимности овладела моим разумом, породив желание не быть более Меривелом-шутом, а быть… (тут я прервался, отправив в рот последние крошки пирога)… быть Меривелом — достойным человеком».

Как можно видеть, на молитву эта просьба не очень похожа, но лучше я ничего придумать не смог — по крайней мере, тогда. Поднявшись с колен, я уже хотел идти и немного попеть с соловьем, который, если меня не обманывало зрение, заметно исхудал и пообтрепался за нашу английскую зиму (еще одно доказательство его индийского происхождения — он увядал вдали от зноя в дельте Ганга), когда в комнату вошел Уилл Гейтс, неся в руках изящный кожаный футляр.

— Это для вас, сэр, — сказал Уилл. — Из Лондона

и от короля.

Эта норфолкская манера выражаться всегда умиляла меня в Уилле. Я взял у него футляр и положил на ореховый ломберный стол. Тисненые золотые узоры на коже, медные застежки. Я поднял крышку. Внутри, на бархатной подушечке, лежал набор посеребренных хирургических инструментов. Уилл открыл от изумления рот.

— Что это, сэр? — спросил он.

— К ним было приложено письмо? Или карточка?

— Нет, сэр. Ничего большее не было. Только футляр. А все-таки, что это, сэр Роберт?

— Хирургические инструменты, Уилл, — ответил я. — Они нужны для разрезания и вскрытия. С их помощью можно извлечь камень из мочевого пузыря, пустить кровь, вскрыть гнойник или сшить края открытой раны.

— Спаси нас, Господи! — сказал Уилл.

— Вот именно, — поддержал я. — Вот именно…

Поочередно я брал их в руки — крючок, зонд, канюлю, молоточек и прочие инструменты, последним я вытащил скальпель. Каждый крутил в руках, внимательно рассматривая. Я никогда не видел, чтобы хирургические инструменты выглядели почти как произведения искусства. Думаю,

ни Гарвей, ни Фабрициус не держали в руках таких инструментов. Не было никаких сомнений — их прислал король. В сопроводительном письме не было необходимости. Подарок сам за себя говорил. Собираясь положить скальпель на бархатную подушечку, я заметил на серебряной ручке выгравированную дату — декабрь 1664. Повернув скальпель, я увидел на другой стороне надпись из трех слов.

Я поднес инструмент ближе к глазам и прочел на ручке этого самого острого и грозного из лезвий краткое наставление: *Меривел, не спи!*

Глава девятая
Попечитель

Когда в январе начинали дуть злые ветры, мать всегда упоминала в молитвах наши трубы. В Норфолке такие ветры звали «русскими» — ведь местом их зарождения была Россия, а именно одна заснеженная горная цепь (названия которой, несколько помню, я никогда не знал). Через северные моря они добирались до наших мест и кружили у наших домов много дней и ночей, воя, как стая голодных волков.

Хотя я не так чувствителен к холоду, как, скажем, Пирс (у него может случиться приступ лихорадки от обычного сквозняка), но все же стал замечать болезненную ломоту в костях, от которой одно спасение — залезть в горячую воду и заставить Уилла массировать губкой позвоночник.

Тогда я и задумался, как мужчины и женщины Всея Руси выносят лютый мороз своих зим, старался представить себе народ, о котором ничего не зная. И вот какая мне виделась картина: у всех жителей этой страны румяные и круглые лица,

как у хозяина «Веселых Бездельников», все как один, даже женщины, живописно закутаны в меха, но — не в меховые шубы или накидки, а просто в меха, они свободно свисают с плеч, что делает русских похожими на нищих в лохмотьях, но, в отличие от последних, они чувствуют себя в звериных шкурах удобно и радостно.

Теперь, навещая Мег, я уже не рассказывал ей о Стране Мар, а затеял новую серию историй, названных мною *«Правдивые рассказы Меривела о России»*, — от них ее доверчивый, неискушенный разум пришел в восторг. Дальше — больше. Мне взбрело в голову, что всем нам в Биднолде будет гораздо лучше, если мы оденемся потеплее, и затребовал большое количество мехов у лондонского меховщика Джекоба Тренча. Я хотел, чтобы Тренч, соединив разные меха, сшил нечто вроде так называемых табард,[42] «надеваемых через голову и свободно падающих с плеч (руки при этом остаются открытыми — ими можно пользоваться по своему усмотрению, туловище же всегда в тепле)».

Будучи старым и дотошным человеком, Тренч, который в свое время шил горностаевые мантии

---

[42] Примечания: 42
Плащ, надеваемый рыцарем поверх лат.

и прочие роскошные одеяния, забросал меня нудными письмами, прося в них точно указать, какие использовать меха и в каком количестве, какого цвета и качества должны быть шелк и атлас, идущие на подкладку, и предлагал мне и всему штату слуг приехать в Лондон на примерку.

Такая отсрочка ужасно разозлила меня, но я не мог вести себя неучтиво с Тренчем, добрым другом моего отца. И тогда я решил упростить ситуацию, попросив Тренча использовать в работе только барсучий мех, а на подкладку брать не атлас и не шелк, а прочную шерстяную ткань, «чтобы такую одежду мог носить даже мой конюх или поваренок». Шитье табард обещало влететь в копеечку, но образ придуманных мною русских был очень ярким, и я убедил себя, что не переживу зиму без таких меховых одежд. Мысль, что мы встретим весну в облике барсуков приводила меня в неописуемый восторг. Больше уже никто не сможет мне сказать: ты должен вести себя тихо, иначе не увидишь барсука в Воксхолском лесу, потому что я сам *стану* барсуком.

Жизнь, однако, шла своим чередом. В колодце замерзла вода, от сильных морозов потрескалась черепица на крыше. С шумом оборвался кусок

трубы и оторвал голову цесарке. «Как медленно, как невыносимо медленно тянется время, — говорила Селия, согревая руки у камина. — Я этого не выдержу».

Дни были похожи один на другой. Я уговорил Селию приходить по утрам в Музыкальный Салон и петь. Время, которое я посвящал игре на гобое, выросло раз в десять. Я вставал на рассвете, в холодном сумраке, доставал инструмент и сражался с гаммами и арпеджио до тех пор, пока незаметно не подкрадывалось солнце, и все же мне совсем не удавалось достойно аккомпанировать Селии: стоило только начать, как она тут же прекращала петь и умоляла меня не тратить силы. Так что дуэт, о котором я неразумно мечтал, не сложился, звучал только голос Селии, она пела об утраченной любви, а я сидел в кресле, смотрел на ее белоснежную шейку и мысленно задавался вопросом, не смогу ли я со временем, благодаря случаю или «переменчивой природе всех вещей», нежно прикоснуться к ней губами.

В полдень я обедал с Селией, но эти трапезы скоро перестали меня радовать из-за постоянного присутствия на них «юбочницы», которая с течением времени становилась все гнуснее и уродливее и с которой Селия практически не

расставалась.

В хорошие дни я ездил верхом в парке, и, когда пришпоривал Плясунью, та мчалась своим несравненным галопом. Изабелла, маленькая собачка Селии, — жене нельзя было утруждать себя прогулками со своей любимицей — некоторое время гналась за нами, пытаясь цапнуть лошадь за ноги, но потом отставала, поворачивала назад и торопилась вернуться к хозяйке, которая с мечтательным видом сидела в своей комнате у камина, читала драйдена[43] или вышивала один и тот же узор.

Сомнений не было — Селия изнывала в тоске. Со мной она держалась вежливо, так как верила, что король сделал меня ее попечителем. От моих отчетов зависело, сможет ли она когда-нибудь вернуться в Лондон, — так, во всяком случае, она считала. Но я знал, кем был для нее на самом деле, — наказанием, которое необходимо стерпеть. Я раздражал ее не меньше, чем моя игра на гобое, нескладная и неблагозвучная. Теперь я понимал, как смешны мои надежды на то, что Селия когда-нибудь сможет полюбить или хотя бы уважать меня. Я уже собирался отказаться

[43] Примечания: 43

Драйден, Джон (1631–1700) — английский поэт, драматург, критик. При дворе Стюартов стал поэтом-лауреатом и историографом.

от своего хитрого плана и не удерживать ее в Биднолде дольше отмеренного королем срока, но тут приключилась странная история.

Тот вечер я провел в студии, пытаясь изобразить углем русских, продолжавших жить в моем пылком воображении. Наконец, к полночи, я перестал терзать бумагу, разделся и, надев самую теплую ночную рубашку и ночной колпак, улегся в кровать под бирюзовым балдахином и моментально уснул крепким сном.

Проснулся я, не понимая толком, что происходит. Меня трясли за плечо, чей-то голос призывал проснуться. Открыв глаза, я увидел Селию, склонившуюся надо мной в теплой накидке. В руках она держала горящую свечу, длинные волосы занавесом падали на ее лицо.

— Меривел, — взволнованно прошептала она, — иди вниз. Твоя птичка умирает.

— Мой соловей?

— Да. Ведь ты врач. Если ей не помочь, она погибнет.

Я не знал, сколько сейчас времени — забыл завести часы (будь я королем с его множеством часов, было бы из чего выбрать?), но понимал, что стоят глубокая ночь, и такая холодная, что при свете свечи виден пар от моего дыхания.

Оповестив меня о происходящем, Селия выскользнула из комнаты, захватив с собой свечу. Я остался лежать в полной темноте. Все то время, что я пытался зажечь светильник, искал парик и чулки и наконец сорвал с постели одеяло, чтобы завернуться в него, я непрерывно думал, зачем понадобилось Селин в такое неподходящее время навещать соловья. — ей. которая каждый вечер не позже девяти часов удаляется в свою комнату вместе со своим хвостом» — «юбочницей». Меня это волновало больше, чем судьба бедной птички, пока я не вошел в Комнату Уединения и не увидел несчастное создание.

Селия поставила клетку перед камином — в него подбросили новые поленья. Я встал на колена.

— Смотри. — сказала Селил. — Он не двигается.

Соловей лежал на полу клетки, задрав лапки, одно крыло слегка трепетало.

— Что делать, Меривел?

Я посмотрел на Селию. В ее голосе слышались нотки печали, даже отчаяния. Меня поразило, что сна. как и я, любит соловья, и я утратил дар речи.

— Меривел, что делать?

Я взглянул на соловья. Его желтые глазки, обычно такие ясные, затуманились, словно их

затянуло пленкой, однако, как ни пытался я вспомнить, что это может значить, как ни перебирал мысленно все, что еще сохранилось в памяти из медицинских познаний, мне ничего не шло на ум. Я тер глаза, которые слипались от мучительного желания спать. Рисуя неведомых русских, я страшно устал и теперь не мог придумать ничего толкового.

— Я не знаю, что делать, Селия, — сказал я.

— Ты хочешь сказать: тебе все равно — умрет он или нет?

— Конечно, нет! Я очень привязался к нему.

— Тогда сделай что-нибудь! Доставай свои инструменты и лекарства!

Но я ничего не мог. Ничего. Мне хотелось в этом признаться, однако я понимал: нужно делать вид, что я на что-то гожусь. Хотя Селия считала меня неспособным к многочисленным видам человеческой деятельности, как-то: игре на гобое, обсуждению поэзии Драйдена, рисованию и даже напудриванию парика, но ошибочно полагала, что уж в одной-то области — медицине — я обладаю достаточными познаниями. И если б мне удалось спасти птицу, это, несомненно, произвело бы на нее впечатление и добавило ко мне уважения.

Не без иронии отметив, что вот уже второй раз в жизни мое будущее в какой-то степени зависит от того, удастся ли мне спасти бессловесную тварь, я взял свечу и направился в кабинет. Там я взял сильное слабительное, составленное из сенны и корня ревеня, чистые бинты и присланный королем набор хирургических инструментов.

— Сначала я очищу ему кишечник. — сказал я Селии, — а потом пущу кровь из бедрышка.

Селия не дрогнула.

— Могу я помочь? — спросила она.

— Ну… ты можешь держать его в руках, гладить по головке, пока я буду вливать лекарство в клюв…

— Хорошо, — сказала она. — Но, может, лучше поднести к огню стол и работать на нем?

— Дельная мысль. Я расстелю на нем чистый лоскут.

И вот в столь необычное время, посреди ночи, мы превратили ореховый ломберный стол в операционный. Селия осторожно извлекла птицу из клетки и положила на стол. В комнате горели три свечи, и, взглянув на лежащую предо мной бедную птаху, я вдруг смутно представил себе мертвого скворца в угольном погребе, которого препарировал много лет назад. Насколько легче

вскрывать, чем лечить, подумал я.

Селия сидела напротив меня. Если б сейчас в комнату вошел посторонний человек, он мог бы подумать, что мы играем в карты или кости. Правда, выглядели мы довольно эксцентрично: я — в одеяле, Селия — в теплой накидке.

— Итак, — сказал я, — если тебе удастся держать соловья, не давая ему дергаться, я раскрою клюв и, зафиксировав такое положение с помощью вот этой лопаточки, волью ему в глотку несколько капель лекарства.

Соловей дрыгал лапками, но, оказавшись в руках Селии, затих и только смотрел на нас грустным, затуманившимся взглядом. Лекарство он проглотил, и теперь оставалось только ждать, как оно подействует.

— Хорошо, — сказал я. — Перейду к флеботомии. Надеюсь, вид крови тебя не испугает?

— Нет. Я думаю только о пташке. У меня предчувствие: если она умрет, случится несчастье.

— Почему?

— Ведь это подарок?

— Да.

— Конечно, от короля. А если с тем, что дарит король, что-то случается, ни тебе, ни мне не избежать неприятностей.

Я уже был готов рассказать Селии, что птица — подарок — нет, взятка — от *soidisant*[44] портретиста Илайеса Финна и не имеет никакого отношения к королю, но, подумав, решил этого не делать. Конечно, мне было больно видеть своего любимца, индийского соловья, в таком плачевном состоянии, но в то же время я начинал получать удовольствие от этого рискованного предприятия — не хотелось, чтобы Селия покинула меня в самом его разгаре.

Не тратя времени зря, я приступил к кровопусканию — уловив слабую пульсацию под перьями на бедрышке, я сделал крошечный надрез скальпелем с выгравированной надписью: *Меривел, не спи!* На белую тряпку брызнула темная венозная кровь. Раньше мне никогда не приходило в голову делать флеботомию птице, и я понятия не имел, сколько надо выпустить крови и когда ее остановить. Через несколько минут Селия взглянула на меня, в ее глазах было сострадание. Немного крови пролилось на ее руки, и желание поскорее вытереть кровь с ее рук побудило меня взять марлю и забинтовать ранку. С забинтованной ножкой соловей вызывал еще больше

---

[44] Примечания: 44
Так называемого *(фр.)*.

жалости. Селия взяла его в руки и поднесла к лицу, прислушиваясь к сердцебиению. Я тем временем постелил чистую тряпочку на дно клетки, Селия положила туда птицу, а я стал протирать спиртом инструменты, прежде чем убрать их.

— Мы сделали все возможное, — сказал я Селии. — К утру подействует слабительное, и тогда будет ясно, стало ли ему легче.

— Завтра ты опять пустишь кровь?

— Может быть. Я не знаю точно, сколько в нем крови.

Селия встала.

— Почему ты бросил медицину, Меривел? — вдруг спросила она.

Избавлю вас от пересказа последующего разговора, в нем я пытался объяснить Селии, как сильно подействовал на меня вид черепа ее отца, игравшего на нашей свадьбе, и как я чуть не упал в обморок от сознания, что мне известны названия всех костей и сухожилий. Я говорил, но видел, что Селия мне не верит. Она обвинила меня в том, что я сам не знаю, в чем мое спасение, и назвала меня трусом. Раненный в самое сердце, я хотел было уйти, снова лечь в постель и уже стал укладывать инструменты, но тут Селия дотронулась до моей руки.

— Пожалуйста, не уходи, Меривел. Прости, если я заговорила о том, что меня не касается.

Я не знал, что ответить. С Пирсом было легче: обидевшись на него, я мог разрядиться, сказав что-нибудь оскорбительное о Джордже Фоксе или о половнике, но, хоть я и был зол, мне не хотелось огорчать Селию. В конце концов я предложил разойтись по комнатам, но Селия, похоже, намеревалась дежурить у клетки и хотела, чтобы я оставался с ней.

Я ощущал смертельную усталость. Сознание того, что я снова взял в руки скальпель, разволновало меня. Мне хотелось лечь в постель и мечтать, воображая себя русским в шубе из горностая, ликующим среди снегов. Но что я мог поделать? Ведь эта январская ночь была особенная: моя жена впервые попросила меня побыть с ней. Как я мог отказать?

Я сразу же понял, что без еды мы долго не продержимся. Будить Кэттлбери не позволяла совесть, и потому, взяв свечу и потуже затянув на себе одеяло, я, минуя ледяные коридоры, отправился на кухню, откуда вернулся с подносом, на котором лежали: остывший пирог с мясом, холодная жареная цесарка, свиная колбаса и бутылка вина.

Ломберный столик, бывший совсем недавно операционным столом, превратился в обеденный. Мы ели руками и пили вино прямо из глиняной бутылки. Еда и огонь в камине смягчили боль в моем позвоночнике и заставили предательски покраснеть нос Селии.

Когда мы закончили трапезу, Селия запела. Она пела колыбельную, очень красивую, а потом шепотом поделилась со мной тайной надеждой, что король подарит ей ребенка. Как раз об этом она писала ему в письме, когда услышала слабый шум, — это с жердочки упал соловей. Увидев в этом нехороший знак, она тут же бросила письмо в огонь и побежала будить меня. Я не знал, что сказать Селии по поводу ее «тайной надежды», хотя меня испугали ее намерения. В конце концов я уронил голову на стол прямо на кости от цесарки и моментально заснул, а проснувшись, услышал плач Селии.

Я выпрямился. Из окна лился серый свет — близился рассвет. Огонь в камине почти погас. Селии за столом не было, она стояла на коленях у клетки.

— Он умер, Меривел, — сказала она. — Он точно умер.

Я опустился на колени рядом с ней. Соловей ле-

жал в мутной зеленоватой лужице — последних его испражнениях, вызванных слабительным. Окостеневшее тельце говорило о том, что он и в самом деле мертв, но, по правде сказать, меня это не очень огорчило: ведь рыдающая Селия, ища утешения, упала мне на грудь, и три или четыре минуты я, стоя на коленях, держал ее в своих объятиях. Мне ужасно хотелось целовать и ласкать ее, но я сдерживался. Наши головы соприкасались, я гладил ее волосы.

Спустя два дня после того, как мы в парке, рядом с могилой Минетты, похоронили индийского соловья, повалил снег. Тогда-то к моему дому приехал на тучной серой лошади мужчина. Звали его сэр Николас Хогг. Он сообщил мне, что является мировым судьей прихода Отбуа-ле-Фэлоуз, куда входит и Биднолд. На прошедшем недавно ежеквартальном собрании прихода меня — как владельца поместья Биднолд — выбрали приходским попечителем по призрению бедняков.

Я пригласил судью Хогга в мой кабинет. В тот день моя одежда была менее яркой, чем обычно. Селия настояла, чтобы я носил *demi-deuil*[45] по несчастному соловью, и Хогг, похоже, принял

[45] Примечания: 45
Полутраур *(фр.)*.

меня за обстоятельного и серьезного человека.

Я поинтересовался, что входит в обязанности попечителя, и Хогг ответил, что эти обязанности весьма необременительны. «В настоящий момент в Норфолке немного бедняков, и они не очень портят общую картину», однако я всегда должен помнить, что бедняки делятся на три категории.

— На три категории? — переспросил я. — И каждый укладывается в одну из них?

— Да. На нашей территории встречаются Беспомощные бедняки, Здоровые и Ленивые.

— Ага, — отозвался я.

— От попечителей по призрению ожидают, что они не ошибутся в причислении бедняков к определенной категории: ведь ошибка непременно заставит бедняка предстать перед мировым судьей и тем самым отнимет у того драгоценное время. Поэтому спешу вас предупредить, что чаще всего ошибаются, не зная, куда отнести бедняка — к Беспомощным или Ленивым: ведь многие лентяи притворяются беспомощными и могут обмануть неподготовленного человека. Полагаю, вы меня понимаете?

— Думаю, да.

— Следовательно, ваша главная задача — не

ошибиться при классификации. Представьте, что вы видите человека, просящего милостыню у большой дороги, — как определить, к какой категории он относится, Беспомощный он или Ленивый?

Я немного подумал. У меня возникло мгновенное искушение легкомысленно заметить, что при дворе многие предпочтут, чтобы их считали, скорее, Ленивыми (впрочем, таковыми они и были), чем Беспомощными, то есть импотентами (некоторые действительно ни на что не годились, но всячески это скрывали, прибегая к хитроумным уловкам). Однако я положил отнестись серьезно к новым обязанностям, поэтому ответил, что сначала внимательно осмотрю этого человека, чтобы понять, насколько он здоров, — не изувечен ли, не болен, не ранен, потом расспрошу, какие личные обстоятельства заставили его просить милостыню.

Сэр Николас покачал головой.

— Нет и нет, — возразил он. — Это ненадежный метод. Нет, нет и еще раз нет. Ему надо задать всего лишь один вопрос. Нужно спросить, есть ли у него лицензия на право просить милостыню, и если есть, удостовериться, что лицензия истинная, а не поддельная.

— А если у него вообще нет лицензии?

— Это и будет ответом. Значит, он не Беспомощный бедняк, а Ленивый. Дело весьма простое.

— А как получают лицензии, сэр Николас?

— Нам, судьям, подается заявление. Каждое заявление рассматривается на ежеквартальном заседании.

— А как быть человеку, попавшему в беду, ну, скажем, пострадавшему в уличной драке или сломавшему позвоночник при падении с дерева, на котором он собирал сливы: работать он не может, а следующее ежеквартальное собрание нескоро? Ведь, если не попрошайничать, не проживешь?

— Это гипотетический случай, сэр Роберт, я не слышал о таком прецеденте. В любом случае, милостыню просить он не имеет права. Пусть ищет другие возможности.

— Какие? Я что-то не соображу.

— Например, он может прийти к вам.

— И что я должен делать?

— В обязанности попечителя входит оказание просителям мелкой денежной помощи, в размере шести-девяти пенсов, или, если это больше устраивает обе стороны, — можно пожертвовать куренка или свиную ножку, кому что удобнее. Именно по этой причине в попечители выбира-

ют людей с достатком, чтобы пожертвования не были в тягость.

Сказав это, сэр Николас закурил трубку — та источала омерзительное зловоние — и тем самым дал мне немного времени, чтобы сформулировать следующие вопросы, касавшиеся состояния работного дома в Норвиче и выполнявшейся там работы. Это место было главным пристанищем тех, кого Хогг называл Здоровыми бедняками графства. В ответ мне было сказано, что этот работный дом замечателен во всех отношениях, живущие там мужчины, женщины и дети сидят с веселыми лицами за прялками и ткацкими станками — «таким образом, получается, что благотворительность распространяется не только на их плечи и руки, которые трудятся, но и на праздные ноги, пребывающие в безделье».

Хогг смахнул табачные крошки с мясистой губы и прибавил:

— К сожалению, больницу, что там находилась, переоборудовали в пивную, — ошибка, на мой взгляд, — но мне сообщили, что тех немногих больных, что нуждались в лечении, разместили в подходящем сарае.

Я спросил, входит ли в мои обязанности попечителя посещение работного дома в Норвиче,

но сэр Николас успокоил меня, сказав, что моя опека распространяется только до границ Отбуа-ле-Фэлоуз, а соседние приходы Кут-бай-Лейлэнд и Рамуорт Сент-Джеймс я опекаю, по его словам, уже вместе с лордом Бэтхерстом, — последнего он охарактеризовал как «замечательного попечителя, который щедро жертвует просителям кроликов». Меня привело в замешательство известие, что Бэтхерст способен разобраться, кто из бедняков Беспомощный, а кто Ленивый, и я уже собирался поделиться с судьей своими наблюдениями по поводу плачевного состояния разума соседа после несчастного случая, но тут сэр Николас подошел к окну, увидел, как валит снег, и сказал, что должен немедленно ехать: есть риск, что дорогу занесет, и тогда он не сможет попасть в «Центр в Отбуа» — так он назвал место своей работы.

Признаюсь, я почувствовал облегчение, избавившись от сэра Николаса и его отвратительной трубки, и все же после его отъезда продолжал пребывать в некотором смущении в связи с новыми обязанностями: у меня не было ясного представления о том, что я должен *делать* в качестве попечителя бедняков. Должен ли объезжать на Плясунье окрестные деревни, ловить Ленивых

и посылать на ткацкие работы, а Беспомощным раздавать шестипенсовики и куриные ноги? У меня не было привычки часто ездить в деревню Биднолд, разве когда приходила охота навестить Мег в «Веселых Бездельниках», и я не представлял, сколько бедняков могут обратиться ко мне за поддержкой. Если б не снегопад, я тут же оседлал бы лошадь и помчался б на разведку, но, как и судья Хогг, я не хотел заблудиться в снегах, и потому решил сначала занести на бумагу все — увы, весьма немногое, что я знал о бедняках. Я взял перо и написал следующее:

1. Их много.
2. Похоже, их больше в столице, там они толпятся на набережных и устраиваются на ночлег на ступеньках пивных.
3. Они больше остальных людей подвержены болезням, чему я был свидетелем, работая в больнице св. Фомы.
4. В глазах многих бедняков светится безумие, из чего я заключаю, что у Пирса в «Бедламе» их множество.
5. С точки зрения Уинчелси бедняки составляют особую расу, отличную от остального человечества. Однако ана-

томы черпают знание о человеческом теле, изучая трупы бедняков, и нигде не написано, что печень лорда по своей форме, функциям, строению или структуре отличается от печени жителя трущобы (впрочем, печень лорда может быть увеличена количеством пропущенного сквозь нее вина).

6. Их любил Иисус.

7. Существует любопытное противоречие между Его верой в благородство бедняков и верой так называемых благородных людей в их врожденную порочность. (А ведь считается, что у нас набожный народ.)

8. Не могу сказать, что за тридцать семь лет своей жизни, вплоть до сегодняшнего дня, тринадцатого января 1665 года, я часто думал о них.

9. Как относится к ним король? Он убежден, что все должны быть довольны своим жребием и не должны стремиться подняться выше. А что он скажет о бедняке?

10. Я слышал, что в Биднолде есть человек без языка, крепкий телом, но немой,

> он выпрашивает милостыню у всех, кто проходит мимо. Кто он — Беспомощный или Ленивый? Есть ли у него лицензия? И если нет, что мне с ним делать?

Тут я остановился. Даже из этих нехитрых записей мне стало ясно, что проблема бедняков весьма сложна и принадлежит к тем вещам, которыми я никогда не предполагал заниматься. Со вздохом я отложил перо. У кого просить совета по этому вопросу, о котором я знал так мало, что мысли мои полностью смешались? Ответ не заставил себя ждать. Конечно, у Пирса. Испустив очередной вздох, я снова потянулся к перу. Надо писать Пирсу и, естественно, получить в ответ письмо, полное критики и издевок. Эта задача утомила меня раньше, чем я к ней приступил, но тут мое внимание привлекли сладостные звуки: то пела Селия. Я тут же покинул кабинет, пошел в Музыкальный Салон, сел на узкий высокий стул и позволил голосу моей жены заглушить мысли о бедняках и бездомных.

Глава десятая
Финн в парике

В эту ночь мне снился явно вещий сон: я стоял на крыше своего дома и смотрел на звездное зимнее небо, но не через телескоп — его там не было, — а собственными несовершенными глазами. После нескольких часов (так, во всяком случае, мне показалось во сне) такого созерцания я почувствовал сильную резь в глазах, а на щеках — влагу, похожую на слезы. Я утер слезы рукавом, но, взглянув на него, увидел красное пятно и понял, что глаза мои кровоточат. Я уже собирался спуститься с крыши и надеть на глаза темную повязку, но тут заметил короля — он сидел неподалеку, на дымовой трубе, и серьезно смотрел на меня.

— Хоть ты и истекаешь кровью, Меривел. — сказал он, — но все же не понимаешь Первого Закона Космоса.

Я хотел было спросить у него, что это еще за «Первый Закон», но как раз на этом месте проснулся с мокрыми щеками. Слава Богу, это были слезы — не кровь, но тем не менее меня

огорчило, что я лил слезы во сне. Некоторое время я пребывал в растерянности, не понимая, откуда взялся такой сон и что он означает. Из-за кого или из-за чего я плакал? Оплакивал ли я индийского соловья? Или бедняков, чьи страдания вдруг открылись мне? Или свое невежество? Или мою неспособность постичь Первый Закон Космоса?

Я встал, умылся, немного поеживаясь, однако капель за окном наводила на мысль, что началось таяние снега. Потом снова лег в постель и вернулся к своим мыслям.

Ближе к утру я решил, что, если отказаться от бессмысленной тоски о днях, проведенных мною в облике королевского шута, больше всего меня мучает невозможность музицировать совместно с Селией. Мне приходилось довольствоваться ролью слушателя. Я мечтал, мечтал горячо — это я теперь понимал — аккомпанировать, вторить ей, но я стыдился звуков, извлекаемых мною из гобоя, и почти прекратил заниматься, боясь, что Селия может услышать мою игру. Но как тогда достигнуть того, на что я так надеялся? Мысленно я озадачил этой проблемой короля и терпеливо ждал его ответа. Думаю, на какое-то время я задремал и ясно увидел короля, тот поднял с колен перчатку, сшитую покойным отцом, надел ее на

руку и тем самым скрыл под ней бесценные кольца с бриллиантами и изумрудами, украшавшие его пальцы. «*Votià,*[46] — сказал он. — Ты должен заниматься втайне».

Я не знал, как это сделать, да и времени поразмыслить с утра у меня не было: не успел я в одиночестве позавтракать, как Уилл Гейтс доложил, что прибыл Финн и ждет меня в Студии.

Я не посылал за ним. После приезда Селии я уже не так энергично старался обрести новое призвание в живописи. Эксперименты с цветом и светом уступили место напряженному освоению гобоя. Однако, пока я шел в Студию, меня озарила мысль изобразить на холсте выдуманных мною русских среди заснеженных просторов их земель. Снег кое-где еще лежал в парке, — значит, первым делом следует начать с пейзажа (все белым-бело, наверху нависшие облака стального цвета), а потом перейти к изображению людей, моделями для которых станут Кэттлбери и Уилл Гейтс в меховых табардах, — я все еще ожидал их из Лондона. Так что приход Финна оказался своевременным. Он мог помочь продумать композицию, объяснить, как и где

---

[46] Примечания: 46
Вот так *(фр.).*

лучше расположить фигуры в белых одинаковых балахонах, разобраться со светотенью. И если он опять выступит с претенциозным требованием изобразить на заднем плане обломки статуй, мне будет что возразить: в России нет разбитых статуй — мороз все их обращает в черепки. Я открыл дверь Студии. Освещение в комнате было хуже обычного, зато Финн сверкал и переливался: вместо привычных зеленых лохмотьев бродяги он вырядился в малиновый с золотом костюм, на ногах были туфли с пряжками и — что самое невероятное, из-за этого я с трудом узнал его — голову украшал белокурый парик.

— Мой дорогой Финн! — воскликнул я.

Художник заулыбался, я заметил, что щеки его — довольно впалые, словно он давно не ел, — зарумянились.

— Доброе утро, сэр Роберт, — сказал он. — Вижу, ваши глаза уловили перемену в моей наружности.

— В Норфолке нет таких глаз, которые бы этого не заметили, — ответил я. — Следовательно, можно заключить, что ты процветаешь.

— Это как сказать, — замялся Финн. — Места при дворе, о котором мечтаю, я пока не получил, но верю, оно не за горами: сам король дал мне

поручение.

— Ага. Выходит, ты добился аудиенции у Его Величества?

— Да. Очень краткой, должен признаться, но все же аудиенции.

— Браво, Финн!

— Много дней и ночей я слонялся по коридорам Уайтхолла, пока мне не посоветовали, если я хочу получить аудиенцию у короля, приобрести новую одежду.

— Вот откуда этот роскошный костюм.

— Да. И он влетел мне в копеечку. Оставшихся денег мне хватило только на то, чтобы добраться до Норфолка. Так что вы видите перед собой нищего, сэр Роберт. У меня нет ни пенни.

— Ясно. Ты собираешься возобновить здесь работу наставника, или мне направить тебя в работный дом?

Ничего не зная о моем разговоре с судьей Хоггом. Финн, естественно, не мог оценить шутки и потому не улыбнулся, а серьезно продолжал;

— Один портрет отделяет меня от положения при дворе.

— И что же это за портрет? — поинтересовался я.

Вместо ответа Финн засунул худую руку в обши-

тый тесьмой карман и вытащил оттуда обрывок пергамента — замусоленный и мятый, словно любовное письмо, которое носишь день и ночь на груди. Он вручил его мне, предлагая прочесть. Вот что там было написано:

Согласно этому документу, Илайесу Финну приказано выполнить следующее поручение: нарисовать безупречный портрет Селии Клеменс, леди Меривел, живущей в поместье Биднолд графства Норфолк. Этот портрет должен быть полностью закончен, чтобы не осталась не выписанной ни единая деталь, не позднее двенадцатого февраля 1665 года Портрет не должен превышать двадцати пяти дюймов в длину и ширину, чтобы он удобно разместился в Нашем кабинете. Если Мы сочтем, что портрет красив и хорошо написан, художнику выплатят семь ливров. Если же он будет превосходен и близок к оригиналу, художнику, если на то будет его желание, предоставят место при дворе.

Подписал

король Карл.

Я поднял глаза на Финна — его лицо расплылось в несносной улыбке. Возвращая бумагу, я чувствовал, что меня охватывает неуправляемый порыв гнева. Восторженное предвосхищение работы над картиной о русских мгновенно испарилось, теперь придется — дабы не вызвать недовольство короля — предоставить кров и пищу этому нищему художнику, тот же будет проводить целые часы в обществе Селии, стараясь приукрасить ее с помощью жалких вееров и прочих убранств и рисуя над ее головой пухлого херувима. Своим трудом он добьется восхищения Селии и места при дворе, а я так и буду в одиночку сражаться с гобоем — отлученный от двора, лишенный всякой власти, на кого даже собственная жена взирает с презрением, которое покидает ее только в моменты горя, как это и случилось в ночь безвременной кончины моей несчастной птицы. Я уже не испытывал к Финну прежней симпатии. Теперь я презирал его, завидовал ему и прекрасно понимал, что постоянное присутствие его в доме будет тягостно для меня. К счастью, в минуты внезапного гнева (довольно редкие) я сохраняю

хитрость и смекалку. Умело скрыв свою ярость, я с серьезным видом покачал головой и сказал:

— Увы, Финн, не очень-то связывай надежды на будущее с этим заказом.

— Почему? — спросил Финн, с беспокойством глядя на бумагу.

— Ты хочешь знать — почему? Но подобных заказов множество. Бьюсь об заклад, король делает не меньше двух-трех *per diem.*[47] С моей жены и раньше писали портреты, но никому из художников не заплатили, и, насколько я знаю, бедняги и сейчас бродят по стране, как Ленивые бедняки, или теряют человеческое достоинство, валяясь в рубище на ступенях, ведущих к королевской барке.

Я искренне надеялся, что мои слова погрузят Финна в глубокое нордическое уныние, которое так шло к его лицу, но он, к моему удивлению, только снисходительно улыбнулся.

— За эту картину заплатят, — уверенно сказал он, — потому что я нарисую портрет, который всех покорит. Говорят, ваша жена очень красива, но я сумею улучшить даже саму природу.

— Нагородив вокруг нее цветы, арфы, дурацкие

---

[47] Примечания: 47
В день *(лат.).*

гирлянды, так? Но это не прибавит тебе шансов.

— Речь не о том. Я не собираюсь заниматься украшательством, а хочу преуспеть в том, к чему стремились вы, сэр Роберт, но не добились успеха, — хочу раскрыть ее *сущность*. Если я уловлю эту сущность, лицо будет, как магнит, притягивать взгляды и сердца.

— Что ж, желаю удачи, — сказал я с кислой миной. — Но позволь тебя предупредить: король бросает многие свои начинания. Вокруг столько людей, столько шума, он просто не может надолго сосредоточиться на чем-то одном. Так что берегись, Финн. Может случиться, ты принесешь портрет, а он на него даже не взглянет.

— Но у меня есть эта бумага…

— Бумага! Разве ты не знаешь Первый Закон Космоса, Финн?

— Что еще за «Первый Закон»?

— Все сущее родилось из огня и когда-нибудь в нем погибнет.

Произнеся эту сомнительную сентенцию, я быстро сменил тему разговора, не дав Финну времени ее опровергнуть.

— Что касается твоего проживания здесь, надеюсь, король дал денег, чтобы оплатить эти расходы? — спросил я.

— Нет, сэр Роберт. Как я уже говорил, я гол как сокол…

— Выходит, мне придется содержать тебя просто из любезности?

— Любезности по отношению к Его Величеству.

— И как меня за это вознаградят?

— Он не сказал. По мне много не надо.

— Разве? Вели судить по твоей одежде…

— Да это просто показуха…

— Как и сама жизнь. Но Бог читает в твоем сердце, Финн, — Он не хочет, чтобы ты был паразитом.

— Я не паразит и много работаю, чтобы поддержать свое скромное существование.

— То же самое будешь делать и здесь. Я хочу, чтобы в благодарность за кров и пищу ты все силы своего таланта сосредоточил на *моей* работе. Я начинаю серию новых картин и нуждаюсь в твоей помощи по части перспективы и светотени.

— А как же портрет?

— У жены много времени отнимает музыка и попытки проникнуть в сущность творений Драйдена. Больше часа в день она не сможет тебе уделить.

Финн запротестовал, и при виде его смятения

мой гнев ослабел. Когда я снова увижу Мег, обязательно расскажу ей историю о несчастном нищем, получившем маленький клочок земли; он надеется успеть возделать и засеять землю до наступления весны, и тогда с нищетой будет покончено. Он ходит по окрестностям, выпрашивает плуг, мула, мотыгу. Ему их дают, но, когда он возвращается, уже поздно что-либо делать. Он *не заметил* прихода весны — она просто оказалась у него дома. Нищий забыл, как незаметно подкрадываются перемены, как быстро летит время.

Я оказался на чердаке «Веселых Бездельников» уже той же ночью — раньше, чем предполагал.

День приезда Финна прошел в высшей степени неприятно; к ужину я уже пылал от гнева и думал только о том, как бы поскорее убраться из дома: крикнув, чтобы седлали Плясунью, я поехал прямо по снеговой каше в деревню. На пути мне повстречались два бедняка, они собирали хворост, но о них — после.

Разозлило меня отношение Селии к Финну. Когда с его бледных губ слетели слова, что король поручил ему написать ее портрет, глаза Селии радостно вспыхнули. Она тут же призвала «юбочницу», чтобы сообщить той радостное известие (обе расценили эту новость как реальную надеж-

ду на возвращение в Кью), они стали наперебой льстить художнику, просили показать его картины, нашли их восхитительными, чарующими и не знаю уж какими еще, потом принесли платья, шарфы, головные уборы, предлагая ему выбрать *лучшее* для портрета. Меня они полностью игнорировали и вели себя так, словно я липший — впрочем, увы, так и было.

Я внимательно следил за Селией. Прелестная улыбка, которой она так часто одаривала короля, — меня же — практически никогда, — сейчас почти не сходила с лица жены, делая ее еще более обворожительной и милой. Такая красота действовала на меня своеобразно: сердце таяло от нежности, словно я смотрел на ребенка, а мужское начало ожесточалось — этого ребенка хотелось совратить, овладеть им. Я видел, что Финн совершенно очарован Селией. Видел также и то, что она знает об этом и нисколько не возражает, — напротив, позволяет себе немного с ним пофлиртовать. Последнее наблюдение наполнило мое сердце горечью. Почему, будучи моей женой, она никогда не бывает со мной так мила?

Так я сидел и наблюдал, пока еще мог это выдерживать, а потом сбежал в Музыкальный Салон, извлек несколько гнусных звуков из гобоя, пнул

ногой пюпитр, отшвырнул инструмент и пошел звать конюха. По дороге в конюшню я встретил Кэттлбери, и тот сказал, что достал к обеду две дюжины дроздов. Я резко ответил, что есть не хочу, он же пусть запечет этих чертовых птиц в пироге и подаст «моей жене и ее новому другу, господину Финну». К тому времени, когда они должны были сесть за стол (не сомневаюсь, улыбка Селии при мягком свете свечей стала еще более неотразимой), я уже вылакал несколько кувшинов пива и обсуждал с кровельщиком вопрос, почему в соломенных крышах живет так много крыс. «А что, если эти крысы разносят чуму? — спросил я. — Тогда смерть придет с крыш». Старик кивнул, соглашаясь. «Вдова Картрайт говорит, что чума придет в Норфолк. Придет к весне».

До постели Мег я добрался очень поздно, мертвецки пьяный, помочился в ее камин и тем самым затушил единственный источник тепла, который хоть немного согревал чердак. Заключив Мег в объятия, я положил свою уродливую голову ей на грудь и моментально уснул.

Когда я проснулся, голова моя, как можно догадаться, раскалывалась от боли, дыхание источало зловоние. В постели, кроме меня, никого не было: в обязанности Мег входило рано вставать, подме-

тать в гостинице пол и проветривать помещение до появления первого крестьянина, пришедшего выпить кружечку пива. Совершенно больной, я тут же встал с кровати, подошел к низкому окошку и выглянул наружу, вспомнив с досадой, что вечером забыл поставить Плясунью в стойло, и она, привязанная к столбу, провела всю ночь под открытым небом. Страшно представить, что выдержало несчастное, окоченевшее животное.

Из маленького оконца почти ничего не было видно, кроме мерзкой измороси, плотной, как туман. Именно в такое унылое утро воспоминание о жарком лете способно вызвать острую боль. Мои предки по линии Меривелов, галантерейщики из Пуату, не знали английской зимы. Несомненно, это их кровь сделала меня таким чувствительным к погодным условиям.

Мег застала меня стоящим на коленях перед окном и, очевидно, решила, что я молюсь, потому что раздраженно произнесла:

— Никакая молитва не спасет тебя, сэр Роберт.

— Я не молюсь, Мег, — сказал я, — просто осматриваю окрестности в поисках моей лошади.

— Твоя лошадь в стойле, — отрезала она, поставила на стол кофейник, блюдо блинчиков с яблоками и вышла. Каждое ее слово, каждый

жест выражали крайнее недовольство. Я остался стоять на коленях, как кающийся грешник, заметив про себя, что вся моя жизнь — сплошная неразбериха.

Не было никаких признаков того, что Мег простит меня и пойдет на уступки, так что мне не оставалось ничего другого, как, слегка подкрепившись кофе и блинчиками, возвращаться домой, и, хотя я был рад, что лошадь не погибла из-за моей нерадивости, все же мое настроение соответствовало погоде. Мысль о том, что дома я увижу Финна в его нелепом парике, была настолько противна, что я решил было ехать к Бэтхерстам, но воспоминание о вечеринке Вайолет и шутках, которые отпускали в мой адрес, намекая на унизительное положение рогоносца, все еще больно ранило меня. Кроме того, я не испытывал никакого желания к Вайолет, а ее манеры, непристойная речь казались мне теперь невыносимо вульгарными. Словом, я поехал в Биднолд, строя по дороге планы, как, добравшись до дома, ублажу тело мылом и горячей водой, а потом упрошу Селию спеть для меня одного. Финну поручу какую-нибудь трудную задачу (вроде натягивания холстов), а «юбочницу» отошлю в ее комнату.

Тут я как раз оказался на том месте, где видел бедняков, понуро собирающих в грязи хворост. Я осадил Плясунью и огляделся. Нигде ни шороха, только бесшумный дождь и капель с деревьев.

Я спешился и привязал кобылу к тощему ясеню. Справа от дороги был небольшой лесок, слева — общинная земля, где биднолдские крестьяне пасли овец и коз. Во мне бродило смутное желание найти тех двух бедняков, что я встретил вчера, — не то чтоб я хотел расспросить их или попытаться причислить к одной из категорий судьи Хогга, нет, я просто хотел посмотреть им в глаза, чтобы увидеть, сколько в них отчаяния и горя. Тогда, в сгущавшихся сумерках, один из них нес на шесте фонарик; они произвели на меня впечатление людей, живущих в страшной нужде, у них были изнуренные лица, в глазах застыл страх. В Лондоне я видел много бедняков и всегда оставался равнодушным, однако вид этой пары, мужчины и женщины, до такой степени взволновал меня, что я бродил по лесу, надеясь найти лачугу, где они могли жить.

Но я ничего не нашел. В лесу стояла удивительная тишина; не верилось, что ее может нарушить даже дыхание живого существа. Только порвав о шиповник чулки, я прекратил поиски и вернулся

к Плясунье. Взбираясь на лошадь, я сказал себе, что, оказавшись на месте бедняка, никогда не пошел бы к Попечителям в напудренных париках и пышных нарядах, а, напротив, постарался бы укрыться от них любыми возможными способами.

В Биднолде полным ходом шло то, чего я опасался: Финн уже работал над проклятым портретом.

Селия в атласном платье кремового цвета сидела на оттоманке (ее, без моего ведома, вынесли из Комнаты Уединения и поставили у окна Студии). Жена держала на коленях лютню, рядом сидела Изабелла, ее спаниель, и дрожала всем телом.

— Финн, — сказал я, — ты посадил мою жену на сквозняке. Посмотри, как холодно собаке.

Было приятно видеть, как перепутался художник, однако Селия даже не пошевельнулась и довольно резко возразила, сказав, что ей совсем не холодно.

— Но если ты будешь и дальше здесь сидеть, то непременно схватишь простуду. Предлагаю пойти в Музыкальный Салон, там разожжен камин.

— Сколько времени? — спросила Селия.

— Прошу прощения?

— Который час?

— Понятия не имею. Если хочешь, я могу взгля-

нуть на прелестный хронометр, подаренный мне…

— Думаю, мой гость приедет к полудню.

— Гость? Какой еще гость?

— Разве мне нельзя приглашать гостей, Меривел?

— Конечно, можно. Мне просто хотелось знать…

— Он — мой учитель музыки. По просьбе отца он согласился проделать этот путь из Лондона.

— Ага.

— Теперь мои дни не будут такими скучными. Я буду позировать прекрасному художнику и иметь удовольствие петь для вдохновенного маэстро.

— Жаль, что дни, проведенные здесь, показались тебе «скучными».

— Это не твоя вина, Меривел. Я просто не создана для такой жизни.

— К счастью, — вмешался Финн, — вы скоро вернетесь ко двору.

— Да, — сказала Селия. — Как только портрет будет написан, тебе придется меня отпустить, Меривел. Мне было трудно петь без аккомпаниатора, но теперь благодаря отцу эта проблема решена. Я все делаю так, как ты предложил, пыта-

юсь постичь смысл своей судьбы через пение. Так что можешь доложить королю, что я выполнила его приказ.

— Посмотрим, Селия…

— Нет, не посмотрим. Если ты не отошлешь королю положительное письмо обо мне, я все равно вернусь в Лондон. Ведь портрет все меняет.

— Как это «все меняет»?

— Какой ты бестолковый, Меривел. Разве заказал бы король портрет женщины, если *б* не хотел ее увидеть?

— И это возможно, — возразил я. — Портрет можно заказать в память о прошедших днях, ныне канувших в Лету, заказать как памятный подарок.

Селия покачала головой, не соглашаясь с такой трактовкой, и окинула меня холодным взглядом.

— Нет, — сказала она. — Я знаю короля. Он так не поступил бы.

Я с трудом сдерживался, чтобы не рассказать Селии, что видел и ту необычную ночь на реке, — ярко освещенный дом, веселую компанию. Но я не решился И не только потому, что не хотел больно ее ранить. — просто та ночь была слишком нереальной, слишком похожа на фантастический сон, и я не поклялся бы, что сцена,

явившаяся моему зрению, была на самом теле. Я мог все это видеть потому, что именно это мне и хотелось видеть. Похоже на то как в то утро, когда сдох мой индийский соловей, Селия приникла ко мне в слезах. Было это или нет? Разве не позволила она гладить себя по голове? С тех пор она держалась со мной холоднее, чем раньше, и я предвидел, что наступит время, когда, находясь в обществе Финна и учителя музыки, она полностью перестанет замечать меня.

Со вздохом вышел я из Студии, ощущал за своей спиной необычный сладковатый зонах — отвратительный и крепкий, — и знал, что его источает пудра с парика Финна.

Я чувствую себя вконец помотанным. Таким измотанным, что у меня ноют даже мышцы заднего прохода. Сейчас я сижу за обеденным столом в голубом наряде с желтым бантом на кружевной рубашке и ем оленину с Селией и ее учителем музыки герром Хюммелем. Он родом из Ганновера, одет как пуританин, жалуется, что у него мерзнут ноги. «Профессор Хюммель — очень изысканная натура», — сказала мне Селия, однако за столом эта изысканность не слишком ощущается: из-за пареза с его нижней губы постоянно течет слюна.

Я прикидываю, сколько ему может быть лет, и прихожу к выводу, что около пятидесяти. Он прекрасно говорит по-английски — без единой ошибки, но с сильным акцентом. Пожалуй, его присутствие можно терпеть.

Мы пьем хорошее вино. Понемногу усталость моя отступает. Мы беседуем с герром Хюммелем о гармонии мадригала (предмет, о котором я почти ничего не знаю, а он, напротив, — очень много и это избавляет меня от необходимости самому вести разговор), и тут я вдруг вспоминаю сон, короли на крыше, мой вопрос: как овладеть искусством игры на гобое, и его совет: «учиться втайне». Я обрываю герра Хюммеля и предлагаю тост за короля. Мы поднимаем бокалы, я пью, с наслаждением смакуй вино. Мне становится ясно: приезд Финна — досадное событие, но присутствие герра Хюммеля может оказаться полезным. В голове моей зреет план, как использовать его временное пребывание в моем доме.

Я бросаю взгляд на Селию. Раскрасневшаяся от вина, она улыбается, но, конечно, не мне. Я опускаю взгляд ниже, позволяя себе несколько мгновений смотреть, как вздымается и опускается ее грудь.

Глава одиннадцатая
Неизвестное известное

Приближается мой день рождения. Я родился под созвездием Водолея, одиннадцатого знака зодиака, знака водоноса, этого скромного, но незаменимого трудяги, который носит из колодцев и рек воду — элемент жизненно важный для человеческого организма. Этот «водолей» представляется мне сутулым стариком, спина его искривилась под тяжестью деревянного коромысла, напрягаемого двумя полными до краев ведрами. День за днем, год за годом, пошатываясь, несет он свой драгоценный груз, но сила его убывает, и; двигаясь сквозь время, он ковыляет и спотыкается, расплескивает все больше воды и тем самым вызывает у древних богов раздражение сильнее самой жажды. С наслаждением дали бы они ему хорошего пинка в тощий зад или пронзили молнией обмотанную лохмотьями шею. Но они не могут этого сделать. Как бы жалок он ни был, без него не обойтись.

Несмотря на дату моего рождения, двадцать седьмое января, мне кажется, что у меня никогда

не было ощущения своей исключительности. В детстве мать взирала на меня с любовью и, несомненно, лила бы слезы, если б меня задрал барсук в Воксхолском лесу. Вот и все. Она не хотела бы умереть, не подержав мою руку в своей. Учась на врача, я молился, чтобы мои знания и умения спасли от смерти хоть одного человека, однако не помню, чтобы это мне когда-нибудь удалось. Во время моего краткого горячечного пребывания в Уайтхолле я искренне верил, что *становлюсь* необходимым королю, но время показало: я себя обманывал. Позже стремился, чтобы Селия уважала, ценила меня, считала значительным человеком, однако по большей части она вела себя так, будто вовсе меня не замечала. А после приезда Финна, узнав, что королем заказан ее портрет, она перестала относиться ко мне как к своему попечителю. У нее не было сомнений: когда портрет будет написан, король призовет ее к себе, тем дело и кончится. И у нас никогда не сложится дуэт, о котором я мечтал. И все же я продолжаю ей угождать. Ее голос по-прежнему до глубины души трогает меня — это не передашь словами. Сидя рядом с ней перед камином в Комнате Уединения или за обеденным столом, я борюсь с желанием прикоснуться к ней. Если

она вернется в Кью, я знаю, что буду горевать. Возможно, буду даже писать ей глупейшие письма со словами, которые я никогда не решусь сказать в глаза. Ведь я парадоксальное явление — Водолей, без которого можно обойтись. Я лежу растянувшись, как последний болван, в сточной канаве *via délia, vita.*[48] Я упал под тяжестью ведер, только наполнены они не водой, а моими страстишками и тщетными мольбами; и никто не давал мне пинка.

Мне исполнится тридцать восемь лет. Я уже придумал, как проведу начало, середину и конец этого дня. Буду спать долго в надежде, что мне приснится теннис (этот вид спорта подарил мне ни с чем не сравнимые минуты счастья). Несколько утренних часов проведу с учителем музыки Хюммелем, следуя секретному плану, местом осуществления которого, к сожалению, стал холодный летний домик. Днем буду рисовать русских. Вечером организую какую-нибудь развлекательную программу, найму музыкантов, приглашу господина Джеймса де Гурлея («месье Дегуласса» — к нему я теперь испытываю родственное чувство, зная, как его третируют

---

[48] Примечания: 48
Жизненный путь *(итал.).*

в свете), его жену и дочерей на ужин и танцы. Селии буду почаще подливать шампанское — надеюсь, она от этого подобреет.

По мере приближения дня рождения погода становилась все лучше — к утру подмораживало а днем солнце с чистого, не затянутого облаками неба резало лед, как алмаз. В такие дни было приятно гулять в парке с учителем музыки, слушать, как он поддакивает моему плану; последний заключался в том, чтобы, когда Селия позирует для портрета, уединяться вдвоем там, где нас не могут услышать (я предлагал погреб, но Хюммель смертельно боится крыс, и потому мы остановились на летнем домике) и где маэстро мог бы тайно обучать меня игре на гобое. Я объяснил ему, что времени у нас мало: еще до наступления весны жена моя, скорее всего, вернется в Лондон. «До того, как я ее потеряю и не увижу месяцы или даже годы, самое большое мое желание исполнить вместе с ней хотя бы одну из ее песен — с меня хватит всего одной, — но мой аккомпанемент должен быть прекрасным. Если вы поможете мне в этом, герр Хюммель, благодарность моя будет безгранична».

Учитель музыки окинул меня взглядом, словно надеясь разглядеть на поверхности столь без-

надежного материала какие-нибудь признаки музыкальности. Ничего не обнаружив, он вежливо улыбнулся (на его месте не отличающийся хорошими манерами Финн глумливо усмехнулся бы) и пообещал сделать все, что сможет. Да, первое впечатление меня не обмануло: он оказался приятным и порядочным человеком — только таким и мог быть друг сэра Джошуа. Теперь я на своей шкуре испытаю, насколько верный совет дал Селии. Наделяет ли музыка мудростью? Утончает ли душу? Если б каждый житель Англии мужского и женского пола бренчал на струнах или посвистывал на дудочке, стал бы коллективный разум нации спокойнее и самодостаточнее?

Перехожу к вечеру двадцать седьмого января 1665 года, дня моего тридцативосьмилетия, чтобы рассказать о некоторых вещах, которые ворвались в мою жизнь и нарушили запланированный ход событий. (Замечу, кстати, что нахожу сочетание «ворвались и нарушили» чрезвычайно сильным; не думаю, что оно существовало в языке, пока ученые мужи короля Якова не извлекли его из древних священных текстов и не ввели в повседневный язык.)

День начался не так, как я себе представлял. Я проснулся чуть свет под бирюзовым балдахином,

хотя хотел спать долго, наслаждаясь спортивными сновидениями, и неожиданно задумался: могу ли рассчитывать получить в этот день подарки? Я по-детски радуюсь подаркам — всяким, даже самым пустяшным, и испытываю глубокую благодарность к дарителям. Мысль, что в свой день рождения я могу остаться без подарка, меня не радовала. В такие грустные минуты я мечтаю не только увидеть короля, но быть им, ведь он всегда окружен людьми, которые рвутся первыми сложить подношения к его ногам.

Понимая, насколько глупы эти мысли, я встал, умылся, надел парчовый халат и спустился на кухню: иногда приятно самому приготовить что-нибудь незатейливое, вроде того, к чему я привык, когда жил на Ладгейт-Хилл. Там мой завтрак состоял из запеченных в сливках яиц, поверх которых я клал соленые анчоусы. — прекрасная выдумка, и я с удовольствием поедал эту еду прямо у плиты.

Там, на кухне, меня и нашел Уилл Гейтс, он сообщил, что из Лондона прибыла повозка, «заваленная мехами», — несомненно то были табарды из барсучьих шкур, присланные старым Тренчем. Их было десять, все весьма искусно пошиты — на каждом плече по барсучьей мордочке, швы

отделаны хвостиками. Осмотрев табарды (Тренч, как его просили, взял на подкладки добротную шерсть), я упросил Уилла обрядиться в одну из них. Сначала он отказывался, говорил, что не сможет работать в таком одеянии. «Уилл, — сказал я, — не говори глупости. Они сшиты так, что руки остаются свободными». Но, увы, Уилл сразу стал в табарде неуклюжим и неловким. Он невысокого роста, тощий — шуба ему одновременно и длинна, и широка. Барсучьи хвостики волочатся по полу, а мордочки не торчат задиристо, а уныло свисают с плеч. Я не смог скрыть улыбки.

— Увы, Уилл, — сказал я. — Думаю, табарду придется перешить.

— Не стоит тратиться, сэр, — отозвался Уилл, — снимая шубу через свою упрямую маленькую голову. — Я все равно не буду ее носить.

— Нет, *будешь*, — настаивал я. — Все слуги будут ходить в табардах вплоть до весны, такая одежда предохраняет от простуд и прочих заболеваний.

— Простите меня, сэр Роберт, — сказал Уилл, — но я ее не надену.

— Наденешь, Уилл, — проговорил я неуверенно, понимая, что, хоть я и хозяин дома, а Уилл — преданный слуга, конфликт по этому поводу между нами неизбежен.

Обрядившись в табарду, я отправился на поиски учителя музыки, чтобы предложить ему носить эту необычную одежду во время наших занятий в холодном летнем домике. Хотя табарда, признаюсь, была несколько тяжеловата, но быстро согревала, даря телу приятное тепло. В ней я выглядел чужестранцем, недоставало лишь эксцентричного головного убора, — надень я меховую шапку, стал бы вылитым русским из своих снов. И тут в мое сознание закралась искусительная мысль: а вдруг короля позабавит такая одежда? Может, стоит в день моего рождения, который явно не сулит подарков, самому послать подарок в Уайтхолл? Вдруг плод моего воображения породит новую моду при дворе? Вот будет замечательно, если Селия, вернувшись ко двору, увидит, что все придворные модники щеголяют в барсучьих мехах, а с их смеющихся губ слетают слова: «tablier Merivel»[49]

Решив на досуге как следует все обдумать (король прислал мне в подарок набор хирургических инструментов — не вызовет ли у него раздражение мой ответный дар?), я взял гобой и пошел в комнату герра Хюммеля, откуда мы

---

[49] Примечания: 49
Фартук Меривела *(фр.)*.

тайком, никем не замеченные, направились в летний домик.

Там действительно было холодно и довольно мрачно: паутина решеткой затянула окна, пол усеивали легкие перышки, словно в это неприметное место залетел голубок и неожиданно лопнул. Я извинился перед герром Хюммелем, который предусмотрительно надел табарду, и сказал, что летом здесь намного лучше, выразив при этом надежду, что учитель музыки посетит Биднолд в этот благодатный сезон. Герр Хюммель вежливо поблагодарил меня и предложил начать урок незамедлительно, пока не окоченели пальцы. Он попросил сыграть несколько гамм и небольшую пьеску на мой выбор. Что я мог исполнить, кроме песенки «Лебеди пускаются в плаванье»? Ведь только ее я мог сыграть от начала до конца без ошибок. Герр Хюммель внимательно слушал, лицо его не выражало ни презрения, ни досады. Когда я закончил, он позволил себе издать чуть слышшьш вздох. «Очень хорошо, — сказал он. — Думаю, начнем с самого начала. Вы, наверное, самоучка?»

— Да, полностью.

— К сожалению, у вас неправильная постановка пальцев, сэр Роберт, и мундштук вы слишком

глубоко захватываете губами. В него надо шептать — не целовать и не сосать.

— А-а…

— Уверен, вы скоро научитесь. Главное — энтузиазм, а он у вас есть.

— Да, энтузиазма хватает.

— Тогда начнем.

Герр Хюммель мягким движением отобрал у меня гобой, вытер оставшуюся на нем слюну и поднес инструмент ко рту, делая при этом странные движения губами, словно выворачивал их, прежде чем обхватить — как бы нерешительно — мундштук. Еще раньше он попросил меня внимательно следить, куда ставит пальцы, играя гамму до мажор, мне же казалось, что его руки почти не движутся. Я обратил внимание на его пальцы — белые и тонкие, словно вырезанные из кости, мои же были красные и пухлые. Природа явно не лепила из меня гобоиста. И все же я решил не отчаиваться. Музыка — печальная песня на моей свадьбе — отвратила меня от медицины. Должна же она как-то вознаградить «отступника» за годы бесцельного труда.

Первый урок длился около часа. Стекло в летнем домике успело затуманиться от нашего дыхания, ноги так окоченели от холода, словно

их сковали железные сапоги. Стал ли я лучше играть? Не знаю. К тому же я так озяб к концу урока, что мне было на все наплевать. Всему виной наша грешная плоть: дух воспаряет к горним вершинам, телу же милей теплый домашний очаг.

Приглашение, посланное мной де Гурлею и его домашним, было принято с готовностью. Я (так и не подучивший до двух часов ни подарка, ни даже простого поздравления) утешался тем, что продумывал отдельные детали вечеринки. Неожиданно к дому подъехал на осле деревенский мальчишка с поручением от викария Биднолда, преподобного Тимоти Сэкпола. Меня просили срочно приехать в церковь.

— В чем дело? — спросил я мальчика.

— Не знаю, сэр.

— Духовные лица верны себе — даже причину не назвали.

— Сказали только, что дело ужасное и срочное.

— Это не причина, малыш, а эпитеты, так любимые священнослужителями.

Пока седлали лошадь, мне пришла в голову мысль: вдруг самодовольный Сэкпол разведал, что сегодня встает заря тридцать девятого года моей жизни? Может, он предвидит божественную кару, которая падет на спотыкающегося

Водолея, если не заманить его к алтарю до заката? Не так давно миновал самый короткий день в году, солнце садилось рано, — возможно, отсюда такая срочность? Хотя я езжу иногда на проповеди Сэкпола (они меня забавляют), но все же посещаю церковь реже, чем следует, предпочитая возносить молитвы Господу в тиши комнаты или (я об этом уже говорил) над мясным пирогом. Так что не исключено, что этот священнослужитель, всегда казавшийся мне вздорным человеком, захотел прочитать мне мораль, — я отчетливо представлял и тон, и содержание этого внушения. Начнет он с того, что спросит, о чем думаю я в очередную годовщину своего рождения. На это я отвечу, что все мои мысли витают вокруг пустого стола в напрасной надежде увидеть положенный Селией подарок — тисненую папку для нот или красивую раму для картины. Такие мысли далеко уводят от Царствия Небесного, ответит викарий…

Но дело оказалось совсем другого рода. Подъехав к церковному двору, я увидел у ворот, в лучах заходящего солнца, скопление людей, слышались голоса и плач.

— Что тут все-таки стряслось? — спросил я юнца на осле. Он ничего не ответил, только с

беспокойством глядел на происходящую сцену.

Пока я слезал с лошади, ко мне подошел преподобный Сэкпол.

— Что происходит, викарий? — спросил я.

— Спасибо, что приехали, сэр Роберт, — вежливо произнес Сэкпол, тем самым сняв зародившееся в душе подозрение, что я услышу лекцию о слабости моей веры. — Нам нужна помощь врача, доктора Мердока искали, но не нашли.

— Когда-то я учился медицине, но курс так й не закончил. Я недостаточно подготовлен…

Сэкпол перебил меня:

— От вас не потребуется ничего особенного. Сейчас я успокою этих добрых людей — мальчик пока подержит вашу лошадь — и все вам объясню.

— Но прежде я должен быть уверен, что мне не придется спасать чьи-то жизни.

— От вас требуется лишь высказать свое суждение.

— Суждение? Но позвольте заверить вас, викарий, что мое суждение уже не так основательно, как прежде. Я могу и ошибиться.

— Все ошибаются, сэр Роберт, но это дело может оказаться для вас простым. Идите за мной.

Я вошел вслед за Сэкполом через маленькую

дверь в ризницу. Там было темно, пахло сухими травами. Сэкпол закрыл за нами дверь и положил руку на мое плечо.

— У крестьян, — прошептал он, — возникло ужасное подозрение, что в деревне занимаются колдовством.

— Колдовством? В Биднолде?

— Да. Постараюсь вкратце изложить вам эту историю. Люди у церкви — как вы сами видели, многие из них плакали — пришли с похорон, которые я провел в полдень. Хоронили юную девушку; Сару Ходж, ей и семнадцати не было, смерть ее была внезапна и ужасна.

— В чем это выражалось?

— Вот мы и подошли к самой сути, сэр Роберт. Вопрос, который стоит перед нами: была ли смерть Сары естественной или тут не обошлось без дьявола, как думают некоторые прихожане?

Я взглянул на Сэкпола. Было видно, что священник чувствует себя неловко, он отвел от меня глаза. Очевидно, викарий собирался попросить меня о чем-то ужасно неприятном — скорее всего, осмотреть труп. Я уже открыл было рот, чтобы опередить просьбу Сэкпола, сказав, что последнее вскрытие, при котором я присутствовал, было препарирование жабы в королевской

лаборатории и что я не могу правильно распознать и оценить следы, оставленные смертью на человеческом теле, но тут Сэкпол решительно продолжил: «Дело сложное и…»

Я оборвал его, подняв руку, и попросил не продолжать эту историю, если только он не опровергнет мое предположение, что мне предстоит сделать медицинское заключение о причине смерти девушки. К моему удивлению, он ответил, что никто не собирается тревожить тело Сары Ходж, — оно, как лежало, так и будет лежать в земле. Держась нервно и испуганно (что заставило меня задуматься, верно ли мое суждение о нем как о человеке непробиваемого высокомерия), он поведал мне следующую историю.

Пожилая вдова — все звали ее Мудрой Нелл — долгие годы была деревенской повитухой, а также целительницей и знахаркой — она выращивала у себя в саду лекарственные травы. Говорили, что руки Нелл наделены чудодейственной силой, данной Богом по ее вере, — так во всяком случае утверждала она. Последние несколько месяцев Мудрая Нелл не посещала церковь, ссылаясь на ревматические боли в коленях. Однако жители Биднолда стали замечать перемену в ее поведении (то, что раньше не трогало ее и оставляло

спокойной, теперь приводило в возбуждение!), изменились и ее руки — прикосновение стало другим! Кожа огрубела и стала шершавой, а когда Нелл накладывала руки на голову или конечности больного, тот в первое мгновение ощущал ледяной холод. Поползли слухи: Нелл больше не «мудрая», теперь ей покровительствует не Бог, а дьявол, сила в ее руках от нечистого…

«Вам должно быть известно, — вставил тут Сэкпол, — какой беспредельный ужас испытывают эти богобоязненные люди при одной мысли о колдовстве. Со своими подозрениями они идут к священнику и говорят: такая-то — точно ведьма, вот такие-то и такие-то доказательства, и, следовательно, ее надо сжечь, или утопить, или — даже не знаю — придумать еще какое-нибудь страшное наказание. Однако такие дела представляются мне чрезвычайно трудными и сложными: доказательства как вины, так и невиновности могут быть фальшивыми, и я склоняюсь к тому, что в большинстве таких случаев истина ведома только Богу. Я надеялся, что никогда не услышу в Биднодде слово „колдун" или „колдунья" в адрес кого-то из жителей. Не буду скрывать, меня страшат возможные последствия этой истории».

Сэкпол достал из рукава не первой свежести

платок и высморкался. Еще не понимая, какая роль предназначена в этой истории мне, я терпеливо ждал, пока преподобный извлечет из обеих ноздрей засохшие выделения, потом попросил *его* продолжать.

— Ну вот, — сказал он, — мы и добрались до истории Сары Ходж. Как я уже говорил, она была юной девушкой — вся жизнь впереди, и все же впала в черную меланхолию; поговаривают, это началось, когда она отрезала свои красивые каштановые волосы и продала за несколько шиллингов изготовителю париков. Не знаю, сэр Роберт, приличествует ли молодой женщине так сокрушаться об утрате волос, чтобы плакать два месяца подряд или даже больше, но с Сарой приключилось именно это, она лила слезы не переставая ничего не ела, худела, слабела и выказывала отвращение ко всему.

Ее родители, бедные, невежественные крестьяне, не знали, как помочь дочери, и в конце концов пошли к Мудрой Нелл, умоляя старуху сделать так, чтобы к Саре вернулась жизнерадостность. Как мне рассказали, Сара провела у Нелл три часа. Старуха дала ей выпить настойку, в которую, по ее словам, входила кровь ласточек — птах, приносящих лето, воплощения беззa-

ботности.

Когда Сара вышла из хижины Нелл, щеки ее пылали, по телу пробегал огонь. Девушка сказала, что от птичьей крови ей стало хорошо и захотелось танцевать. Братья, обрадовавшись, что снова видят сестру счастливой (хотя волосы ее длиннее не стали), достали тамбурины и дудку и стали играть, Сара же, приподняв юбки, принялась отплясывать дикий танец, высоко задирая ноги. Она плясала, не останавливаясь, с полчаса или даже больше, лицо ее налилось кровью, щеки приобрели багровый оттенок, и все же она продолжала танцевать, разорвав лиф на платье и обнажив груди такого же цвета, как и ее лицо. Неожиданно девушка согнулась пополам, изо рта черным фонтаном хлынула рвота, она упала, бормоча что-то бессвязное: из ее слов вытекало, что она выпила яд из соска на шее у самого дьявола, а через двадцать минут она уже была мертва.

В ризнице стояла грубая скамья. Я сел на нее. Чего я никак не ожидал услышать в свой день рождения, так это рассказа о черной рвоте и сосках дьявола.

— Должен сказать, — продолжал Сэкпол, — что среди прочих перемен крестьяне заметили изменение в наружности Мудрой Нелл: на шее у нее

появилось коричневое пятно (она говорила, что это бородавка), оно увеличивалось в размерах, кожа вокруг него сморщилась и поблекла, и наконец оно обрело вид соска или вымени. А надо сказать, сэр Роберт, что такое надругательство над природой принято считать верным знаком связи с сатаной. Вот почему, чтобы успокоить людской гнев, выиграть время и прояснить ситуацию с медицинской точки зрения, я и пригласил вас. Я прошу вас пойти со мной в хижину Мудрой Нелл, осмотреть нарост у нее на шее и сказать мне — с высоты своих познаний, о которых я много наслышан от госпожи Стори и леди Бэтхерст, — что это, действительно вымя или что-то более обычное — бородавка или киста?

Прежде чем ответить, я немного помолчал. Потом сказал:

— А что будет с Мудрой Нелл, если я найду у нее самое плохое?

— Я уже говорил, что вы не единственный арбитр в этом вопросе, мы ждем от вас только медицинского заключения, затем женщину осмотрят и другие специалисты.

— К примеру, доктор Мердок?

— Да, только его никто не видел со дня смерти Сары Ходж.

— Тогда кто же?

— Будем искать медиков в других деревнях.

— А если они найдут «метку» дьявола?

Сэкпол провел рукой по подбородку.

— Я не сторонник расправ. Но и защитником дьявола выглядеть не должен.

— Ее убьют.

— Или прогонят. Постараюсь, чтобы прогнали.

Сегодня двадцать восьмое января. Холодный пасмурный день. Вчера я слишком устал, чтобы записать все, что произошло в мой день рождения, но сегодня продолжу рассказ. Я стал старше всего на один день, но этот день изрядно прибавил мне ума: ведь я заглянул в свое будущее.

Хотя я предпочел бы вернуться домой, немного порисовать и проследить за подготовкой к ужину, выбора у меня не было, и я последовал за преподобным Сэкполом к низкой, крытой соломой хижине, где вела странную, сумеречную жизнь несчастная Мудрая Нелл. Как темен ее дом, как низок потолок, как малы окна! Не могу похвастаться высоким ростом, но даже я не мог полностью распрямиться в этой каморке. Можно сказать, подумал я, что, помимо всех прочих горестей, бедняки страдают и от своих жилищ.

Хотя Сэкпол вполне добродушно и даже теп-

ло поздоровался с хозяйкой (интересно, так же любезно предлагает палач осужденному положить голову на плаху?), я успел заметить при тусклом свете единственной свечи, что Нелл — она сидела в кресле-качалке, скрестив на груди руки, — страшно испугалась, не зная, чего ждать от нашего прихода. Она с мольбой подняла на викария глаза, показавшиеся мне похожими на глаза бульдога — такие же крупные и выпуклые, и забормотала, что всегда служила только Богу и королю и не знает, отчего умерла Сара Ходж. В комнате стоял отвратительный запах, словно кто-то со смаком испортил воздух. Я прикидывал, откуда может взяться этот запах, — возможно, так пахнут трупики ласточек или еще чего-то, что Нелл использует для своих снадобий, или это протухшая требуха — еда старухи, или запах самого страха, реального явления, вызванного недостаточной или, напротив, чрезмерной работой некоторых желез.

Больше всего на свете сейчас я стремился поскорее покинуть лачугу, но понимал, что уйти, не произведя осмотра, мне не позволят: у дверей толклись родители и братья покойной Сары, они изрыгали проклятия и требовали справедливости. Их поддерживали другие жители деревни, на

лицах всех этих людей лежала печать бедности, у них был жалкий вид, и это заставило меня задуматься, не придут ли ко мне завтра за шестью пенсами те, что сегодня ждут моего вердикта.

Желая поскорее покончить с этим делом, я приблизился к Нелл и сказал как можно мягче, что ни в чем ее не обвиняю, а сюда пришел как врач, в свое время практиковавший в Уайтхолле (я умолчал о том, что моими пациентами были собаки), чтобы «осмотреть маленькую штучку у нее на шее и определить природу этого образования».

При этих словах Нелл подняла на меня свои собачьи глаза и плотно натянула шаль на подбородок, как будто бинтовала рану. «Суккуба… Прислужница дьявола… вот как они меня называют! Эти слова идут из ада их собственных мозгов. Но Бог читает в моем сердце и знает, что никогда в жизни я ни на кого не накладывала проклятия…» Нелл продолжала говорить, не спуская глаз с моей барсучьей табарды, которую я так и не снял. Сэкпол несколько раз порывался прервать заверения Нелл в своей невиновности, но тут я заметил, что Нелл очаровали меха и так приковали к себе (и к их владельцу) ее внимание, что речь старухи замедлилась, слова в свою защиту постепенно забывались, и я предположил

— как оказалось, верно, — что вскоре она совсем умолкнет.

Тогда я понял, что, прибегнув к маленькой хитрости, мне удастся успокоить Нелл и осмотреть ее шею, не испугав и не применив насилия, глубоко противного моей природе. Я шепнул Сэкполу, чтобы он немного отошел, следил за происходящим из угла сырой лачуги и молчал до окончания осмотра.

Видя, что теперь Нелл не так испугана, как вначале, Сэкпол выполнил мою просьбу. Я подошел к Нелл и опустился на колени подле ее кресла; тело ее источало такое зловоние, что я с трудом сдерживал рвотные позывы.

Из-под шали осторожно выползла костлявая рука, мягко опустилась на барсучью мордочку на моем левом плече и нежно ее погладила. Я внимательно смотрел на Нелл. Она кивала, будто что-то узнавая. Я долго молчал и не двигался. Тем временем рука Нелл переместилась на правое плечо и коснулась барсучьего носика. Когда я снова взглянул в ее глаза, страха там почти не было. Пора поднести свечу поближе, подумал я, попросить старуху размотать шаль и откинуть голову, чтобы я мог рассмотреть нарост. Но только я потянулся за свечой, как Нелл заговорила снова.

— Мне это грезилось, — прошептала она. — Мужчина в звериной шкуре. Но не он был моим обвинителем — я обвиняла его.

Я промолчал.

— Я обвиняла, — повторила Нелл.

— В чем ты его обвиняла? — тихо спросил я.

— В том, что он отошел от меня, — сказала она. — Забыл.

— Он что, согрешил?

Нелл утвердительно кивнула.

— Согрешил. Ему долго предстоит падать.

— Ты видела это в своих грезах?

— Да.

— Он утратит благодать Божию?

— Всякую благодать. И погрузится в хаос.

Я молчал. Рука моя все еще тянулась к свече, но я не мог совершить даже этого простого действия, так взволновали меня слова Нелл. Я не мог больше смотреть на ее лицо. Сердце мое колотилось. Руки стали холодными и влажными. Во рту появился горький привкус. Если старуха знает мое будущее, рассуждал я, значит, она и в самом деле связана с дьяволом. Однако понимая, что такие мысли порождены страхом, я сдержался, напомнив себе, что в мире существует множество разновидностей и родов колдовства, из кото-

рых самый ужасный, возможно, страх, а самый вечный — любовь. Конечно, меня испугало предсказание — особенно потому, что совпало с днем моего рождения. Какая-то часть меня стремилась узнать больше — как говорится «самое худшее», другая же трусливо не хотела знать ничего, будучи абсолютно не готовой проявить мужество, если «худшее» действительно будет не из легких. «Погрузиться в хаос — это и в самом деле пугало!

Раздался стук в дверь, снаружи слышались крики, и Сэкпол — я совсем забыл, что и он присутствует в комнате, — торопливо заметил, что пора приступить к осмотру: «Ну же, сэр Роберт!»

И вот, все еще трясущейся рукой я подвинул свечу ближе к Нелл, попросил показать мне отметину и сказать, что она сама о ней думает. «Ведь она *твоя*, Нелл, только ты знаешь, когда она появилась, касался ли кто-нибудь ее и что за жидкость или вещество выделяется оттуда, если, конечно, выделяется».

Нелл молчала и не двигалась. Сейчас, когда лицо старухи было освещено, я видел у нее на щеке изрядное количество крупных родинок или бородавок уродливой формы, из тех, что доставляли страдание несчастному Оливеру Кромвелю, бывшему некоторое время вождем нации и гла-

вой Английской республики.[50] Врачи знают, что подобная зараза, однажды прилипнув к человеку, обладает способностью возобновляться, что часто приводит к массовому появлению подобных наростов, словно они произрастают из спор, как грибы. Пока Нелл не приоткрыла шаль, я думал увидеть нечто в этом роде на ее шее.

Однако когда нарост, располагавшийся под ее ухом, по ходу яремной вены, открылся моим глазам, мне стало ясно, что это не бородавка. Величиной с мелкую монету, он был грязно-бурого цвета и утолщался к центру. Ничего подобного я не видел за все годы, что занимался медициной. Если б кожа не изменила цвета, я, пожалуй, заявил бы, что это остаточный шрам от ожога или свища, но пигментация была слишком сильно выражена, ткань же шрама со временем обесцвечивается. Больше всего уплотнение напоминало маленький сосок — такой можно увидеть на только начинающих расти грудках двенадцатилетних подростков.

Самым решающим в осмотре было пальпирование нароста: предстояло увидеть реакцию старухи и узнать, выделяется ли из него какое-

---

[50] Примечания: 50
Английская республика существовала с 1649 по 1660 г.

либо вещество.

Нелл не двигалась, одна ее рука по-прежнему гладила мех, но я почувствовал, как ее тело пронзила мощная судорога. Дверь сотрясалась от ударов за моей спиной, крики становились все нетерпеливее.

— Ну что? — прошептал Сэкпол. — Каково ваше мнение?

Я не знал, что сказать.

Минуту назад я испытал отвращение, потом страх. Я призывал себя к спокойствию, надо было действовать с решительностью и хладнокровием врача. Сейчас же, зажав между большим и указательным пальцами сосок (или еще что-то, не знаю, как это назвать) и чувствуя сильнейший страх в Нелл, я вдруг испытал прилив глубокой скорби и отчаяния. Я задержался на коленях еще мгновение, глядя на сухую, безжизненную, узловатую руку Мудрой Нелл, — она так и лежала на барсучьей головке. Потом встал и повернулся лицом к темному углу, где Сэкпол дожидался ответа.

— Насколько я могу судить, здесь нет ничего из ряда вон выходящего, — сказал я. — Это всего лишь киста.

Я выскочил из хижины, прорвался сквозь окру-

жение из крестьян, — они хватали меня руками и осыпали ругательствами, — и обратился в бегство.

Не помню точно, что делал дальше. По-видимому, нашел свою лошадь, взобрался на нее и поехал домой, но это только предположение. Первое отчетливое воспоминание — я лежу в горячей воде, рядом Уилл, обративший внимание на красные полосы на моих плечах, словно меня кто-то царапал. «Скверно, сэр, — говорит он. — Очень скверно».

Я готовлюсь к званому вечеру. Мои плечи забинтованы. И в мыслях, и в желудке я ощущаю сильное волнение.

Я спускаюсь вниз и как бы со стороны слышу, как говорю собравшимся музыкантам, что вечер отменяется. Даю им деньги и разрешаю расходиться. Затем зову Уилла, приказываю ему скакать к де Гурлеям и там сказать, что по причине моей болезни музыкальный вечер не состоится.

И тут появляется Селия, она спускается по лестнице. На ней платье из серо-голубой тафты, лиф зашнурован лентами абрикосового цвета. В свежезавитые локоны вплетены ленточки того же очаровательного оттенка.

Я словно окаменел и не могу сдвинуться с места. Она спускается вниз, спускается ко мне, улыбается, и я знаю, что эта улыбка, наконец, предназначается мне, и красоту этой улыбки я чувствую всем своим существом. И вот сейчас, в конце этого тяжелейшего дня, когда мне сказали, что жизнь моя катится под откос, я признаюсь наконец себе **в** том, что знал еще на вечеринке у Бэтхерста: случилось то, чего никак не ожидал король, — я влюбился в свою жену.

Глава двенадцатая
Утопленник

Мне стыдно писать о том, что произошло вечером в день моего рождения, но все же попытаюсь — в надежде, что сам акт письма хоть немного смягчит не оставляющее меня чувство вины и дарует отдых после двух бессонных ночей.

Есть мне не хотелось, и мысль об изысканном ужине, который я заказал для де Гурлея и его семейства, вызывала у меня отвращение. Все, чего я хотел, — это остаться наедине с Селией.

Взяв ее руку (постарался сделать это как можно нежнее и изящнее, но, боюсь, вышло грубовато и властно), я сказал:

— Селия, сегодня ясное небо. Поднимемся на крышу, будем смотреть в телескоп на звезды и пытаться прочесть наше будущее.

Селия запротестовала: на крыше холодно, да и перед гостями неудобно.

— Нет никаких гостей. Никто не придет, — сказал я.

В этот момент в холле появился Финн в малиновом с золотом наряде и белокуром парике. Видя,

что я сжимаю руку Селии, он бросил на меня укоризненный взгляд.

— Можешь снять свой дурацкий костюм, Робин, — сказал я с раздражением. — Вечеринка отменяется.

(Моя ревность к Финну подобна опухоли на печени, она разрастается, и я становлюсь больным и желтым от ревности.)

Итак, я поднимаюсь на крышу, таща за собой Селию. Мы выходим на обледеневшую поверхность. Я поднимаю глаза к небу и вижу бесконечный Космос с множеством миров. Сколько противоречивых законов управляют им, а я, невежда, не знаю даже Первого.

Селия дрожит от холода. Я снимаю камзол (черный, камлотовый, отделанный золотой тесьмой) и накидываю ей на плечи.

Потом приставляю глаз к телескопу. При первом беглом взгляде вижу только лишенную системы звездную россыпь. Затем замечаю, что Юпитер, окруженный свитой из спутников, сегодня особенно ярко выделяется на небе. «Ага, — говорю я, делая вид, что много знаю о планетах и звездах, — *voilà*[51] Юпитер. Необычно

---

[51] Примечания: 51
Вот *(фр.)*

ярок. Великолепно. Хороший знак. Эта царственная планета покровительствует всем земным королям. Он дарит нам с небес улыбку».

Я подвожу Селию к телескопу. Камзол ее греет, но она все-таки дрожит. Это напоминает мне о пережитом сегодня страхе. То, что Селия тоже испытывает страх, приводит меня в отчаяние. Я должен ее успокоить, утешить. И я обнимаю ее. Она не может меня оттолкнуть: мы стоим на самом краю крыши. «Не надо, Меривел!» — кричит она. Но я не могу ее отпустить. Просто не могу. И не Хочу. Я поворачиваю ее лицо к себе. Она старается отвести голову в сторону, как делала Мудрая Нелл, когда я хотел потрогать «сосок». Но к шее Селии тянется не моя рука, а губы. Я целую то самое место, где у ведьмы сосок. Селия борется, кричит, но я не выпускаю ее из объятий. Мне уже мало шелковистой кожи шейки. Мне нужны губы. Я с силой притягиваю голову Селии к себе. Телом чувствую ее груди. В висках у меня стучит, дыхание становится учащенным. Преодолевая сопротивление женщины, я целую ее, как может целовать только любовник.

Она не уступала, ни на секунду не прекращала борьбы, пытаясь вырваться. Но я уже разгорячился, словно юноша, которого распирает желание.

Селия изгибает спину, отрывает губы от моего рта. Я уже не могу ее поцеловать, зато шепчу, задыхаясь, прошу ее не думать больше о короле. «Если сейчас ты ему еще не надоела, это обязательно случится через год. Не знаю, говорил ли я тебе, но король подобен ртути, его нельзя удержать. Он никогда не подарит тебе ребенка, которого ты хочешь, Селия. Никогда! А вот я могу дать тебе ребенка. Роди от меня сына! Ведь я твой муж, и все, что мне надо, это разрешения любить тебя!»

И тут она плюнула мне в лицо. Слюна попала в глаза, и какое-то время я ничего не видел, — впрочем, этого времени хватило на то, чтобы я инстинктивно ослабил объятие, и Селия, спотыкаясь, бросилась, уронив на ходу мой камзол, к чердачному окну, из которого мы выбрались на крышу. Когда я опомнился, она уже влезала в окно и пронзительно кричала — звала на помощь Софию, чертову «юбочницу».

Я еще мог догнать ее и удержать. Мог швырнуть на чердачный пол.

Но ничего этого я не сделал. Я вытер слюну с глаз. И проклял Бога и родителей за то, что они создали меня столь низкой тварью. Я проклял мир, в котором вызывал любовь только у шлюх и блудниц. С силой пнув основание телескопа, я

отбил большой палец.

Я весь продрог, но с крыши не уходил, словно хотел пропитаться ледяным холодом ночи.

Не знаю, в каком часу я прокрался в дом. Закрыл за собой окно. Когда шел по чердаку, ощутил сладковато-приторный запах, очень знакомый, однако так и не вспомнил, откуда он мне известен.

Я немного поспал. Не знаю, сколько времени прошло со дня моего рождения. Кажется, я утратил чувство времени.

Мне снился дьявольский сон. Финн в зеленом нижнем белье прижал к стене мою жену и занялся с ней любовью. Я убил его, всадив в его зад двадцать девять стрел.

Проснувшись, я сразу вспомнил происхождение сладковатого запаха на чердаке, то был залах парика Финна. Значит, он шпион, решил я. Либо по собственной инициативе, либо по приказу короля. Он, конечно же, видел, что происходило на крыше, и теперь обо всем доложит в Уайтхолл, и я буду выглядеть не только глупцом, но и человеком, совершившим страшную ошибку, — такое мнение я и сам разделяю.

И вот я спрашиваю у этого отупевшего от пьян-

ства Меривела: «Как ты дошел до жизни такой? (Ты, который всегда считал, что тихая Селия неинтересна, которому нравились только вульгарные женщины.) Может, все дело в тщеславии? В первую брачную ночь тебя замещал в постели король, ты же забавлялся с деревенской потаскушкой, так, может быть, тогда-то ты и возмечтал вытеснить монарха из сердца Селии?»

Это выше моего понимания. Любовь вошла в меня, как болезнь, вошла так незаметно, что я не заметил ее приближения, не слышал ее шагов. Умом я понимаю всю нелепость этого, и однако любовь сжигает меня, я словно в лихорадке.

Что я должен сделать, чтобы излечиться, кто мне поможет? И слышу доносящийся из Болотного края голос Пирса, слышу характерный для него ответ, он произносит его без колебаний: «Только ты сам, Меривел».

Я сочиняю письмо, в котором приношу свои извинения Селии. Там есть такие слова: «Некоторые события, произошедшие в день моего рождения, так потрясли меня, что мой разум был охвачен внезапным приступом безумия, из-за чего я и совершил в отношении Вас этот ужасный акт агрессии», но дальше дело не идет. Это заставляет меня думать, не являются ли ложь и выдумки,

лежащие в основе всех человеческих рассуждений, главной причиной того непроницаемого безмолвия, какое мы ощущаем в своих черепах.

Я сижу и смотрю на белый лист бумаги. Щекочу губу пером. От беспокойного ерзанья по стулу у меня болит зад и правая нога. Лежащая на бумаге рука замерзла. Нет нужды притворяться — я чувствую себя совсем больным. Возможно, я умираю — такая мысль меня даже радует, ведь она снимает с души груз: значит, я не схожу с ума. Как вы поняли, в мыслях моих царит страшная неразбериха. В довершение всего я поймал в своей щетине вошь, от ее укусов кожа на голове неимоверно зудит. Я велел Уиллу приготовить ванночку для головы с уксусом и гваяколом — я сам изобрел этот рецепт в Кембридже, и потом часто слышал слова благодарности от своих друзей — грязных, вшивых студентов.

Я не хочу встречаться с Селией, пока не напишу и не передам ей покаянное письмо, и потому не выхожу из своей комнаты; сюда мне приносят еду на подносе, как выздоравливающему после тяжкой болезни. О том, что происходит в доме, я не имею ни малейшего понятия и не знаю, носят ли слуги меховые табарды (Уилл не носит), близится ли к концу работа над портретом (возможно, сей-

час Финн пишет залитую солнцем шотландскую горную долину — фон для белокурой головки Селии?) и донес ли Финн на меня королю. Я кожей чувствую опасность, но не знаю, откуда ее ждать. Предо мной часто всплывает лицо колдуньи Нелл. Царапины на плечах заживают медленно.

Сегодня Уилл принес мне письмо. Но в нем нет властных королевских интонаций. Это жалкая, безграмотная писулька от некоего Септимуса Фрейма, матроса торгового флота. Почерк скверный, неровный; кажется, что писалось письмо в сильнейший шторм. Когда мне удалось расшифровать написанное, новости оказались печальными. Вот что я прочел:

Любезный и уважаемый сэр!

Обращаюсь к вам по просьбе вдовы Пьерпойнт, которая сама не искусна в письменности.

Она просит сообщить вам, что ее муж, Джордж Пьерпойнт, паромщик, утоп в эту среду под Лондонским мостом, когда, перегнувшись через борт, хотел схватить треску. Он свалился в воду, и его затянуло в водоворот у опор моста — вот так он и погиб.

Вдова просит меня написать, что помнит вашу доброту, и еще просит напомнить, что ей надобно закупить уголь для утюгов и котлов в ее прачечной, иначе ее ждет нищета и работный дом.

Короче говоря она просит вас прислать ей тридцать шиллингов, за что заранее благодарит, благословляет Вас и называет благородным, и щедрым господином.

Писал скромный слуга нации,

Септимус Фрейм, матрос торгового флота.

Значит, Пьерпойнт утонул! Мудрая река никогда больше не окажется свидетельницей его мошенничества, обмана, не услышит грубой ругани, она погребла его в глубине своих вод. А Рози теперь ужинает хлебом и рубцом в одиночестве…

На какое-то мгновение известие об этой смерти поднимает мне настроение. Я представляю, как юркая рыба скользит в грубых руках Пьерпойнта, как он валится за борт, а барку несет дальше по течению. Я шепчу: «И никакого попечителя не было рядом», хотя сам толком не понимаю, что имею в виду. Я знаю только одно: мне не жаль

Пьерпойнта, я рад, что его нет больше на свете.

В другое время, получив такое известие, я, не задумываясь, помчался бы в Лондон, сунул в жаркую руку Рози требуемую сумму и с радостью занял в ее постели место покойного мужа — не сомневаюсь, мы с ней отменно бы повеселились. Но сейчас я чувствую себя слишком больным, виноватым, смущенным, влюбленным по угли и боюсь нос из дому высунуть. Страсть разрушила меня. Я могу с легкостью представить себе, что слышу в отдалении пальбу с военного корабля. Пора снова вернуться к написанию покаянного письма…

Кажется, я наконец понял, почему мне не дается это письмо. Ведь его нужно закончить обещанием, которое я не могу дать. Я пишу: «Клянусь честью, я никогда больше не позволю против Вашей воли коснуться Вас или говорить о своих чувствах, что, как мне известно, вызывает у Вас глубокое отвращение», однако, продолжая писать, знаю, что в этом я неискренен. Природа моя такова, что при случае у меня могут снова вырваться слова, которые моя жена не хочет слышать. Я уже ощущаю, что они накапливаются у сердца, словно гной. Может, безответная любовь превращает со временем человека в труп? И я

увижу утонувшего Пьерпойнта раньше, чем возлягу на супружеское ложе со своей женой? (Как я презираю себя за эту склонность жаловаться на судьбу.)

Дорогая. Рози, — писал я, хоть и знал, что она не умеет читать, но так хотелось поговорить с другом. — *Прилагаю к обычной болтовне Меривела японский кошелек с тридцатью шиллингами. Кошелек ценный, распоряжайся им по своему усмотрению — хочешь продай, хочешь оставь на память.*

Мне жаль, что Пьерпойнт утонул. Умереть из-за какой-то трески очень прискорбно.

Я непременно поехал бы в Лондон, чтобы утешить тебя, если б не черная меланхолия, в которую я, похоже, впал: дух мой и плоть находятся в таком плачевном состоянии, что я не нахожу в себе силы даже выйти из комнаты. Здесь я и сижу, закутанный в барсучьи шкуры, и гляжу на огромное серое небо. Короче говоря, я уже не прежний Меривел, а унылый, вялый, ни на что не годный человек, который мне

совсем не нравится. Пусть мой прежний облик был нелепым, но с тем человеком было забавно проводить время. Новый же отвратителен. Я просил его уйти и никогда не возвращаться, но он продолжает сидеть, чесаться, ерзать, сморкаться, вздыхать, зевать и писать всякую чепуху. Хотелось бы, чтоб он умер.

Этому человеку — назову его Фогг — недавно приснился сон, в котором Его Величество король спросил его: что есть Первый Закон Космоса? Теперь Фогг в своем усердии мучается этим вопросом. Он не выходит у него из головы, прилип, как моллюск к скале, и ничем его не вскроешь. Однако вчера вечером когда он узнал о смерти Пьерпойнта, что-то стало проясняться. Фогг выдвинул предположение, что Первый Закон Космоса есть всеобщая Разобщенность. Так же, как планета и звезда существуют сами по себе и не связаны с другими планетами и звездами, так и каждый землянин должен оставаться независимым, и одиноким, даже в смерти. Так Пьерпойнт ушел из жизни в полном одиночестве.

В то время как планеты безмятежно вращаются в космосе — их устраивает полная изоляция: ведь любое столкновение с другой планетой разрушит обеих и обратит в пыль, — Фогг, как и многие другие из его расы, считает Разобщенность очень печальным явлением и продолжает, надеяться, что судьба столкнет его с кем-то, с *кем он забудет об этом законе. И все же он понимает всю безрассудность такого столкновения. Оно губительно, ибо нарушает Первый Закон. При таком столкновении Фогга разорвет на части. Он превратится в ядовитый газ, бездушную пыль…*

Как раз на этом неубедительном (и достаточно неясном) месте меня прервали. В комнату вошел Уилл Гейтс, он доложил, что пришел господин де Гурлей и срочно хочет меня видеть.

— Ты только взгляни на меня, — сказал я. — Пока не выздоровею, никого не хочу видеть.

— Он говорит, что принес с собой что-то, от чего вам сразу станет лучше.

— Вот как! — отозвался я. — Не иначе кровь ласточек.

— Простите, сэр?

— Мне хочется побыть одному, Уилл. О многом надо подумать.

— Он настаивает, сэр.

— Поэтому его и не любят. До него не доходит, что в жизни, как и в кадрили, нужно двигаться не только вперед, но и отступать.

Когда я это говорил, мне пришло в голову, что письмо к Селии — как раз тот самый шаг назад, без которого никакой танец невозможен, — разве только Пляски смерти. Уилл все еще настаивал на необходимости принять Дегуласса, а я тем временем отложил письмо к Рози (если эту писульку можно назвать письмом), взял чистый лист бумаги и написал кратко и просто:

> *Дорогая Селия, я глубоко сожалею о своем безнравственном поведении. Умоляю простить меня и впредь продолжать считать своим другом и преданным покровителем.*
>
> ***Р. М.***

Я велю Уиллу привести в мою комнату Дегуласса, а потом передать Селии мою записку.

Сам надеваю парик. Мое волнение понемногу стихает, — это, похоже, становится причиной

внезапного падения температуры. Если раньше я пылал, то теперь ощущаю холод. Лезу за табардой, натягиваю ее и сижу, засунув руки в рукава. Дожидаясь гостя, я задаю себе вопрос, почему я так и не приступил к рисованию русских? Неужели дальше фантазий дело не пойдет?

Дегуласс появился раньше, чем я смог ответить на этот вопрос. При виде его я сразу же перестал испытывать смущение по поводу собственной наружности. Он принадлежит к людям, необыкновенно, невероятно уродливым — об этой уродливости тут же забываешь, стоит ему удалиться, но она поражает с еще большей силой, когда он вновь возникает на горизонте. (Интересно, его жена и дети так же воспринимают его наружность, как мы, и чувствуют большую нежность в его отсутствие?)

Левая щека его мясистого лица с грубыми чертами, уродливого само по себе, обезображена вдобавок язвой, которую он всегда старательно прикрывает рукой. Мне это зрелище доставляет боль. Ведь от этой заразы есть лекарство, думаю я, но никак не могу вспомнить его состав. Впрочем, на этот раз не я, а он исполняет роль медика. Похоже, он искренне озабочен тем, что «со времени той отмененной вечеринки все говорят, что вы

сам не свой». Он ставит предо мной бутыль с зеленоватой жидкостью. «Получил от одного знахаря, шарлатана, каких мало, — объявил он. — Не стоит потраченных трех пенсов!»

— Тогда зачем вы принесли мне это, господин де Гурлей?

— Потому что это самое эффективное лекарство от меланхолии.

— Тогда почему оно не стоит тех небольших денег. что за него запросили?

— Я так сказал? А чему вы поверите больше, сэр Роберт, тому, что лекарство бесценно, или тому, что оно вовсе не имеет цены?

— Ни тому ни другому…

— Очень мудро.

— Пока сам не попробую…

— Вот именно. Значит, вы ничего особенного не ждете? Не принимаете ни одну сторону?

— Да.

— И в равной степени верите как в то, что лекарство бесполезно, так и в то, что оно чудесным образом исцелит вас?

— В исцеление верится меньше.

— Но шанс все же возможен?

— Пожалуй.

— Прекрасно. Обещаете принять лекарство

перед сном?

— Хорошо.

— Вот и отлично.

Де Гурлей сел. Лицо его сияло. Я заметил, что люди имеют привычку улыбаться, если знают что-то, чего не знают другие. Такая улыбка говорит о превосходстве. Это всегда раздражает, но на этот раз меня заинтриговала та игра, какую вел со мной Дегуласс. Мне было интересно, в чем ее смысл, но тут Дегуласс нежно похлопал себя по огромному животу и громко произнес: «Надежда, вот что! Обольстительница разума! Она не покидает нас, *n'est-ce pas»?*

— Возможно, вы правы.

— Конечно, прав. Возьмем вашу вечеринку, которую отменили в последний момент. Слов не хватит, чтобы описать, с каким нетерпением моя жена и дочери ее ждали, сколько надежд возлагали на нее. Это просто не поддается описанию.

— Мне очень жаль…

— Нет, нет… Не извиняйтесь. Никто не обещал моей жене, что на ужине будут присутствовать важные и влиятельные персоны и что с того вечера наш ежегодный доход увеличится на три тысячи ливров. Никто не обещал моим дочерям, что на этой вечеринке они познакомятся с

сыновьями маркизов и юными племянниками принца Руперта. И все же они надеялись! А когда пришло известие, что все отменяется, знаете, что они стали делать, все трое? Залились слезами в три ручья.

— Мне действительно очень жаль, — сказал я, — но ни знатные вельможи, ни родственники Руперта не приняли приглашения.

— Так я и думал. Точнее сказать, я в равной степени верил и не верил в их приезд и потому не позволял себе надеяться.

— Беру на себя смелость утверждать, что это очень мудро.

— Совершенно верно. А теперь готовы ли вы сообщить мне по секрету, что с вами случилось, если вы расположены сделать такое признание? С одной стороны, во мне нет и капли мудрости, но, с другой, моя мать убеждена, что во всем Норфолке нет человека умнее.

Дегуласс от души рассмеялся. Смеха я не слышал много дней, и меня поразило его звучание в закрытой комнате, — похоже на эхо или на звуки, идущие из-под воды. Смех смолк, в комнате воцарилось молчание, и тут взгляд мой остановился на воспаленной, покрытой струпьями щеке де Гурлея. Неожиданно я вспомнил состав средства

от псориаза и сказал:

— Увы, я не знаю, что приключилось со мной, и потому мне нечего вам сказать. Однако я знаю, как излечить язву на вашем лице.

— Не говорите, что знаете! — воскликнул Дегуласс. — Скажите, что знаете и в то же время не знаете.

— Хорошо. Есть два средства. Возможно, помогут оба, но не исключено, что не поможет ни одно. Первое — слегка подслащенный сок подорожника; второе — поссет из патоки. Они либо исцелят, либо не исцелят вас.

Де Гурлей поблагодарил меня и снова рассмеялся; было видно, что ему хочется, чтобы я к нему присоединился. Но я не мог смеяться. Он полагал, что его игра говорит об уме и мудрости, но я видел, что в конечном счете все оборачивается глупостью. Его игра была не чем иным, как самообманом: жонглируя утверждениями и отрицаниями, он хотел уберечь себя от разочарований, но он, как любой человек, тоже многого ждал от жизни. Чем, как не проявлением надежды, была частичка «де» перед его фамилией?

Уже стемнело, когда де Гурлей ушел от меня. Я подложил дров в камин, но холод все равно пронизывал до костей. Только горячая ванна согреет

меня, решил я.

Я позвал Уилла. Он сказал, что передал мою записку Селии.

— Как чувствует себя моя жена? — спросил я.

— Ее ничто не радует. Ждет с нетерпением возвращения господина Финна, чтобы тот поскорее закончил портрет.

— Финн уехал?

— Да, сэр. На следующий день после не состоявшейся вечеринки. Хвастался, что у него дела в Уайтхолле.

Выходит, я не ошибся. Финна определили (или он сам себя определил) ко мне в шпионы.

Сидя в кадке (голова моя все время падала на грудь, что создавало некоторое неудобство, и я решил смастерить что-нибудь, удерживающее подбородок в определенном положении, — мне казалось, нечто подобное должно быть у жителей реки Мар), я пытался сообразить, как может отразиться на моей судьбе шпионство Финна. Зная короля и его полную власть над подданными, я был готов держать пари, что его позабавит моя безрассудная любовь к Селии. «Ах, Меривел… — так и слышался мне его голос, — какой же ты неловкий Ромео! Драться с Джульеттой на балконе! На будущее — помни свою роль. Ты Парис».

Тут я улыбнулся. Мне так хорошо запомнились интонации королевского голоса, что, казалось, он находится здесь же, в этой комнате, невидимый за идущим от воды паром.

Я закрыл глаза. Уилл поливал меня из ковша, лил горячую воду на плечи и живот, но меня снова охватил озноб, предвещавший лихорадку. «Принеси еще воды, Уилл, — потребовал я, — и нагрей погорячее».

— Но она и так чуть ли не кипяток, сэр. Вы сваритесь.

— Не спорь. Поди согрей еще воды. Я умираю от холода.

Он ушел, а я остался сидеть в кадке. За окном пронзительно кричал козодой. Я вспомнил, как Нелл напророчила мое падение. Вспомнил, что Пьерпойнт тоже упал с барки. Вспомнил и Рози — она сидела одна в прачечной и ждала, когда ей в руки упадут тридцать шиллингов.

Глава тринадцатая
Королевский теннис

Я помню, как Уилл вытащил меня, мокрого и дрожащего, из воды. Вытер насухо, натянул через голову чистую ночную рубашку и уложил в постель; я же приказал дополнительно укрыть меня мехами, — от барсучьих шкур пахло землей.

Я зарылся в меха. И ушел в сон. Проснувшись посреди ночи, я понял, что тяжело болен: лоб и затылок отчаянно ломило, ничего подобного я раньше не испытывал и потому подумал, не смертные ли это муки?

Меня обильно вырвало. Звуки рвоты разбудили Уилла, — он постелил себе на полу в моей комнате. Уилл вынес таз с блевотиной и принес воды.

— Сэр, — сказал он, поднося чашку к моим губам, — у вас на лице красная сыпь.

Я откинулся на подушку; от невыносимой боли в голове я скулил, как Изабелла, спаниель Селии, когда никто не обращал на нее внимания. Уилл поднес зеркало к моему лицу. Я покосился на свое отражение. Зрелище было ужасным — такого долго не забудешь. Я заболел корью.

Не буду описывать все страдания, что перенес я во время болезни. Достаточно сказать, что боль не отпускала меня несколько дней, чуть стихая после частых приемов настойки опия, которую я сам себе прописал. Однако настойка повергала мой разум в расстройство: я не узнавал ни своей комнаты, ни Уилла; мне казалось, что я нахожусь в Уайтхолле, или в мастерской родителей, или в жалкой хижине Нелл, или в лодке.

Когда боль наконец ослабела, и я лежал, уже не испуская стоны, то почувствовал, что погружаюсь в сон, такой глубокий, словно то были объятия смерти. Я спал тогда по пятнадцать-шестнадцать часов кряду, а проснувшись, всякий раз видел у своей кровати Уилла или Кэттлбери с чашкой бульона — и пытался пить бульон маленькими глотками. Потом с трудом мочился в ночной горшок и снова забирался в постель, где почти сразу же меня обволакивал бархатный сон. Как-то мне пришло в голову, что мой сон сродни не столько смерти, сколько пребыванию в материнской утробе, и глупо размечтался: вдруг на этот раз появлюсь на свет в более красивом и достойном обличье.

Но так, конечно, не получилось. «Возродился» я спустя две недели, слабый, как воробушек, весь в

отвратительных корочках вроде струпьев. Я сел в постели и увидел Уилла, тот сидел в табарде на стуле. «Спасибо тебе, Уилл, — сказал я. — И за твою заботу обо мне тоже. Без тебя я бы пропал».

— Вам сейчас лучше, сэр?

— Вроде да. Хотя чувствую себя слабым и опустошенным…

— А есть у вас силы выслушать новости?

— Новости?

— Да. О домочадцах.

— То есть о тебе, Кэттлбери и прочих слугах?

— Нет, сэр. О вашей жене, ее горничной, мистере Финне и учителе музыки. Они все уехали. В Лондон.

— Селия уехала?

— Да, сэр Роберт. И увезла с собой все платья, веера и тому подобное.

— Но портрет…

— Закончен. В тот же день король прислал за ними экипаж, они сели в него и были таковы.

Я снова откинулся на подушки. Мой взгляд остановился на бирюзовом балдахине. «Всему конец, — услышал я свой голос. — Больше она сюда не вернется. Какое сегодня число, Уилл?»

— Сейчас февраль, сэр. Двадцать второе.

Спустя неделю, когда я сидел у камина и рас-

сеянно смотрел на огонь, Уилл принес письмо. Как я и думал, оно было от короля. Написал его, правда, не король, а один из его секретарей, и содержало оно следующий приказ:

Его Величество Карл II, господин английских земель, повелевает:

Сэру Роберту Меривелу надлежит явиться в Уайтхолл не позднее чем на четвертый день после получения этого официального письма.

Писал

сэр Дж. Бэббеком, секретарь.

— Что ж, сказал я Уиллу, принесшему это послание, — Финн сделал свое черное дело.

— Простите, сэр?

— Да нет, ничего. Король приказывает мне ехать в Лондон, Уилл. Но не для того, чтобы осыпать своими милостями.

— Но вы еще слишком слабы для поездки, сэр.

— Ничего не поделаешь, Уилл. Поеду не верхом, а в карете. Ты согласишься сопровождать меня?

— Охотно, сэр Роберт.

— Значит, выезжаем завтра на рассвете. Приготовь мой черный с золотом камзол и шитые золотом штаны.

— Хорошо, сэр.

— И упакуй табарду, сшитую для жены. Преподнесем ее в дар королю. Хотя, опасаюсь…

— Чего, сэр?

— Что такого подношения недостаточно.

Не буду останавливаться на перипетиях нашего путешествия, скажу только, что, когда Уилл увидел наконец впереди Тауэр и башни Лондона, он пришел в неподдельный восторг и по-детски радовался тому, что после тридцати девяти лет жизни в Норфолке воочию увидит все эти чудеса. А когда до его норфолкской башки дошло, что у него есть реальная возможность увидеть самого короля, он даже пустил слезу, чем за пять минут доставил мне больше удовольствия, чем я испытал за все последние недели. (Живя в Биднолде, я очень привязался к Уиллу Гейтсу. Если б нам вдруг пришлось расстаться, я часто вспоминал бы его.)

В пути мы дважды останавливались на ночлег и в Уайтхолл прибыли утром третьего дня. Все это время мы путешествовали в табардах, и только на последней стоянке в Эссексе я надел черный с позолотой костюм и наложил на лицо слой пудры — моя кожа, вся в корочках после кори, выглядела отвратительно. Не хотелось, чтобы

король подумал, что я страдаю золотухой.

В сопровождении Уилла (он был великолепен в бежевом камзоле и серых чулках) я в очередной раз ступил в Каменную галерею, где однажды был так потрясен близостью Его Величества, что разом похоронил надежды отца на мое будущее. Так же, как и тогда, в галерее стоял гвалт, люди перемещались в обоих направлениях; я знал, что большинство из них — просители, ищущие поддержки и помощи, их отправят домой ни с чем, но завтра и послезавтра они придут снова.

Я назвал свое имя страже у королевских апартаментов — меня попросили подождать. Прошел час, все это время я стоял на ногах и страшно устал, в какой-то момент мне даже показалось, что я сейчас упаду. Уилл, поддерживая меня за локоть, подвел к колонне, чтобы я мог прислониться. Я видел, как он, разинув рот от изумления, провожает взглядом некоторых придворных и их дам. Даже на моем крокетном поле не видел он таких великолепных перьев и пряжек, даже за моим обеденным столом не видел дам в таких роскошных туалетах. «Готов поручиться, сэр, — прошептал он, — у этих господ денег еще больше, чем у вас».

— Ты прав, Уилл, — ответил я. — Гораздо боль-

ше.

Наконец явился посыльный и сообщил, что мне надлежит прибыть во дворец в час дня и сразу же идти на второй королевский теннисный корт (любимый корт короля), там Его Величество соблаговолит меня принять. Я в смятении смотрел на посыльного и уже собрался просить, чтобы он сказал королю о моей недавней болезни, после которой я так ослабел, что не могу без посторонней помощи ходить по галерее, не говоря уж о том, чтобы играть в теннис, но тот бесцеремонно отвернулся от меня и пошел прочь, — мне же не хотелось выставлять себя дураком и кричать вслед. Я пожал плечами. «Остается только пойти и съесть хороший кусок мяса — может, это придаст мне сил», — сказал я Уиллу.

В полдень мы сидели в таверне «У кабана» на Боу-стрит. Я заказал Уиллу устриц и пирог с голубями, а себе — кусок мяса с мозговой косточкой, поджаренный на углях, и крепкого портера — испытанное сочетание для поднятия сил. Мы выпили немного пива, Уилл обсасывал устрицы, жадно поглощал пирог, я же с трудом проглотил два кусочка мяса — у меня пропал аппетит: Уилл воздал должное и моему мясу, я же тем временем извлек из кармана часы и ждал, когда стрелка

достигнет нужного места.

— Я близок к смерти, Уилл, — сказал я неожиданно. — Печенками это чувствую. Сегодня я умру.

Уилл утер рот мятой салфеткой.

— От чего, сэр?

— Еще не знаю.

Думаю, теперь вы знаете меня достаточно хорошо. И нет нужды напоминать, как мучительно и одновременно чудесно для меня находиться в присутствии короля. Лицо мое покрылось нездоровым румянцем, радостное возбуждение охватило все мое существо, это совмещалось с пронзительно острым и печальным желанием повернуть вспять время (время, которому король уделяет столько внимания) и стать снова тем. кем я был раньше — Меривелом-шутом.

Моя любовь к Селии (в силу того, что любовь по своей природе — собственническое чувство) могла ослабить желание видеть короля, ее любовника, однако этого не произошло, и когда он вошел в пустой, уединенный корт, меня прошиб холодный пот подобострастия и страха.

Короля сопровождали два постельничих, один нес особые туфли, в которых король любил играть в теннис, другой — две теннисные ракетки;

деревянная ручка королевской ракетки была украшена алой лентой. Хотя я испуганно забился в самое темное местечко — под навес боковых дверей, король сразу же меня заметил. Те, кого король вначале обласкал, а потом обдал холодом равнодушия, рассказывали, что его настроение можно распознать с первого взгляда — он никогда не лицемерит. Даже перед парламентом (по отношению к которому, как считают некоторые, ему стоит проявлять больше такта) он не может скрыть частого недовольства его работой.

Уилла я оставил за дверями корта, а сам стоял, держа в руках подарок — меховую табарду, красиво упакованную в желтую ткань. Не выпуская свертка из рук, я низко поклонился — при этом мои тазобедренные суставы хрустнули, как у глубокого старца. Я поднял глаза. Король — он, похоже, стал еще выше со времени нашей последней встречи — сурово взирал на меня сверху вниз, такой взгляд был у Фабрициуса, когда тот смотрел на нерадивых немецких студентов. Я предчувствовал, что король недоволен мной, но не представлял, до какой степени его недовольство может на меня подействовать. Меня пошатывало. Я оперся на колонну. Только бы не упасть!

— Что с тобой, Меривел? — спросил король.

— Я был болен, сир.

— Да, ты выглядишь больным. Но меня это не удивляет. Если человек нарушает установленный порядок вещей, сначала страдает его разум, потом — тело.

Я не знал, что ответить, поэтому просто кивнул и протянул подарок.

— Что это? — спросил король, с некоторой неприязнью глядя на пухлый сверток.

— Подарок, сир. Мое собственное изобретение. Согревает холодной зимой.

— Но мы на пороге весны, Меривел. Разве ты не заметил?

— Не заметил. Я долго не покидал свою комнату.

— Ладно уж. Покажи, что у тебя там.

Я неловко и суетливо развернул сверток, извлек на свет табарду и приложил к себе — так всегда делала «юбочница», когда демонстрировала платья госпоже.

— Ха-ха! — Король громко расхохотался при виде сшитых барсучьих шкурок. Постельничие тоже загоготали. Я уже собрался, подобно назойливому уличному торговцу, расхваливать перед королем достоинства табарды — она удобна,

не сковывает движений, сохраняет жизненное тепло, поступающее к легким и почкам, но вдруг понял, что мне стыдно за свое детище, главным недостатком которого было полное отсутствие элегантности.

— И это можно *носить?* — удивился король.

— Да, сир. Все мои слуги их носят и благодаря этому не простужаются.

— А как же ты?

— Мне просто не повезло: я подхватил корь.

— Как это похоже на тебя, Меривел. Кожа у тебя и сейчас шелушится.

— Я знаю, сир.

— Тебе не нужны меха, Меривел, и мне тоже, — если можно согреться другим способом. Физические упражнения полезнее для здоровья, чем барсучьи меха. Так что вперед. Сыграем партию в теннис. Помнится, ты всегда был в этой игре более искусен, чем в играх сердечных. Возможно, и сейчас это так. Если ты еще не совсем разложился.

Король отвернулся и стал надевать спортивные туфли. Я повесил табарду у боковой двери — ясно, что королю она не нужна. Барсучьи мордочки печально свисали. А я в изумлении задал себе вопрос: в каком мозгу безумном могла родиться

идея такой странной одежды? Только сумасшедший мог предложить в подарок королю такую эксцентричную вещь. Меривел, сказал я себе, стаскивая черный с золотом камзол, ты теряешь рассудок…

Мне сунули в руку ракетку. Я судорожно собирался с силами, чтобы вновь обрести то умение, которое когда-то демонстрировал в этой быстрой игре, и вдруг вспомнил, что моим коронным приемом был низкий резаный удар, который соперник не мог отбить ни с лету, ни после первого отскока, — так я начинал «охоту». Кто знаком с правилами игры в Королевский теннис, знает, что в «охоте» можно выиграть или, напротив, проиграть много очков, и Его Величество, несмотря на мощный удар, превосходящий по силе удары почти всех его противников, часто не отбивал именно такие резаные мячи. Сила короля — в его меткости. В каждом сете он набирает очки, направляя мяч в дальние углы корта, которые зовутся «победными зонами». Придворные игроки прозвали его Звонарем из-за тех звоночков, которые раздаются каждый раз, когда мяч попадает в одну из таких зон.

Итак, мы начали игру при тусклом февральском свете. Король, разумеется, занял место на

подаче. Я обратил внимание, что сетка стала гораздо красивее, — раньше то была обычная бечева, теперь же с роскошной шнуровки даже свисали кисточки.

Не успел один из постельничих занять место маркера, как король уже продемонстрировал великолепную подачу, — мяч просвистел рядом со мной, словно птица, а не тряпка, набитая щетиной.

Как я помнил, Его Величество любил выигрывать в теннис, но не любил легких побед. Ему нравилась борьба. Нравилось, чтобы соперник бегал по площадке, не щадя себя, и не сдавался без боя. Поэтому я постарался выбросить из головы все мысли о болезни, был проворен, как ящерица, поспешно бросался вперед и быстро отбегал, охотясь за каждым мячом. К сожалению, сказалось отсутствие практики — играл я неряшливо, бессистемно, один из моих мячей послал точно на вышку маркера и угодил одному из джентльменов в глаз, другой вообще вылетел за пределы корта, приземлившись где-то у ног Уилла Гейтса, который сидел, переваривая мясо, и ждал, когда сможет наконец лицезреть своего монарха.

Короче говоря, играл я из рук вон плохо. Мы провели всего три гейма, когда я почувствовал

сильнейший приступ тошноты, мой рот внезапно наполнился желчью. Я нарочно уронил ракетку; чтобы иметь возможность хоть на мгновение опуститься на колени и поднять ее. Я сделал несколько глубоких вдохов. Тут хлопнула дверь, и я вдруг подумал, не Селия ли это пришла взглянуть на игру и приветствовать нежной улыбкой несомненную победу короля.

Но то была не Селия. Лакей принес нам лимонный сок и сахар. «Лимоны из Португалии в феврале! — сказал король. — Их выращивают в парнике специально для нашей дорогой королевы». Так что мне была дарована небольшая передышка, дарована благодаря мягкой и доброй женщине, о которой король так часто забывал. Никак не думал, что она каким-то образом всплывет в моей истории, и все-таки именно она спасла меня, и мой скудный обед не излился на камни теннисного корта.

Четвертый гейм я, к своей радости, выиграл. Подавал я с левой стороны площадки; подача непонятно почему удалась — так же, как и три резаных мяча, которые король ловко отбивал, но в конце концов послал мяч в сетку. Однако в следующих трех геймах силы мои катастрофически убывали. По лицу стекал пот, размывая пудру и

открывая уродливые последствия кори. Я уже не бегал, а ковылял по площадке. Король осыпал меня своими коронными мячами, посылая их в «победные зоны». Колокольчик звенел, не переставая. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, подумал я. Он звонит по тебе, Меривел. Джон Донн[52] был любимым поэтом Пирса — я вспомнил своего друга и мысленно попросил его о помощи: пошли мне сил, Пирс, выдержать то, что еще предстоит.

— Как я и предвидел, ты утратил быстроту, — сказал король в конце сета.

— Да, сир… — пробормотал я.

— Ты еле двигаешься. А в этой игре нужна мгновенная реакция.

Я проследовал за королем в сад, где оставил Уилла и где тот по-прежнему стоят в своих серых чулках. Король шел быстрым шагом, мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отстать от него, так что у меня не было никакой возможности просить его обратить — пусть мимолетный — царственный взгляд на моего верного слугу. Впрочем, я не мог забивать свою голову мыслями

---

[52] Примечания: 52

Донн, Джон (1572–1631) — английский поэт; с 1621 — настоятель собора Св. Павла в Лондоне. «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол» — строки из его поэзии.

об Уилле: поражение в теннисе было только началом предстоящих испытаний.

Мы пришли в небольшой летний домик, вроде того, где герр Хюммель тайно давал мне уроки игры на гобое. Дом был чисто убран, но зимняя прохлада клонящегося к вечеру дня давала о себе знать. Я надел черный с золотом камзол. Король высморкался и повернулся ко мне. Он стоял ко мне так близко, что я видел даже морщинки в уголках его глаз и губ. Мне показалось, что со времени нашей последней встречи в лаборатории он постарел, и это наблюдение огорчило меня: хотелось верить, что в нашем постоянно меняющемся мире существует человек, над которым время не властно.

— Выходит, — заговорил он наконец, — ты играешь не по правилам, Меривел.

— В теннис, сир?

— Нет, не в теннис. В отношениях с твоей женой.

Я опустил глаза. На моей туфле была кровь — непонятно, откуда она могла взяться.

— Не понимаю, какое правило я нарушил, сир, — тихо сказал я.

— Это меня удивляет. Ты знаешь, почему тебя выбрали в мужья Селии?

— Вы не сомневались, что я сделаю все, чего вы захотите.

— Но таких людей полно в королевстве. Нет, причина не в этом. А в том, что в начале нашего знакомства ты рассказал мне, как видел в Кембридже открытое живое сердце, и сказал, что *уверен* в том, что твое сердце абсолютно ничего не чувствует. Я тебе поверил. А теперь вижу — зря: это оказалось неправдой.

Воцарилось долгое молчание. Когда один из хранящих молчание — король, тишина пугает; меня бросало в жар, сознание мутилось.

— Тебя не просили влюбляться, Меривел, — заговорил наконец король. — Более того, именно это тебе запретили. Но ты так размяк, стал неженкой и глупцом до такой степени, что не понял одного: нарушив договор, ты, подобно Адаму, изгоняешься из рая.

— Из рая?

— Да. Кто ты теперь? Роль мужа Селии ты играть больше не можешь: после всего случившегося она не в состоянии тебя видеть. Пытаясь *стать* тем, кем должен был всего лишь притворяться, ты стал ненужным.

Я смотрел в сад — он постепенно погружался в сумерки. У каменной скамьи я еще различал фи-

гуру Уилла. Скоро, когда тьма окутает все вокруг, он не будет знать, куда идти.

— Я не хотел… — залепетал я, — …не хотел влюбляться в Селию. Сначала мне понравился ее голос, ее пение. Я не понимаю, как эта любовь переросла в другую. Не понимаю — как.

— Это случилось, потому что ты *позволил* этому случиться, Меривел. Ты мало трудился, у тебя было много праздного времени. Ты замечтался. Решил, что сможешь *переродиться. Voilà tout.*[53] И теперь ты мне больше не нужен.

Король отвел глаза в сторону, и на какое-то мгновение я решил» что последние слова подразумевали, что я должен откланяться и уйти. Но нет. Король еще не сказал последнего слова.

— К счастью, Меривел, — продолжал он, — я испытываю к тебе достаточную привязанность и хочу вновь видеть тебя человеком, приносящим пользу, — пусть не мне, но другим людям. Однако, судя по твоему виду, боюсь, для этого потребуется время. Но мы должны постараться, разве не так?

— Да, сир.

— Хорошо. Теперь послушай, что я решил. На настоящий момент я доволен тем, как устроена

---

[53] Примечания: 53
Вот и все *(фр.)*.

моя жизнь. Селия вернулась и, похоже, набралась мудрости — возможно, от тебя, хотя я сомневаюсь, да и она это отрицает. Во всяком случае, она возвращается в Кью, и я счастлив, что она будет там жить. Но не во всем мне так везет. Мне кажется, что «медовый месяц» моего правления закончился.

Король опять слегка отвел голову в сторону. Теперь я видел его профиль и в очередной раз поразился красоте этого длинного изящного носа, типичного для всех Стюартов и столь отличающегося от моего. Я уже приготовился сказать, что народ никогда не перестанет его любить, но король опередил меня.

— Мне не хватает денег, — сказал он. — Мы ввязались в торговую войну с голландцами, а у меня нет средств снарядить флот. Бедность унижает, Меривел, это положение надо исправить. Я был слишком щедр, слишком расточителен, — дарил земли, поместья. Теперь наступило время расплаты. Пришло время заняться арифметикой.

Вот так король подошел к тому, что назвал «арифметикой»: он отбирал у меня Биднолд.

Он вновь «вступал во владение» имением — как «вступал во владение» Селией. Ведь ни Биднолд, ни Селия изначально мне не принадле-

жали. Все, что у меня было, я получил от короля, и теперь он забирал это обратно. Некий французский дворянин был готов купить дом, землю, мебель и все остальное; на вырученные деньги предполагалось купить пеньку, смолу, парусину и снаряжение. Таким образом, Биднолд вновь «становился полезным». Согласно арифметике короля, земля преображалась в корабли, которым предстояло участвовать в войне.

А как же я? Боже, как мне снова стать полезным? Теперь, когда я лишился всего, только медицина могла прокормить меня. Я должен, наконец, очнуться от спячки, о которой говорил король. Никогда больше не проводить мне в мечтах время под норфолкским небом — собственно, уже с этого вечера, — а из имущества у меня остается только лошадь и хирургические инструменты — подарки, преподнесенные королем не из соображений практической выгоды, а по велению сердца.

Подкрадывалась *чума.* Как мне однажды напомнили, чума не только выводит людей из сна, но и лечит от забывчивости. Они вспоминают о существовании Смерти. Я тоже вспоминаю, что Жизнь коротка, что Смерть настигает нас с той же неизбежностью, с какой сумерки сейчас оку-

тывают летний домик. За этим приходит новое воспоминание — медицина. «Так что, Меривел, ты перестанешь мечтать и опять займешься *делом.* Станешь приносить пользу».

Думаю, король улыбался, глядя на меня. Он, несомненно, считал, что поступает умно и правильно, отбирая у меня Биднолд: можно сказать, убивал сразу двух зайцев — делал из меня вновь «полезного члена общества» и выручал некоторое количество денег на свои нужды. Король не мог даже вообразить, в какое ужасное состояние привела меня суровость его наказания, — я был просто убит. С того момента, когда я догадался, что Финн шпионит за мной, сомнений не было: мое обращение с Селией уничтожит последние теплые чувства ко мне, сохранившиеся у короля. Но я и представить себе не мог, что у меня отберут Биднолд. Я верил, что Биднолд — навсегда мой. Иногда я представлял, как буду в нем стариться, — возможно, вместе с Вайолет, если Бэтхерст вдруг окочурится от приступа эпилепсии, — а потом упокоюсь на местном кладбище. Теперь, когда терял его, терял вместе с Уиллом Гейтсом и Кэттлбери, ковром из Чанчжоу, бирюзовой кроватью и всем остальным, мне открылась вся глубина моей привязанности к этому месту. Дом

стал *моим.* В каждой комнате я видел частицу себя. Биднолд был препарированным Меривелом. Из яркого и шумного живота вы поднимались в мое сердце, — оно, хоть и жаждало разнообразия, хранило также и тайны, — потом в мозг — небольшое, симпатичное местечко, несколько пустоватое, но иногда и в нем вспыхивал свет. Возвращая себе дом, король лишал меня моей сущности.

До сих пор я всегда был покорен своему господину, беспрекословно, не торгуясь, выполнял все его приказы. Но сейчас, предвидя весь ужас своего бездомного существования, я решил молить короля о снисхождении. Я опустился на каменный пол и молитвенно сложил руки.

— Сир, молю вас, позвольте мне остаться в Биднолде. Не думайте, что я там бездельничаю. Я открыл в себе новое призвание — художника. Еще учусь играть на гобое, пытаюсь понять смысл движения светил на небе и недавно возложил на себя новую обязанность — стал приходским попечителем по призрению бедняков.

Король встал. А я в очередной раз восхитился красотой и изяществом его ног, перед которыми стоял на коленях.

— Попечителем? — переспросил король. —

Вижу, тебе нравится это слово. Ты и Селии так представился. Но попечитель должен быть справедливым, беспристрастным и доброжелательным, ты же таким с ней не был. Что ж, ты и с приходскими бедняками будешь обходиться так же жестоко, как с Селией?

— Нет, сир. У меня не хватает слов, чтобы выразить, как я сожалею о своем поступке. Я *полюбил* ее, и в этом была моя ошибка. А бедняков я не люблю — просто жалею.

— И что же ты делаешь для тех, кого жалеешь?

— Стараюсь больше узнать о них, сир: где они живут, чем занимаются — они собирают хворост, я знаю, выполняют и другие, столь же жалкие работы, еще работают на ткацких фабриках в Норвиче…

— И как это может им помочь?

— Пока я еще не начал помогать, мой господин…

— Однако до нашей встречи ты помогал беднякам. Когда работал в больнице Св. Фомы, ты помогал им, используя то единственное знание, которым обладаешь.

— Теперь я его утратил. Я *не могу* заниматься медициной.

— Почему?

— *Не могу…*

— Почему, Меривел?

— Я боюсь!

Король, до этого меривший шагами комнату, остановился и грозно заговорил, предостерегающе подняв палец в перчатке, пошитой моим отцом.

— Вот именно! — подтвердил он. — Не думай, что я этого не знал! Но времена сейчас суровые, боязливые люди не выживут. Слабые погибнут. Погибнешь и ты, если останешься *прежним.*

— Позвольте напомнить, сир, что это вы забрали меня из больницы Св. Фомы и поручили лечение королевских собак. Вам нравилось мое легкомыслие и веселость…

— И твое умение. Тогда в тебе было два начала — свет и тьма, пустота и глубина. А теперь твое мастерство ушло, и осталась одна глупость.

Мои мольбы не помогли. Король принял решение. Я хотел было пасть ниц, распластаться на полу перед ним, но вовремя вспомнил, что короля такие вещи не трогают, а раздражают. К тому же он не испытывал сострадания к людям, лишенным собственности, он сам в свое время потерял все и Реставрации ждал долгие годы.

Что мне оставалось? Только смириться с судь-

бой, и хотя решение короля представлялось мне жестоким и несправедливым, я старался выглядеть внешне спокойным и держаться с достоинством.

Король направился к выходу, но перед тем, как покинуть летний домик, задержался на пороге и сказал, что я могу остаться в Биднолде еще на неделю, чтобы «собрать пожитки. Ключи я должен оставить сэру Джеймсу Бэббекому, который выступит в этом деле посредником. Итак, *au revoir,*[54] Меривел. Я не говорю *adieu*[55] — кто знает, может быть, в будущем История уготовила тебе еще одну роль?»

Сказав это, он удалился. Я видел, как, стоило королю выйти из домика, к нему со всех сторон поспешили слуги с фонарями, чтобы осветить путь. Все это время они стояли и ждали, когда он распрощается со мной.

---

[54] Примечания: 54
До свидания *(фр.).*

[55] Примечания: 55
Прощай *(фр.).*

Глава четырнадцатая
«Не как серебро...»

Прошло несколько дней. Я живу в Бате. Остановился в гостинице «Рыжий лев». Я приехал сюда в надежде, что серные источники смоют отчаяние с моей души. Хозяйка имеет привычку петь, вытрясая матрасы и опоражнивая горшки. Я ловлю себя на том, что прислушиваюсь, нет ли поблизости аккомпаниатора.

В Биднолд я не вернулся и не вернусь. Слугам я послал письма, в которых просил у них прощения за постигшее меня несчастье, ставшее и их несчастьем тоже. Я просил, чтобы один из конюхов нагрузил Плясунью, как вьючную лошадь, моими личными вещами и потихоньку перегнал бы ее в Лондон. Помнится, прежде я подсмеивался над «горящими углями» Пирса, теперь я владею немногим больше, чем он. Если Плясунья оступится, угодит изящной ножкой в рытвину и сломает себе чего-нибудь, мне тоже придется купить вредного кусачего мула.

Мне часто снится Уилл Гейтс. В моих снах он плачет. Его смуглая беличья мордочка расплюще-

на. Он похож на рождающегося в муках ребенка. Кулачками он пытается утереть слезы. Потом забирается в мою карету, садится рядом с кучером и уезжает.

Уилл Гейтс. Я очень люблю тебя, Уилл.

В тот вечер, расставшись с Уиллом, я заторопился прочь от Уайтхолла, двигаясь в восточном направлении, как будто пытался нагнать карету. Зимой темнеет рано, на улицах не видно ни зги, и я вскоре заблудился. Я проходил одну узкую улицу за другой — и вдруг увидел впереди огромные очертания Тауэра. Я совсем не стремился сюда, но сейчас в моем расстроенном сознании он возник как возможное пристанище. Охране я сказал, что король приказал мне осмотреть сидящих здесь на цепи львов и леопардов, и меня пропустили.

Я знал путь в подземелье, где содержались животные. Вынув из железного кольца факел, я последовал за собственной тенью вниз, в сырое подземелье Тауэра, где даже в разгар лета ни один луч не падает на серый камень и где, по слухам разгуливают призраки почивших английских королей в сопровождении сотен прижизненных врагов и, сами того не желая, устраивают настоящее представление. Там я увидел львов, носящих имена королей — Генриха, Эдуарда, Карла, Якова,

они ходили по кругу, задние лапы у них совсем исхудали, когда-то пышные гривы спутались и запаршивели. И вот именно в этот момент, когда я их увидел — и не раньше (когда покидал королевский сад или прощался с Уиллом и кучером), — я осознал весь ужас моего падения.

Некоторое время я стоял не двигаясь. Следил за львами, но они не обращали на меня ни малейшего внимания и даже не зарычали на огонь. Лучше бы мне быть одним из вас и жить в этом загоне, чем оставаться Меривелом, подумал я. Вы ведь не помните Африку и свет солнца, не помните свое прошлое. Поэтому я предпочел бы быть одним из вас.

Когда я добрел до дверей Рози Пьерпойнт, была уже глубокая ночь, на улицах стояла тишина, изредка нарушаемая пьяными криками. Я постучал, и этот стук прозвучал для меня, как эхо. Стоя у дверей, я вспомнил о японском кошельке, тридцати шиллингах и неоконченном письме, которое так и не послал.

Кутаясь в шаль, она открыла дверь, в ее глазах был испуг. Красавица Рози. С ней я впервые познал радость забвения.

Но вот она заулыбалась.

— Сэр Роберт, — сказала она, — где ваш парик?

Я его потерял. Похоже на то. Не помню, чтобы его снимал.

Я проснулся, когда поднялась Рози — при первых лучах солнца. И тут меня осенило: у бедняков совсем другой распорядок дня. У них нет возможности продлевать день при помощи искусственного освещения — свечи и масло слишком дороги.

Я лежал на низкой кровати и незаметно наблюдал за Рози. Она налила в тазик холодной воды, взяла несколько тряпок и стала мыться — она вымыла лицо, груди, живот, интимные места, под коленками. Это тайное приведение себя в порядок в полутемной комнате чрезвычайно растрогало меня. Мне захотелось хоть чем-то помочь ей (ночью от меня в постели толку не было), поэтому я встал, натянул чулки, рубашку и пошел в прачечную. Там я развел огонь в печи, подбросил свежего угля — с последней задачей я справился весьма скверно, рассыпал уголь по всему полу так что потом пришлось собирать его по кусочкам руками. Тут я вспомнил то, что хорошо знал, когда жил в Кембридже и в квартире на Лад-гейт-Хилл: черная угольная пыль больше похожа на клей, влажный и липкий, и если вы топите печь углем, то должны непрерывно мыться.

Солнце поднялось и стояло над рекой, затянутое туманом. Рози сварила овсянку на молоке; чтобы ее не огорчать, я постарался проглотить несколько ложек этого варева, но каша и оловянная ложка создавали такой убийственно серый фон, что, мне казалось, я слышу, как внутри меня рыдает и сокрушается прежний Меривел, оплакивая утраченную навсегда яркость и красоту жизни.

О Пьерпойнте мы еще не говорили — только обо мне и моих бедах. Но сейчас, жадно поедая овсянку, Рози, к моему удивлению, стала расхваливать покойного мужа, называла его сильным человеком, говорила, что к богачам он не испытывал никаких чувств, но любил реку и тех людей, которые на ней работали. Мне хотелось напомнить ей, что при жизни мужа она никогда о нем слова доброго не сказала и вечно жила в страхе перед приступами его пьяного гнева и прочими зверствами. Вслух я ничего не сказал, а про себя отметил, что смерть может кардинальным образом поменять мнение о человеке: скончавшись, близкие нам люди в тот же миг становятся такими, какими мы хотели их видеть при жизни. Если б у меня хватило смелости войти в загон ко львам и позволить им съесть себя

на ужин, интересно, смягчился бы гнев короля, сменился бы он нежной печалью? Не превратилось бы отвращение Селии ко мне в грустное, окрашенное любовью воспоминание? Я размышлял об этом, пока Рози говорила об утонувшем паромщике. Пьерпойнт погиб, пытаясь поймать руками треску, то есть добывая себе пищу; в моей мнимой смерти у львов я сам *стал* бы пищей. Какая смерть благородней? Или обе нелепы и могут вызвать только насмешку? Может ли женщина, столь утонченная, как Селия, питать нежные чувства к мужу, который сначала стал куском мяса, а потом пометом? Не знаю. Мой мозг кишит вопросами, на которые нет ответа. Похоже, разум мой скис, уподобившись стоящей предо мной холодной овсянке.

Я не мог жить у Рози. В прежние времена страсть сжигала нас, но все кончилось. То, что мы теперь испытывали друг к другу, можно назвать нежностью с примесью грусти. Я вручил ей тридцать шиллингов (если буду бережливым, какое-то время мне не придется нуждаться), а она поцеловала меня в щеку, все еще хранившую следы кори. И мы распрощались.

И так я оказался в Бате.

Когда человеку больно, ему кажется странным, что все остальные, ничего не зная о его боли, ведут себя так, будто она вообще не существует, — пронзительно хохочут, рукоплещут себе, гуляют, занимаются спортом, рассказывают анекдоты и покатываются со смеху. Когда я ступил в крестообразную ванну и погрузился в воду в одних неотбеленных панталонах, то увидел вокруг и наверху, в каменных галереях, тщательно одетых людей, они расхаживали повсюду с самодовольным видом, сплетничали, хихикали, обмахивались веерами, поглядывая на лечившихся со снисходительным равнодушием. Они ничего не знали о том, что случилось со мной. Им и в голову не могло прийти, что в этой пахнувшей вареными яйцами воде я пытаюсь излечиться — не быть больше Меривелом.

Я оглядываюсь на других купальщиков. Крестообразная ванна разделена: мужчины — по одну сторону; женщины — по другую. На мужской стороне я вижу старика, неблагоразумно оставившего на голове парик. Если он приехал за лекарством от тщеславия, то этим вредит лечению.

Расположившиеся напротив женщины выглядят очень странно. Из стыдливости они надели

удивительные желтые хламиды из плотного холста, которые, когда женщины погружаются в воду надуваются, как шары. Я не могу отвести от них глаз. Мне кажется, они так раздулись от воздуха, что их, беспомощных, вот-вот понесет по пузырящейся поверхности воды и в конце концов прибьет ко мне. Я уже почти ощущаю, как эти женщины-шары тесно окружают меня, и, подражая королю (это уже вошло у меня в привычку), придумываю незамысловатые шутки, где главная роль отводится мужскому половому члену.

Но тут я вижу, что промахнулся не только в том; что не сумел получше сострить: я составил неправильное представление о женских костюмах. Юбки и лифы заполнены не воздухом, а водой. Женщины стали не легче, а тяжелее — они так грузны, что не могут сдвинуться с места, словно их держит якорь. Даже если я буду сидеть в ванне до самого вечера, и то дамы не приплывут ко мне. Если, конечно, в воду не спустится сам король. В этом случае, полагаю, женщины мигом освободятся от своих пузырей и поплывут к нему, извиваясь, как юные рыбки.

Я провожу много часов, сидя неподвижно в воде, — стараюсь прочувствовать процесс очищения. Мысленно я заставляю себя обойти

поочередно все комнаты в Биднолде, останавливаюсь на пороге каждой и смотрю, как выносят мои пожитки, потом мебель, ковры, портьеры — и вот нет уже и намека на мое былое присутствие. Я представляю, как воды Бата заливают комнаты, окрашивают их в желтый цвет, а потом отступают, как море при отливе. И после этого комната — уже не комната, а пустое и мокрое место.

Когда запах воды становится совсем уж невыносим, я возвращаюсь в свою комнату в «Рыжем льве». Хозяина зовут Джон Суит. Его жена, миссис Суит, поет без аккомпанемента, а слушателей у нее всего лишь она сама и Меривел. Только она одна знает, что я болен: ведь я не ем еду, которую она присылает.

Прошлой ночью мне приснился скверный сон. Я был в роскошных покоях Уайтхолла, там находились король, королева, придворные — мужчины и женщины. «Зачем мы здесь собрались?» — обратился я к одному придворному, который оказался сэром Рупертом Пинуортом. «Как зачем? Из-за свадьбы, конечно», — ответил он.

В этот момент толпа расступилась, чтобы освободить проход для жениха и невесты. Я вытянул шею, чтобы лучше видеть происходящее. Степенно, рука об руку, шли они к противоположной

стороне залы, где стоял священник, готовый их обвенчать. На женихе был камзол отвратительного желто-зеленого цвета и такие же штаны, невеста была в красивом белом платье, но и его покрывали желто-зеленые разводы.

Я разглядел их лица. У жениха было лицо Барбары Каслмейн, у невесты — лицо Селии. После того как священник произнес подобающие случаю слова, жених и невеста пробормотали, что согласны соединить свои жизни, и тут же, не стесняясь посторонних людей, стали в нетерпении сбрасывать с себя одежды. И тогда я окончательно убедился, что священник связал узами брака двух женщин; они всерьез изображали молодоженов, целовались, ласкали друг у друга самым непристойным образом интимные места. Король, королева и все мы смотрели на эту сцену и время от времени аплодировали, как будто находились на спектакле. Сэр Руперт склонился ко мне и шепнул на ухо: «Видишь, во что превратился брак. Каким захотим, таким он и будет!»

Тут я проснулся — возбужденный и взволнованный. И чтобы хоть немного утешиться, положил руку на свой разгоряченный член.

После этой ночи во мне поселилось убеждение, что воды Бата вряд ли исцелят меня. Я чувство-

вал, что это место меня не очистит, — от него возникало ощущение удушья и тошноты. Желанию окунуться не способствовало созерцание мужских тел, среди которых было много старых паралитиков, некоторые лица покрывала сыпь. Довольно скоро стал утомлять меня и вид женщин, желтыми шарами покрывавших воду. На мой взгляд, выглядели они глупо и жалко. Рози Пьерпойнт была гораздо грациозней, чем они.

Поэтому я расплатился с Джоном Суитом, простился с его женой, похвалив на прощанье ее пение, и отправился на почтовых лошадях в Лондон, платя по три пенса за милю. В Лондоне я увидел то, на что в Бате не обратил внимания: пришла весна. В саду таверны «Нога» на каштане набухли почки, в траве желтели цветки чистотела, и воздух был уже не такой холодный, как в ту ночь, когда я шел в Тауэр. Зайдя к своему продавцу книг, я взглянул на календарь и увидел, что уже начало марта. «Понятия не имею, где я буду в конце месяца», — сказал я ему.

Уже через два дня слуга из Бидноллда доставил в «Ногу» на Плясунье мои пожитки.

Было видно, что они оба — слуга и лошадь — устали и замерзли; я же при их появлении испытал такой прилив радости, что ко мне

на несколько часов почти вернулось прежнее довольство жизнью. Вечером я разложил на кровати все, что у меня осталось своего, и, когда произвел осмотр, похолодел от страха: здесь не было ничего, что могло бы помочь выжить. Вот перечень того, чем я владел на настоящий момент:

набор хирургических инструментов,

гобой,

несколько тетрадок с нотами,

кисти и тюбики с красками,

несколько комплектов одежды из яркого шелка и тафты,

множество цветных чулок и кружевных рубашек,

три парика,

четыре пары перчаток, пошитых отцом,

набор полосатых столовых салфеток,

гусиное перо, подаренное Вайолет Бэтхерст,

ночные рубашки и ночной колпак,

четыре пары туфель на высоких каблуках,

два письма от короля, перевязанные ленточкой,

изрядно потрепанная и исписанная на полях Библия,

рецепт моего любимого мясного пирога, заля-

панный слезами Кэттлбери,

одна меховая табарда,

два кошелька: один японский с тридцатью шиллингами, другой кожаный с сорока семью соверенами.

Благодаря привезенной одежде я не буду выглядеть бедняком, и, если у меня не украдут соверены, нищета какое-то время мне не грозит. Однако вещи, лежащие предо мной, говорили о неизбежности нищеты в будущем.

Другие люди, пережив подобный удар судьбы, постарались бы и в униженном положении отыскать трамплин и начать все сначала. Но в мое время чего-нибудь добиться можно было только при дворе. Все начинания — даже такие скромные, как пошив перчаток отцом, — либо поддерживались Уайтхоллом, либо не одобрялись. Даже простые рыбаки, вроде покойного Пьерпойнта, и те чувствовали, что торговля на реке ожила и забурлила не без королевского вмешательства. А взять ту же Рози: она надеется выбраться из нужды, стирая для придворных кавалеров жабо, манжеты и воротнички из брюссельских кружев. И если я захочу заняться чем-то новым, разве не приведут меня мои старания туда же, куда я уже приходил однажды с отцом, — в

место, где от сознания близости короля перехватывает дыхание?

Что же, в таком случае, мне оставалось? Знай я кого-то, кто существует независимо от королевского двора, подумал я, можно было бы попросить у него совета, как жить дальше. Я еще не успел подумать, что мысль эта не совсем глупа, как меня осенило, что такой человек есть. «Пирс, — произнес я, — надеюсь, ты не станешь возражать, если я приеду к тебе!»

С той минуты, когда Пирс скрылся за поворотом на пятнистом муле, я не часто вспоминал его. Ведь Пирс не потакал моим прихотям и не прощал ошибок. Если б он узнал, как я повел себя с Селией, то заплакал бы от стыда за меня. Я понимал, что являюсь для него источником горести и печали, и потому мне не хотелось о нем думать.

Теперь же, когда Селия бросила меня и я решил ехать на Плясунье в Фенз, его бледное лицо вновь возникло в моей памяти. Оно мне очень дорого, и все же вызывает смешанные чувства — грусти, раздражения и нежности. «Нежный» — слово из лексикона Пирса, так квакеры называют терпимых людей (если верить Пирсу, их не так уж много), которые при виде квакера не плюют ему в лицо и не требуют, чтобы он снял шляпу. Так

что я — «нежный». В нашем общем прошлом я не раз защищал его от врагов — не потому, что я такой уж храбрый, а потому, что в Пирсе есть что-то от невинного ребенка, я же не могу видеть, как оскорбляют и обижают детей. Несмотря на эти проявления отваги. Пирс очень строг со мной. Однажды он сравнил мою жизнь с «неряшливой вышивкой»: «Большое разнообразие стежков, Меривел, но связный, законченный узор не получился». Пирс принадлежит к тому типу людей, которые произносят экзальтированные речи, но никогда не признаются в своих чувствах. Я знаю, что он любит меня, — возможно, даже не отдавая себе в этом отчета. Когда же я приезжаю в его жалкую лечебницу, он бежит (или, по крайней мере, ускоряет шаг) ко мне навстречу и тепло приветствует. Пирс будет рад увидеть меня снова.

С тех пор как я перебрался в Уайтхолл, наши дороги разошлись, и дружбу это не укрепило. Иногда наша дружба кажется мне чем-то *призрачным,* совсем не тем, чем была в Кембридже, во время королевского изгнания. Тогда мы, два «призрака», часто допоздна засиживались вдвоем, подбрасывали уголь в печурку, ели сливовый пирог и пытались разобраться в теории Декарта, согласно которой бесплотный человеческий дух

связан с «телесным механизмом» при помощи шишковидной железы; в конце концов мы отбрасывали надоевшие книги и начинали хохотать.

«Призрак» Пирс с сентиментальностью относился к рыбной ловле и летом брал с собой на рыбалку «призрака» Меривела. «Апостолы, — говорил мечтательно Пирс, когда мы оба сидели на берегу, не сводя глаз с поплавков, — были рыбаками. Ловля рыбы — созерцательное, благочестивое занятие, оно не совсем подходит тебе, Меривел, слишком уж ты нетерпеливый и любишь суету». И правда, Пирсу всегда больше везло. В вечерний клев ему на крючок попалась золотая форель. А Меривел вытащил только перепачканного илом хариуса. Но «призраки» не покидали реку, им нравилось быть друг с другом, нравилось это занятие, они не уходили, пока в воздухе не веяло прохладой, над водой не поднимался туман и сами они не становились похожими на тени. Помню, когда я возвращался в свою университетскую комнату после этих рыбацких вылазок, мне казалось, что я побывал в другом мире. Иногда, когда тревожные мысли терзают мой мозг, я вспоминаю часы, проведенные на реке, и понемногу успокаиваюсь.

Поэтому, пытаясь отогнать от себя мысли о

недавних потерях, стараясь забыть запах духов короля, звук голоса Селии, прикосновение короля к моему носу, отвратительный приступ собственной похоти на крыше под звездами, я все больше думал о Пирсе, вспоминал всякие мелочи, словно рассматривал прошлое через микроскоп, и замечал то, чего не видел раньше. Так я готовился к поездке.

Решение отправиться в Фенз возникло раньше, чем я почувствовал в себе силы его выполнить. Стоило мне произнести вслух имя Пирса, как меня охватывал страх. Я знал, что общество друга подействует на меня благотворно, однако, кроме него, там обитало не менее сотни безумцев, вид которых мог только расстроить. Поэтому я оттягивал отъезд, сколько мог, и жил в «Ноге», испрашивая мужества у «призраков», ловивших форель.

Десятого марта я пустился в путь. Первый раз я остановился на ночлег в Пакеридже, второй — в Кембридже. Ноги сами привели меня в Кайус-колледж, и я постоял немного на темной лестнице у дверей комнаты, в которой когда-то жил. Из комнаты доносились приглушенные, серьезные голоса. Я вдруг подумал, что никто в комнате, каким бы прилежным и преданным науке он ни

был, не знает, что человеческое сердце бесчувственно.

На третий день, по дороге к Уиллинэму, у меня появилось ощущение, что земли стало меньше, а неба — *больше.* Из живых существ преобладали птицы, они обитали в обеих стихиях. Поднялся ветер. Плясунья занервничала и впрямь стала испуганно пританцовывать при особенно сильных порывах ветра. Птицы же позволяли ветру носить себя. Я видел, как они то планируют, то камнем падают в воздушные ямы. Дрофы, ржанки, дикие гуси…

По моим наблюдениям, в этой сырой местности поверхностный слой земли такой тонкий, что легко пропускает воду, — она потихоньку сочится себе и сочится, так что можно предположить, что здесь в земле живут не черви, а рыбы. В пейзаже больше утонченных силуэтов — тонкие болотные травы и камыши, плакучие ивы; я даже улыбнулся, легко представив на этом фоне худого, бедно одетого Пирса, — что до меня, то я со своим широким плоским лицом, мясистыми губами и кругленьким животиком сюда не вписывался.

Хотя создавалось впечатление, что ветру что-то не дает стихнуть (словно огромный, затянутый тучами свод неба держал его узником под

куполом), за все мое путешествие на меня не пролилось ни капли дождя, и за это благодеяние мне оставалось лишь оказывать честь молчаливому божеству мясного пирога. А теперь позвольте моим мыслям задержаться на весьма простых принципах, лежащих в основе жизни Пирса, они-то и делают его неуязвимым и не падким на те соблазны, перед которыми я не могу устоять.

Хотя все свидетельствует об обратном, Пирс и его друзья квакеры считают, что апостольский век еще не кончился, Богу и Сыну еще многое надо сказать нам, но только не устами людей, поглощенных мирскими заботами. «Семя Христово, — не раз повторял мне Пирс, — падает не в души священников или королей, а в душу простого смертного, Меривел». Это как раз и заставляло сотни гордых граждан содрогаться от ужаса при мысли, что слово Божие может исходить от таких, как Кэттлбери или покойный Пьерпойнт, и считать квакерство страшной ересью. Удивительно, но король (он-то не содрогнется, его, похоже, даже смерть не напугает) относится терпимо к квакерам, их неучтивость он переносит спокойнее, чем мою. Если б Пирс не снял в присутствии короля шляпу, не думаю, чтобы у него отняли дом. Не исключено, что за этот дерзкий поступок

Пирс был бы награжден тем, что я в свое время считал высшим даром, — королевской улыбкой.

Предаваясь таким бессвязным мыслям — всякий раз, в конце концов, они обращались на меня самого, — я на рысях миновал деревню Доддингтон и заночевал в городишке под названием Марч. Сон мой был горек и полон тревоги: ведь час моего появления в лечебнице Пирса неминуемо приближался.

Новый Бедлам (или лечебница «Уитлси») был построен в месте с поэтическим названием Эрлз-Брайд,[56] но то, что я увидел, никуда не годилось: всего несколько жалких домишек — ни кузницы, ни пивной, ни молочной, вообще ничего такого, где можно было бы обзавестись провизией. Гиблое место. Те немногие, что живут здесь, должно быть, ведут жизнь исключительно однообразную, — в гостях у них бывают только птицы и порывистый ветер. Когда я увидел впервые Эрлз-Брайд (была ли невеста в названии с самого начала, или название разъела сырость, а изначально оно звучало Бридл-Уэй или даже Бридж?), меня посетила игривая мысль: в таком богом забытом местечке и психушка могла почитаться

---

[56] Примечания: 56
Невеста графа *(англ.).*

развлечением.

Когда мы приближались к лечебнице — несколько бараков вокруг побеленного известкой невысокого дома — такой дом мог принадлежать фермеру средней руки, — Плясунья остановилась как вкопанная, ее ничто не могло заставить сдвинуться с места, даже яростные пинки по крупу. Я спешился, огляделся и прислушался. Все было тихо, только сердито завывал ветер, но я заметил, что со времени встречи с королем в летнем домике слух мой понес необъяснимую потерю, а по упрямому поведению Плясуньи, ее навостренным ушам я понял, что она слышит нечто такое, что заставляет ее волноваться.

Лечебный комплекс окружала стена из гальки и глины, вроде тех, что окружают замки; единственным отличием, на мой взгляд, было то, что эта стена не охраняла хозяев от непрошеных гостей, а удерживала взаперти сумасшедших, которые в противном случае могли бы разбежаться по равнине или утонуть. В стене были железные ворота, к ним и повел я Плясунью, ободряюще похлопывая лошадь по загривку.

Ворота были заперты. Я постучал и стоял, дожидаясь, пока откроют, потом повернулся и окинул взглядом пустынную маленькую площадь, ски-

нул взглядом человека, у которого внезапно сдали нервы и осталось лишь одно желание — бросить все и вернуться домой. Не сомневаюсь, так я бы и поступил, если б Биднолд по-прежнему принадлежал мне. Даже не задержался, чтоб поздороваться со старым другом.

Ворота открыл высоченный, могучий мужчина с широкой, как бочка, грудью и мощными ручищами, он стоял, улыбаясь и вопросительно глядя на меня. У него были рыжие кудрявые волосы, густые и жесткие, и рыжая борода, которую он теребил.

— Чем я могу помочь тебе, друг? — спросил он. Я приветливо кивнул ему, не переставая ощущать нервную дрожь в холке лошади.

— Я приехал повидать моего друга, Джона Пирса, и… по правде говоря, верю, что могу принести какую-нибудь пользу, иначе трудно объяснить мое появление здесь…

— Пожалуйста, входи. Твоей лошади дадут овса. Это место радостным не назовешь — вы у врат юдоли печали. Обратили внимание на слова из Исайи, вырезанные на воротах?

— Я видел надпись, но не прочел.

— Ага. Тогда прочтите, прежде чем войти.

Великан ухватился за ворота и прикрыл их,

оставив меня снаружи. Если б он совсем их закрыл, то, думаю, я развернул бы лошадь и пустил ее галопом подальше от этих мест.

Я вгляделся в надпись на железе: «Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания». *Исайя 48:10.*

— Я прочел надпись, — сказал я.

Ворота снова раскрылись, пропуская меня. Я почувствовал, как Плясунья толкнула головой мою лежащую на ней руку, звякнула уздечка.

— Следуй за мной, друг, — сказал рыжий.

Только сейчас я заметил, что на нем поверх черного камзола и чулок надета кожаная табарда. Потемневшая от времени, как поношенное седло, она к тому же была изрядно запачкана.

Я оглядел собственную одежду. На мне были коричневые бархатные штаны и коричневый камзол, слегка оживленный кармином. Кружева на запястьях и на шее были не накрахмалены. Здравый смысл подсказывал мне, что, несмотря на относительную скромность моего костюма, он не подходит для здешней жизни.

Я вошел внутрь, с усилием таща за собой лошадь; калитка за нами закрылась. Мы оказались во внутреннем дворе, земля под ногами была засыпана угольной золой, сквозь нее во многих

местах пробивался мох. Посредине рос дуб — единственное дерево во дворе.

— Это двор для прогулок, — пояснил мужчина в табарде. — Мы верим в целебные свойства свежего воздуха.

— Здесь ваши пациенты гуляют?

— Да. Ходят вокруг дерева, круг за кругом, круг за кругом, но в этом нет однообразия. Дерево никогда не бывает одним и тем же, оно меняется. Вы меня понимаете?

— Думаю, понимаю. А сейчас, когда весна…

— Меня зовут Амброс Дайер. Следовало бы назвать себя сразу же: ведь мы придаем большое значение имени.

— Рад знакомству, мистер Дайер.

— А ты[57] кто?

— Простите?

— Как тебя зовут?

— Меня? Роберт Меривел. Мы с Пирсом в одно время изучали медицину в Кембридже.

— С Джоном. Его не называют Пирсом. А меня все зовут Амбросом.

— Для меня он всегда будет Пирсом. Так же, как

---

[57] Примечания: 57

Квакеры считают, что отношения с людьми должны быть основаны на безусловном равенстве, поэтому они ни перед кем не снимают шляпы и ко всем обращаются на «ты».

я для него Меривелом.

— Здесь он Джон.

— Выходит, я буду Робертом?

— А я Амбросом. Теперь пришло время назвать вам наши постройки. Сам дом и все заведение зовется «Уитлси», там живем мы, основатели и хранители клиники, нас шестеро, там мы спим и едим. А три барака или *asiles,*[58] то есть приюты, носят имена Джорджа Фокса,[59] Маргарет Фелл и Уильяма Гарвея.

Несмотря на волнение, я не смог удержаться от улыбки. Даже здесь, в этом уединенном месте, где росло одно лишь дерево. Пирс не забыл своего учителя — великий УГ, можно сказать, всегда находился с ним, циркулируя вместе с кровью.

— А какой из бараков носит имя Уильяма Гарвея? — спросил я.

— Тот, что меньше остальных, — ответил Амброс, — слева от нас, вон там. В нем содержатся самые тяжелые больные.

Мы направились к дому, и тут как раз из него вышел Пирс. При виде меня он стал, как рыба, судорожно глотать воздух. А потом, как я и пред-

---

[58] Примечания: 58
Убежище *(фр.).*

[59] Примечания: 59
Фокс, Джордж (1624–1691) — основатель секты квакеров.

сказывал, неуклюже побежал ко мне.

Эту ночь я провел в постели Пирса, себе он постелил соломенный тюфячок на полу. Должен признаться, сознание мое блуждало в местах еще более странных, чем эта комната, подобное состояние трудно было назвать сном — скорее, чередой каких-то призрачных видений. Каждый раз, когда, казалось, я погружаюсь в сон, мне слышался голос короля, повторявшего снова и снова: «Я расплавил тебя, Меривел. Вот я и расплавил тебя. Но не как серебро. Не как серебро…»

Часть вторая

Глава пятнадцатая
Роберт

Прошел месяц. Наступил апрель. Весь этот месяц, проведенный в «Уитлси», я был сам не свой. Однако этим утром, поймав свое отражение в оконном стекле, я вновь увидел его — человека, которого вы теперь уже хорошо знаете, того, кто носит алый камзол, шута Меривела. Мне трудно отказаться от сентиментальной нежности к этому человеку, и это заставляет меня краснеть — и от нахлынувших чувств, и от стыда. Эта нелепость и вынуждает меня продолжать рассказ, несмотря на пугающее открытие: войдя в ворота Нового Бедлама, я перешел из одной жизни в другую и таким образом как бы подвел некий итог. На некоторых вещах можно определенно ставить крест — на доме в Биднолде, красоте моего парка, присутствии Селии за моим столом. Ни я, ни вы не увидим их больше. Их уничтожил не обычный огонь, как моих драгоценных родителей, а вспышка недовольства короля. Так что для меня они как бы обратились в прах, то же должны чувствовать и вы: ведь и вы никогда больше не

вернетесь к ним.

Я стал Робертом.

Никто в «Уитлси» (даже Пирс — его я обязан называть Джоном) не зовет меня Меривелом, а многие даже не знают меня по фамилии. Я даже не сэр Роберт. Просто Роберт. Постараюсь дать вам представление о своем новом облике: парик я здесь не ношу, надеваю его только на Собрания (странные и трогательные сборища, о которых расскажу позднее), на работу хожу в черных шерстяных штанах и черной шерстяной рубашке, от которой ужасно чешется грудь, особенно соски. Поверх повязываю кожаный фартук — он доходит мне до колен, такой большой. Туфли из грубой, прочной кожи, на низкой подошве, постоянно заляпаны грязью, совершенно особой, такой грязи, как в «Уитлси», я нигде больше не видел, — черная, вязкая, она, высыхая, превращается в желто-зеленую корку. Мой сытый живот, который я отъел, уплетая мясные и рыбные деликатесы Кэттлбери, изрядно подтянулся на скудном рационе из сельди, каш и жидких супов, вполне устраивавших Пирса, Амброса и остальных квакеров. С детства я люблю вкусно поесть, и полуголодное существование, какое приходится здесь вести, доставляет мне немало страданий.

За воротами Бедлама два голубка резвятся в тополиной рощице, а я представляю себе, с каким удовольствием лицезрел бы их, упитанных и зажаренных, перед собой на тарелке. Но такие мысли я гоню прочь, как и желание (почти *по*стоянное) оседлать Плясунью и рвануть отсюда? Только куда? Все дороги ведут к королю. Хоть это я сумел понять. Вот потому я и живу здесь, не ведая, что ждет меня в будущем.

Меня загрузили работой — в основном черной, неприятной и дурно пахнущей. Но я с ней справляюсь. Особенно страшат меня дни, когда я должен работать с больными «Уильяма Гарвея». Дверь туда — это вход в ад. Только вчера там одна женщина откусила себе кончик языка, когда я поднял ее, чтобы подложить под нее свежую солому Кровь брызнула мне в глаза, ослепив, словно пламенем, и я ощутил заразу безумия. Этот барак по праву носит имя Гарвея: в нем всегда много крови. На полу есть даже кровавые лужицы.

В «Уитлси» много правил, которым все мы должны следовать. Одно из них запрещает Друзьям-Опекунам (так называют себя немногочисленные работники Бедлама) поодиночке ходить в «Уильям Гарвей» — безразлично, днем или ночью. Поэтому, когда кончик языка упал к моим

ногам, а кровь брызнула в лицо, ко мне быстро подошел Друг. Это была Элеонора, младшая из двух сестер (другую звали Ханна), обе спокойные и рассудительные. Она подняла окровавленный кусочек и завернула его в платок, а Пирс, проявив поразительную выдержку, пришил его на прежнее место. Но хватит об этом. Лучше я расскажу вам об этих сестрах и остальных Друзьях, входящих в это небольшое общество, всех тех, кто опекает сотню душевнобольных.

Лечебницу «Уитлси» основали два года назад Амброс и Эдмунд. Первым пациентом стал дед Амброса, старый моряк, потерявший глаз в схватке с испанскими пиратами; когда король вернулся из изгнания, дед решил, что он умер. Сейчас он живет себе припеваючи в отделении «Джордж Фокс». У него есть стеклянный глаз — он держит его в деревянной шкатулке. Дед ежедневно говорит, что в могиле темнее и тише, и радуется, что здесь у него хорошая компания.

Амброс, как я отметил при первой встрече с ним у ворот, — крупный мужчина, упрямый, великодушный и очень выносливый, как растение с мощным корнем, которое легко переносит жару и холод, град и ветер. Если б человечество погибало от неизлечимой болезни, думаю, Амброс

умер бы последним. Без него лечебницы бы не было. Если б не он, Пирс по-прежнему трудился бы в больнице Св. Варфоломея в Лондоне, а все остальные Ханна и Элеонора, Эдмунд и Даниел, продолжали ждать откровения, того, что они называют «истинным трудом, к которому ведет семя Христово, живущее в каждом человеке».

Эдмунда, моего ровесника, дважды сажали в тюрьму за то, что он, приходя на службу в англиканские церкви, оскорблял священнослужителей, бросая в их головы капустные кочаны. У него ясные, широко расставленные глаза и высокий голос, он любит чистоту и порядок, и когда над Фензом льет дождь, раздевается вплоть до изрядно поношенных подштанников и бегает вокруг стены, намыливая на бегу лицо, тело и даже интимные места. Если Ханна или Элеонора случайно видят эти омовения, они улыбаются, отводят глаза и продолжают заниматься своим делом, однако улыбки не сразу сходят с их лиц. Кажется, действия Эдмунда доставляют им невинное удовольствие.

Сестры — крупные женщины, у них широкие бедра и сильные ноги. Носят они сабо. У Ханны серые глаза, у Элеоноры — голубые. Прикинув, я решил, что Ханне лет тридцать, а Элеоноре года

на три-четыре меньше. Они всем сердцем любят Бога, их сострадание к Его творениям не знает границ. Я никогда не встречал таких женщин: они совсем лишены тщеславия, нисколько не жалеют себя и обо всем имеют собственное мнение. В прошлом месяце я раз или два молился, прося болезни: хотелось, чтобы Ханна и Элеонора ухаживали за мной. Однако я не болел здесь ни одного дня удивительно, принимая во внимание здешний нездоровый климат и скудное питание. Так что приходилось довольствоваться соседством за ужином, но и это было отрадно: спокойствие женщин дарило душе покой.

Шестой член коллектива — Даниел. Он самый молодой из всех, в его лице есть та юношеская неопределенность черт, которая проходит только с возрастом. Ему не больше семнадцати. Он не видел другой жизни, и потому ничего из окружения не вызывает в нем страха или отвращения. Он все принимает. Его не коробит от того, что он видит, слышит и обоняет в «Уильяме Гарвее». Из всех шести Друзей он один безоговорочно принимает меня. Я не замечаю в нем и тени неодобрения. Остальные хотели бы видеть меня квакером, Даниел — нет. Более того, узнав, что я жил при дворе, он втайне от всех попросил

меня рассказать о той жизни, — как там говорят и одеваются мужчины, как проводят досуг. Я стал рассказывать, как играют в крокет, Даниел внимательно слушал, иногда повторяя за мной с благоговением, словно читал двадцать третий псалом: «Красный, пройдя через ворота, может попытаться ударить по Черному». Это вызвало нашу обоюдную радость, но ненадолго, ибо я вспомнил, что теперь мне негде играть в крокет, так что лучше всего забыть все эти сложные правила. И я внезапно оборвал объяснения, чем поверг Даниела в уныние. Через какое-то время он спросил меня: «А почему бы нам не поиграть в крокет здесь, Роберт?» Я притворился, что обдумываю его слова, перед тем как ответить: «Мне кажется, вид проволочных ворот очень расстроит Джона, Даниел».

Я сказал «Джон» — так я теперь называл своего длинного, тощего друга.

Его радость и удивление при встрече со мной вскоре сменились обычным суровым обращением, он считал своим долгом держаться со мной именно так. Как я и ожидал, его нисколько не удивила и не вызвала сочувствия утрата мной королевской милости.

— Увидев, какую жизнь ведешь ты среди этой

ужасающей роскоши, я помолился, чтобы у тебя все это отняли, — сказал он.

— И все же, Пирс, мне был очень дорог мой дом, — решился я напомнить ему.

— Джон, — поправил он.

— Что, Пирс?

— Называй меня Джоном, пожалуйста.

— Мне трудно привыкнуть после всех этих лет.

— Тебе трудно дается все, что просто и благонравно, Роберт. В этом твоя беда.

Разговор происходил в комнате Пирса поздно ночью, в день моего приезда в «Уитлси». Измученный борьбой с непогодой, я лежал на узкой кровати друга, — сам он устроился на соломенном тюфяке (на таких спят пациенты отделений Джорджа Фокса и Маргарет Фелл), положив его прямо на пол. Я разглядывал его — моего друга и покровителя! Он еще больше похудел, запястья — сплошные кости, обтянутые кожей. Климат в болотистой местности нездоровый, простуды не отпускают его. В уголках рта у него скапливается слюна, нос заложен, отчего голос звучит гнусаво. От простуды он принимает лекарство, но тогда воспаляются глаза. Словом, он — развалина.

Квакеры не любят поучать, но тут Пирс, лежа на соломенном тюфяке и закапывая в нос лекар-

ство, произнес целую проповедь о вероломстве Стюартов: «Никто из них не заслужил и не заслужит доверия народа. Ведь интересы людей никогда не стоят у них на первом месте. Главное — это их Божественная природа; на этих якобы наместников Божьих закон не распространяется, они выше закона и никому не отдают отчета в своих поступках — ни в общественной, ни в личной жизни…»

Слушая эту проповедь, я задумался не о том, правдивы или нет слова Пирса, а о том, почему после стольких бед я не ощущаю никакой злобы. Огорчен, разочарован, испуган, грустен — да. Но не озлоблен. Поэтому, воздержавшись от оценки обличительной речи Пирса, направленной против Стюартов, я воскликнул: «Скажи, Пирс, почему я не чувствую злобы?»

— Называй меня Джон.

— Хорошо. Почему я не чувствую злобы, Джон?

— Потому что ты — дитя.

— Прости, не понял?

— Ребенок, наказанный эгоистичными родителями, не чувствует на них злобы. Он идет в свой тайный уголок и там плачет. Так ты и поступил. Но стоит родителям поманить его, и он бежит к ним, радуясь, что его простили за проступок,

который он совершал только в ответ на их душевную скупость.

— Но, Пирс…

— Ты тоже побежишь, если король позовет тебя!

— Он не позовет. Все кончено.

— Пусть так. Но если б позвал, ты бы вернулся. Эта твоя черта открыла мне, что ты все еще ребенок, Роберт. К счастью, бездомность привела тебя в «Уитлси». Наша задача — излечить тебя от инфантильности, подобно тому, как мы лечим наших пациентов от психических болезней. Ведь ты можешь быть прекрасным человеком, Роберт. Я уже видел его очертания — перед тем, как ты предпочел вернуться в детство, — вот этого человека мы и возродим в тебе.

Я посмотрел на лежащего внизу Пирса. Рядом с ним, на расстоянии вытянутой костлявой руки, лежал его драгоценный половник. И я улыбнулся.

После этой ночи Пирс никогда больше не стремился обсуждать мою прошлую жизнь и ее печальный финал. Он хотел, чтобы я как можно скорее выбросил все случившееся из головы, и потому со следующего дня (в течение которого мне выдали уже описанную мной мрачную

одежду) я стал выполнять ту же работу, что и все остальные, словно тоже был квакером. «У Роберта хорошая квалификация, — сказал Пирс Амбросу, Эдмунду, Ханне, Элеоноре и Даниелу, когда мы ели за завтраком ячменную кашу на воде. — Он не привередливый и не слабый. По его словам, он забыл медицинскую науку, но это не так. Так что возблагодарим Бога за то, что Он послал нам Роберта, попросим Его поддержать нашего нового Друга и помочь в той работе, которую ему поручат».

Последовавшие за этим молитвы отличались трогательной простотой. «Господи, просвети Роберта!» — попросил Амброс. «Дорогой Иисус, пребудь всегда с Робертом!» — продолжила Элеонора. «Боже на небесах, не оставь Роберта!» — сказала Ханна. «И в ночи не оставь его», — добавил Даниел. «Аминь!» — закончил Эдмунд.

Я обвел взглядом маленький коллектив. Увы, подумал я, они совсем не знают меня. Джон поручился за своего старого друга, и потому меня приняли. Им неизвестно, что я пребываю в постоянном страхе. Не знают они и того, что я давно разлучен с Богом. И того, что во мне есть сумасшедшинка, заставляющая изображать траву и деревья в виде ненормальных линий и грязных

пятен. Они приняли меня в свой коллектив, не зная, что дух мой веселится, находясь в хаосе. Я чужой и могу только навредить, а они этого не знают. Я уже открыл рот, чтобы рассказать, что я за человек, но издал только невнятное бормотание, суть которого сводилась к словам благодарности за молитвы. «Надеюсь, что буду их достоин», — закончил я и, проявив такое неожиданное смирение, заслужил одобрительный кивок Пирса.

Так начался мой первый день в «Уитлси». Амброс и Ханна обошли со мной лечебницу. Дождь не омрачил мне путь сюда, зато сейчас он вовсю поливал однообразную равнину, сопровождаясь шквалистым ветром.

Когда Амброс снял засов и распахнул дверь «Джорджа Фокса», я поторопился войти внутрь, чтобы поскорее укрыться от непогоды, и неожиданно стал объектом тревожных взглядов примерно сорока человек, тесно лежавших двумя рядами вдоль стен.

Среди пациентов началось волнение. Некоторые встали. Я заметил, как один больной, словно в страхе, сжал другому руку. Кто-то смеялся. Другие приблизились к нам, глазея на меня, как на диковину. Один безумец задрал грязную ночную

рубашку и с хохотом обнажил покрытый язвами зад. В воздухе стояло зловоние, оставленные на ночь ведра были переполнены, а сами Больные Друзья (так называл безумцев Амброс) производили впечатление завшивевших и немытых людей. Впрочем, никто не вопил, не визжал, а такое, по рассказам очевидцев, постоянно происходит в лондонском Бедламе. Никого не связывали, все свободно передвигались по длинному сараю. И в темноте больных не держали. Четыре небольших зарешеченных окна пропускали достаточно света, чтобы я увидел в дальнем конце помещения нечто вроде балкона с двумя приставленными лестницами. На балконе стоял внушительных размеров станок.

— Вижу здесь ткацкий станок, — сказал я Амбросу. — На нем что, работают?

— Да, это ткацкий станок, — ответил Амброс, потирая огромные руки. — Его привезли на тележке из закрывшегося работного дома в Линне.

Мои мысли, которые все еще занимал мужчина, прыгавший предо мной с голым задом, сразу же перенеслись к судье Хоггу и моей последней роли попечителя бедняков. Теперь мне уже не суждено оказывать помощь бедным, зато я буду помогать психически больным людям. Впрочем,

между этими двумя категориями много общего: в большинстве обращенных ко мне лиц я видел то же выражение отчаяния, что и у нищих, собиравших хворост недалеко от Биднолда.

— Что ткут на станке? — спросил я Амброса.

— Парусину; — ответил он.

— Парусину? Для военных кораблей?

— Да нет же, Роберт Для рыбацких судов в Линне. Они расплачиваются с нами сельдью.

Потом Амброс заговорил с обитателями «Джорджа Фокса». Он говорил с ними ласково, как с детьми, и, пока он говорил, все молчали, за исключением двух мужчин в дальнем углу — те затеяли перебранку, прибегая к таким грязным ругательствам, каких я никогда не слышал. Амброс велел больным скатать соломенные тюфяки, вылить нечистоты из ведер в выгребную яму и расставить скамьи для завтрака. Теперь я знаю, что подобный ритуал свершается каждый день, но Амброс отдавал приказы с большим воодушевлением, как будто сообщал некие приятные новости. И действительно, когда он кончил, один старик, чьи костлявые конечности были почти не видны под бинтами, стал аплодировать. Амброс кивнул ему и улыбнулся. А потом сказал: «Хочу вас обрадовать, нам в „Уитлси" повезло. Посмот-

рите на Роберта. Он приехал из Норфолка, чтобы помогать в работе во славу Божию. Произнесите его имя. Скажите вслух: Роберт. Пусть это имя станет для вас дорогим. Ведь он ваш Друг».

Больные, к моему смущению, стали послушно бормотать мое имя, повторяя его снова и снова. Только один издавал короткие пронзительные звуки, похожие на крики чибиса. Я не знал, каких слов от меня ждут, поэтому молча отвесил почтительный поклон, вроде тех, что подолгу отрабатывал перед зеркалом, когда жил в Уайтхолле. Затем я вслед за Амбросом вышел наружу, и мы направились под дождем в «Маргарет Фелл».

Там находились Ханна и Элеонора. Тюфяки уже скатали, ночное содержимое ведер вылили, а в барак внесли тазы с холодной водой, чтобы женщины могли вымыть лицо и руки темным мылом. В бараке обитало около тридцати пяти женщин разного возраста, самым молодым было лет двадцать — двадцать пять.

— Объясни мне, — шепнул я Амбросу в то время, как мне демонстрировали чесалки и прялки, — с их. помощью женщины изготавливали серую грубую пряжу, идущую на швабры, — что могло довести такие юные создания до безумия?

— Причин много, Роберт, — ответил он. — Дело вовсе не в возрасте. Безумие — родной брат или сестра несчастья. Чаще всего причина — в нищете. И еще — в одиночестве. Вот от Кэтрин, одной нашей больной, молодой муж ушел посреди ночи, теперь она не может спать, ее психическое расстройство проистекает из истощения души и тела.

— Кто из них Кэтрин?

— Вон та, что моет шею. На ней разорвано платье. Это дело ее рук: ночами она сидит и рвет в клочья одежду, которую ей здесь дают.

Я посмотрел на ту, о ком говорили, и увидел высокую, очень худую молодую женщину с черными волосами до пояса и черными глазами, чем-то напомнившими мне глаза «юбочницы», — только у Кэтрин они были больше и печальнее, а под ними четко обозначились синяки — от постоянной бессонницы.

— От этой болезни есть лекарства, — сказал я, вспомнив, как в Кембридже Пирс жевал корень мальвы и цикория, чтобы успокоить воспаленный мозг и заснуть.

— Мы даем их Кэтрин, — ответил Амброс, — она засыпает на час или около того, но просыпается от нехватки воздуха. Она чувствует, что задыха-

ется, и жалуется на тяжесть в голове.

Меня тронула судьба этой женщины, и, когда Амброс в очередной раз предложил обитательницам «Маргарет Фелл» произнести вслух мое имя, я поймал себя на мысли, что слово «спать» занимает особое положение в моем сознании. Не было сомнений, приближается время, когда мне придется открыть футляр с хирургическими инструментами, у которых серебряные ручки, и взять в руки скальпель с надписью: «Не спи!»

Позволив себе стать Робертом, я несомненно покончил с тем, что король называл моей «спячкой», и теперь — в состоянии бодрствования — то, что стремился забыть или не замечать, снова отчетливо вставало предо мной. И надо же так совпасть, чтобы в первый же день новой жизни я встретил женщину, которая совсем не спит, и постоянное бодрствование днем и ночью, на свету и в темноте привело ее к безумию? Есть ли на свете что-нибудь страшнее того, к чему призывал меня король, с горечью подумал я. Передавая эти слова граверу, какую меру страдания имел он в виду?

И как бы ответом на этот вопрос стало посещение с Амбросом третьего барака лечебницы, того, что звался «Уильям Гарвей».

Как я уже говорил, каждому, кто первый раз

попадает сюда, кажется, что он угодил в ад. Единственное отличие — здесь не жарко. Скорее, холодно, сыро и зловонно, ведь в этом бараке только одно маленькое окно за решеткой и ни одной свечи — их не приносят из страха, что больные могут обжечься или подожгут соломенные тюфяки.

Пациентов «Уильяма Гарвея» держат связанными, прикрепляют к крюкам в стене. У королевских львов в Тауэре больше свободы передвижений, чем у этих несчастных. Однако у больных «Уильяма Гарвея» настолько поврежден рассудок, что, если их не связывать, они могут надругаться над себе подобными и даже убить или, напротив, нанести увечье себе: глядя, как они мечутся на своих подстилках, кажется, что их тела наделены дьявольской силой.

Пациентов здесь двадцать один человек: шестнадцать мужчин и пять женщин. У всех на лбу шрамы — это пускают кровь; кровопускание и трепанация черепа (квакеры не практикуют трепанацию) — самые страшные методы лечения сумасшествия. Я прошел с Амбросом из конца в конец весь барак, заглядывая в глаза больным людям, и мне вспомнилось, что именно о таких несчастных безумцах Пирс однажды сказал:

«Они одни в этом сумасшедшем веке чисты, ибо не гонятся за славой». Не в первый раз я испытал раздражение от слов Пирса: слишком уж он убежден в непререкаемости своих суждений, которые частью действительно мудры и глубоки, но частью откровенно глупы.

— Ты веришь, что в «Уитлси» можно вылечить этих людей? — спросил я Амброса (он не пытался предлагать обитателям «Уильяма Гарвея» запомнить мое имя).

— Я верю, Роберт, — сказал он, — что, если Иисус этого захочет, они вылечатся. Такие случаи в «Уильяме Гарвее» бывали. — И он поведал мне историю о женщине, освободившейся от двух огромных червей, ту самую, что рассказал Пирс, когда мы шли на биднолдское кладбище за селитрой. Эта история должна была убедить меня в недальновидности питаемых мной надежд. Тогда она произвела на меня впечатление, но теперь, когда я находился в том самом месте, где все произошло, эта история вызвала у меня отвращение столь глубокое, что тошнота подкатила к самому горлу. Меня, без сомнения, вырвало бы, если б Амброс не заметил моего плачевного состояния и не распахнул дверь барака, дав мне возможность выскочить на свет Божий и вдохнуть сырой

утренний воздух.

Этим вечером (как и во все последующие вечера месяца) мы, санитары и лекари «Уитлси», ели рыбу, овощи и хлеб — ужин, приготовленный Даниелом на кухне, и обсуждали прошедший день, который показался мне самым худшим из всех, других, включая даже те, когда я препарировал трупы в Падуе или работал в больнице св. Фомы для бедняков.

Во время ужина до меня донеслись снаружи знакомые, рвущие душу звуки — тихое ржание Плясуньи. Снова возникло искушение — оно появлялось всякий раз, когда я пытался проглотить кусок жирной макрели, — оседлать мою кобылу и пуститься наутек. Но я удержался от искушения. К тому же Пирс не спускал с меня глаз и, похоже, догадывался о моих мыслях.

— Роберт, — мягко сказал он, — когда ты окажешься на нашем Собрании в общей комнате, постарайся выбросить из головы все прежние желания, тогда слова Иисуса проникнут в твою душу и ты через Него будешь говорить с нами.

— Хорошо, Джон, — отозвался я. — Попробую.

Перед Собраниями шесть Опекунов (а со мной — семь) берут фонари и обходят все три барака

с сумасшедшими, чтобы «набраться смирения». Каждый раз этот ритуал напоминает мне поведение короля Генриха перед сражением при Азенкуре,[60] хотя мы не призываем сумасшедших храбро сражаться поутру; а стараемся успокоить перед сном их души. Мы говорим, что с ними Христос («как если бы, — слышу я голос Пирса, — Он был кровью, исходящей из вашего сердца, совершавшей крут и снова возвращавшейся в него»), и Он будет всю ночь охранять их сон.

Раскладываются соломенные тюфяки, и обитатели «Джорджа Фокса» и «Маргарет Фелл» ложатся и укрываются серыми одеялами. После этого мы читаем молитву, желаем всем спокойной ночи и уходим, унося фонари и оставляя больных в полной темноте. А вот мужчин и женщин «Уильяма Гарвея» редко успокаивают наши гуманные действия, некоторые из них не могут отличить день от ночи и не понимают, что такое сон, пока он не овладевает ими. Из своей комнаты, крошечной каморки, немногим больше моего платяного шкафа в Биднолде, я часто слышу плач и вой, доносящиеся из «УГ».

---

[60] Примечания: 60

Решающее сражение в Столетней войне, когда английское войско под началом Генриха V нанесло поражение французам (1415 г.) и англичане овладели всей Северной Францией

В течение ночи два Друга совершают то, что зовется «ночным обходом». Дежурят все поочередно: мы покидаем свои постели в темноте и обходим бараки, чтобы убедиться в том, что наши больные не поранились, не заболели и не обидели друг друга.

Когда подходит мое дежурство, я испытываю настоящий ужас. Особенно страшит меня вид Кэтрин, сидящей на тюфяке и рвущей на себе одежду. Я изготовил мазь из шафрана и фиалкового корня и натер ею виски Кэтрин, но пока никаких улучшений нет. В свое дежурство я добираюсь до постели уже после трех (всегда приходится кого-то лечить, а кого-то успокаивать) и долго, перевозбужденный ночными впечатлениями, не могу заснуть. В такие ночи в моем воображении всегда возникает образ Селии. Интересно, думаю я, носит ли она по-прежнему мое имя, зовется ли леди Меривел? Спит ли леди Меривел в этот поздний час или же, как я легко могу вообразить, поет перед гостями в ярко освещенном доме в Кью?

Вскоре после моего приезда в «Уитлси» я пытался описать свою любовь Пирсу как возвышенное, благородное чувство, король назвал бы такую любовь «приносящей благо». Однако Пирс не

согласился со мной. По его мнению, я обманываю себя. «То была „несдержанная" любовь», — сказал он и, ссылаясь на Платона, напомнил мне, что «несдержанность в любви говорит о болезни души». Эти слова я написал на куске пергамента, обернул им гобой и положил все вместе в сундучок, который мне дали для хранения личных вещей.

По причинам не вполне мне ясным на Собраниях Друзей разум мой наслаждается полным покоем. На этих встречах я всегда молчу. За прошедший месяц ничто внутри меня — ни Божий глас, ни что другое — не побудило меня говорить. На Собраниях не всегда говорят, иногда мы просто молча сидим, расположившись полукругом у камина. Удивительно, что эти долгие периоды молчания могут даровать силу — их и без этого трудно одержать. Поначалу я вообще чувствовал себя на Собраниях не в своей тарелке и с нетерпением ждал конца. Мысли мои уносились из этой комнаты в покинутые места. Но однажды вечером Амброс дал мне лист бумаги с просьбой прочесть написанное на нем. Вот что я прочел: «Будь молчалив и спокоен, и тогда ты сможешь достичь лета и не сбежишь зимой. Ведь если ты сидишь спокойно и терпеливо, ощущая над

собой Божью волю, побег невозможен». С этого момента я изо всех сил старался больше молчать, не питать отвращения к тишине, а любить ее; постепенно я стал на Собраниях чувствовать себя лучше и наконец начал оживать от присутствия любящих людей — Джона, Амброса, Эдмунда, Ханны, Элеоноры и Даниела.

Когда кто-нибудь из них начинает говорить, то даже самое обычное замечание предваряет словами: «Это пришло ко мне от Господа». Меня это трогает до глубины души, хочется смеяться от радости. Это ощущение сдерживаемого смеха ближе всего к счастью, чем все, что я пережил за долгое время.

На Собрания я надеваю парик, чтобы Джон и все остальные не видели мою уродливую щетину. Они так аккуратно расставляют стулья, не хочется портить общую картину. Но в парике и в одном из моих костюмов (обычно в черном с золотом — не в алом), заменившем кожаную табарду. я очень похож на прежнего Меривела — нынешний Роберт не заметен под пышным нарядом. Однако он существует. Он признателен за идущее от камина тепло, его убаюкивают мягкие, нежные голоса Ханны и Элеоноры, и когда кто-нибудь из них говорит, иногда засыпает прямо на

стуле. Но у квакеров есть одна неприятная черта — они любят командовать и не дают тебе спать»

Глава шестнадцатая
Цветочный аромат

Ветры улеглись, теплый апрельский воздух тих и неподвижен. В прогулочном дворе могучий дуб выбросил листву такого сочного зеленого цвета, что, когда я гляжу на нее, у меня текут слюнки. Не то чтобы мне хотелось съесть эти листья, нет, но все же каким-то образом использовать, пока они не пожухли.

Дожди прекратились, сквозь грязно-желтую корку пробилась молодая трава, а за стеной, в канаве, расцвели примулы и фиалки. Похоже, Пирса очаровали эти цветы; казалось, он не видел и не обонял ничего подобного. Он не только срывал их и внимательно разглядывал: я сам видел, как он ложился на край канавы, зарывался носом в заросли первоцвета и замирал минут на десять Отсутствующее выражение на его лице говорило, что Пирс задумал некий опыт с этими цветами, но вопросов я никаких не задавал, чтобы он не подумал, будто мое любопытство вызвано возвратом интереса к биологии.

Ханна и Элеонора непрестанно благодарят Бога

за ниспослание «доброй погоды», я же пришел к выводу, что для меня такая весна — жестокое испытание: в голову лезут игривые и праздные мысли. Я предпочел бы, чтобы небо снова заволокло и вернулась лютая стужа, так легче переносить тяжелую дневную нагрузку, которая не оставляет времени на отдых: долгие часы я провожу за самой ответственной работой, не выпуская из рук скальпеля.

В каждом бараке общую комнату предваряет небольшая прихожая, там горят масляные лампы, при их свете осматривают, лечат и оперируют больных. До моего появления среди Опекунов «Уитлси» было только два врача — Пирс и Амброс, им-то и приходилось бороться с безумием при помощи скальпеля. Теперь Пирс и меня заставил «послужить „Уитлси", применив к общему благу имеющееся мастерство». Другими словами, мне следовало подключиться к их работе, тоже делать надрезы, пускать кровь и при этом не выказывать недовольства: ведь Пирс постоянно присматривается ко мне, наблюдает и как бы оценивает. Он хорошо знает, какое отвращение питаю я к своей бывшей профессии. Но он знает также и то, что, если он и остальные Друзья выставят меня отсюда, я не буду знать, куда податься.

Пока от меня, к счастью, не требовалось делать серьезные операции, но все, кто лечит сумасшедших, очень верят в пользу кровопускания, и этим мы занимаемся ежедневно. Мне трудно вообразить меру страдания человека, которому вскрывают над тазом скальпелем височную вену, и, если делать это приходится мне, я всегда прошу у больного прощения и часто преодолеваю искушение прибавить (пока все же этого не делаю): «Прости меня, ибо я не ведаю, что творю». И действительно, за все время моего пребывания в «Уитлси» я не наблюдал ни одного исцеления после кровопускания. Мы также пускаем кровь из вены на руке, и у многих больных раны на руках не заживают — так часто прибегают к этой процедуре. О ней Амброс говорит: «В яркой крови, бьющей из этой вены, я *чую* запах желчи!» Его вера в медицину не уступает вере во Христа, и во всех случаях он остается честным и достойным человеком. Но я не видел чудесных исцелений и после надреза вены на руке. После этой процедуры все пациенты без исключения (даже буйные) несколько часов тихи, как мышки, но вскоре вновь возвращаются в свое обычное состояние, и боль от полученных ран только увеличивает их муки. Короче говоря, я довольно критически от-

ношусь к применяемым здесь методам лечения. Мы пускаем кровь и верим, что с ней из организма больного выходят вредные вещества, однако точно этого не знаем. Впрочем, вслух я сомнения не высказывал. Ибо какая польза в том, чтобы осуждать (чувствуете в моей речи отзвук библейских интонаций?), если не можешь предложить ничего лучшего?

Однако я не мог не отметить одно слабое место в нашей системе лечения, оно связано с негласным представлением о сумасшествии как о жидкой субстанции, которую можно терпеливо, капля за каплей, изгонять из организма или, напротив, изгонять решительно, вызвав кровотечение, рвоту или понос. Не знаю, жидкая ли субстанция сумасшествие, но, если это так, я пытался бы вызывать выделения у больных естественным, а не только насильственным путем, как принято у нас в лечебнице. Этого мы как раз здесь не делаем. Я постарался бы вызвать у безумцев слезы (от смеха или от грусти — неважно) или заставил бы их попотеть. В первом случае я рассказывал бы им подходящие случаю истории, во втором — устраивал бы танцы. Но ни то, ни другое здесь не поощряется. С теми, кто плачет, обращаются сурово, требуют прекратить нытье и вспомнить

Иисуса, который проливал слезы не о себе, а из сострадания к несчастным. Танцев, конечно, тоже не было. Единственные физические упражнения, доступные обитателям лечебницы, — это подача нитей на ткацкий станок, вращение прядильного колеса и медленное хождение по двору вокруг дуба. Недооценка двух целительных выделений, созданных самой природой, очень беспокоила меня, не давая ни минуты покоя. Эта мысль приходила мне на ум так часто, что пришлось нарушить мечтательную сосредоточенность Пирса на примулах и рассказать, что я обо всем этом думаю.

То, что я некоторое время вращался в придворных кругах, стало со временем известно и в «Уильяме Гарвее». Как это получилось, понятия не имею, — разве что рука короля ощущалась в ледяном лезвии скальпеля. По словам Пирса, большинство обитателей «УГ» забыли даже само слово «двор» и не могли представить себе, что это такое. Но там есть один пациент, участник военного мятежа на «Храброй королеве», который называет себя Пиболдом и получает явное удовольствие, рассказывая мне, что все мужчины чином выше гардемарина — переносчики сифилиса, чумы и всего остального, приносящего

страдание, их нужно убивать, как бешеных собак (так он и сделал, убив один, без посторонней помощи, трех офицеров), чтобы «освободить Англию от зловония привилегий». Узнав, что я в прошлом был «придворным хлыщом», он и меня включил в число тех, кого надо убить, и теперь каждую неделю придумывает для меня новую казнь: смерть и насилие — единственное, что днем и ночью занимает его мысли.

Иногда, по ночам, оставшись один в своем «платяном шкафу», я испытываю смертельный ужас перед Пиболдом. Однако в дневное время я подчас медлю и не сразу отхожу от его тюфяка: его способы умерщвления настолько необычны и остроумны, что доставляют удовольствие моему воображению. Моя реакция может показаться странной. И все же не могу не задаваться вопросом, не мечтают ли втайне мужчины робкого десятка встретиться лицом к лицу с тем, кто, не задумываясь, лишит их жизни? Так ли уж необычно почувствовать радость при встрече с ним?

Пиболд, Мой Спаситель

Сегодня вечером, после Собрания, я принес к себе в комнату лист пергаментной бумаги и

красиво вывел на нем эти кощунственные слова.

Утром двадцать первого апреля я вновь задержался в «УГ», слушая разглагольствования Пиболда, а выйдя из барака, увидел Пирса — он шел по двору, уткнув нос в букетик калужниц болотных, и это неожиданно натолкнуло меня на мысль, что, возможно, мы оба сходим с ума, и первые «ласточки» нашего заболевания — моя реакция на Пиболда, а его — на цветы. И как только я так подумал, мне сразу же открылось знание, как психически больной человек может скрывать свою болезнь не только от меня, но и от остальных Опекунов «Уитлси». Вот эта истина:

Нормальный человек, когда он болен, при первых симптомах болезни обращается к врачу, ища помощи; психически больной, напротив, попадает в лечебницу, когда его психическое расстройство достигло такой степени, что вылечить его почти невозможно. Другими словами, если обычную болезнь можно распознать и вылечить рано, сумасшествие — нельзя: ведь первые симптомы распространенных болезней изучены и известны, но кто знает, каковы они при сумасшествии?

Хотя приближалось обеденное время и запах

супа щекотал ноздри, я все же заставил себя пойти в свою комнату, лечь на узкую постель и — следуя девизу Фабрициуса: «Всегда сомневайся!» — серьезно задуматься над тем, верно ли мое предположение. Казалось, я чувствую на себе взгляд великого анатома.

За обедом я был тих и задумчив, чем вызвал беспокойство Элеоноры, спросившей: «Ты здоров, Роберт?» «Совершенно здоров, — ответил я, — просто этим утром многое впервые открыл для себя, и это нужно обдумать». Доброжелательный взгляд Амброса остановился на мне. «Если это поможет, — сказал он, — ты можешь поделиться своими мыслями с шестью Друзьями». Я поблагодарил и ответил: «Увы, Амброс, во мне нет ничего от философа, поэтому, когда мой мозг вынашивает, как мне кажется, нечто значительное, не стоит пробовать облечь эту мысль в слова: тогда она тут же улетучивается». Эдмунд не сдержал улыбки. Даниел встал и подлил каждому еще по половнику супа. Пирс промокнул губы салфеткой из грубого полотна и бросил на меня пренебрежительный взгляд. (Пирс вечно изображает ясновидца, он якобы знает, о чем я думаю, — меня это унижает.)

Днем пришла очередь женщин из «Маргарет

Фелл» идти на прогулку, — они монотонно кружили вокруг дуба, а мы с Ханной, выполняя роль надзирателей, гуляли вместе с ними, беседуя о вещах, способных радовать их сердца, вроде прихода весны и посева салата и красной фасоли на огороде в «Уитлси».

Я поравнялся с Кэтрин и спросил, как ей нравится дуб, красив ли он, приносит ли утешение. Она ответила, что в нем «много зеленой смерти».

— Что такое «зеленая смерть»? — поинтересовался я.

— Она бывает в природе, — ответила Кэтрин. — Иногда умирает только часть целого, а иногда все.

— А в людях ты ее видишь? Во мне, например?

— На тебе есть отблеск смерти. Но не зеленой.

Кэтрин остановилась, всматриваясь в меня, и женщины, идущие следом, стали натыкаться на нас. Бережно взяв Кэтрин за локоть, я повел ее дальше. Мне казалось, что, немного подумав, она даст мне ответ, но этого не случилось. Мысли женщины изменили направление, переключившись на то, что мучило ее днем и ночью: ведь, когда она спала, от нее сбежал муж. Она стала подробно — в двенадцатый или тринадцатый раз — объяснять, что, будь он плюгавым мужчиной,

ему не удалось бы уйти, не разбудив ее, но он был гигантом и потому смог переступить через нее, сделав один огромный шаг. Кэтрин показывала, как это произошло: задирала юбки, старалась шагнуть как можно дальше, получалось неуклюже; эта сцена привлекала внимание идущих сзади женщин, они останавливались, смотрели, смеялись над ней, как над клоуном. Я не мешал ей идти большими шагами. Эту имитацию бегства мужа она называет «прощальным шагом» и утверждает, что у каждого мужчины есть свой «прощальный шаг». Я часто, пытаясь успокоить ее, соглашаюсь с этим, и рассказываю, как король, которому докучают разные болваны, довел до совершенства свой «прощальный шаг», покидая тех, кто ему не интересен, элегантнейшей походкой. Несколько раз она просила показать ей эту походку. Но стать скверной копией короля — выше моих сил.

В этот лучезарный теплый день мы позволили женщинам гулять под деревом дольше обычного. Когда Кэтрин надоело идти «прощальным шагом», она снова пошла рядом со мной, через какое-то время дотронулась до моего плеча и сказала, что увиденный ею на мне отблеск смерти белого цвета. Скажи она алого — от этого цвета,

как вы могли заметить, у меня одни неприятности, — я мог бы расстроиться, но белый ничего мне не говорил, и потому я тут же выбросил ее слова из головы.

Я даже не догадывался, что вечером двадцать первого апреля впервые нарушу свою привычку молчать на Собраниях. Хотя меня самого привела в восторг случайно открытая мной «истина» о невозможности начать лечение психически больного человека до тех пор, пока он — за редким исключением — не становится неизлечим, тем не менее я не собирался ее обнародовать раньше, чем удастся предложить какие-нибудь практические средства для улучшения этого положения. И уж совсем не собирался открывать Опекунам свои мысли (слишком уж по-меривеловски они звучали) о целесообразности включения в ежедневную практику лечения плача и потения для изгнания из больных организмов ядовитых веществ.

Однако все вышло наружу странным и незабываемым образом.

Как обычно, мы сидели полукругом у камина, мое место было с краю. Рядом, на дубовом столе, стояла деревянная ваза, в нее Пирс поставил букетики примулы. Лишь потрескивание и шипение

горящих дров нарушали тишину, ту абсолютную тишину, какая бывает только на собраниях квакеров, — тогда кажется, что пребываешь в вечности.

В этой тишине было слышно, как я втянул в себя цветочный аромат и вскоре ощутил, как с каждым вдохом он медленно проникает в мой мозг, где преобразуется в слоги и слова. Прошло немного времени, и мне стало казаться, что мозг мой распирают слова, он был переполнен ими, как ваза примулой, голова моя разболелась, и я сжал ее руками, стараясь унять боль. Но боль не уходила. И тогда я открыл рот и заговорил, начав с пресловутой фразы: «Это пришло ко мне от Господа», а затем логически безупречно выстроил свою речь, сказав, что причины у сумасшествия могут быть самые различные, однако у всех, кроме тех, кто безумен с рождения, существует благополучный период, когда болезни еще нет, за ним следует инкубационный период, как и у остальных болезней, — это начало заболевания, когда процесс психического расстройства уже идет. «Мы, Опекуны тех, у кого болезнь зашла слишком далеко, разве не понимаем, что мужчинам и женщинам из „Уильяма Гарвея" труднее помочь и еще труднее их вылечить, чем больных

из двух других бараков? И разве нас не страшит то, что состояние кого-нибудь из обитателей „Джорджа Фокса" или „Маргарет Фелл" может ухудшиться, стать необратимым и тогда придется его связать и перевести к несчастным из «Уильяма Гарвея»? Тем самым мы ежедневно признаем, что безумие — состояние не статичное, оно, как и все прочее в мире, меняется — к лучшему или к худшему. Однако, дорогие Друзья, мы не задаемся вопросом, что представляет собой начальный период психического расстройства в каждом отдельном случае, — другими словами, как оно возникает и каковы его первые признаки. Меня же, когда я постигал науку врачевания, великие медики нашего времени учили: немногих больных излечишь, не поняв каждый симптом, каждую стадию болезни. И вот что открыл мне Господь: надо заглянуть в прошлое каждого нашего подопечного, просить его вспомнить, что было до начала болезни и какое несчастье ее вызвало. Таким путем мы можем выйти на следы, приведшие к сумасшествию, они не лежат на поверхности, как и свидетельства жизни прошлых веков, находящиеся под землей…»

Произнося эту длинную речь, я не думал, как слушатели воспринимают ее или меня самого,

мне просто надо было выговориться и освободить наконец голову, распираемую словами. Я намеренно сделал паузу, вдохнул несколько раз аромат цветов, подождал, пока он дойдет до мозга и возобновит его деятельность, и продолжал, перейдя к конкретным предложениям, сказав, что все они «посланы мне Иисусом Христом». Главное для нас, Опекунов, сказал я, опросить всех пациентов «Уитлси», чтобы лучше представить себе их прошлое. Слова несли меня вперед, словно стремительный поток, они накрывали меня с головой, как бурная река накрывает утопающего. В этот поток вливались самые диковинные вещи, самые фантастичные мои предложения — лечение плачем и лечение танцами, необходимость рассказывать разные истории и играть музыку. Во время речи я почувствовал, как головная боль милостиво отступает, это меня обрадовало, я воспрял духом и продолжал говорить, не сводя глаз с огня; в пламени я увидел фантастическое видение: одетый по-летнему Даниел играл на скрипке, а женщины из барака «Маргарет Фелл», счастливые, как дети, резвились и танцевали вокруг. Тут боль прошла совсем, видение исчезло, и я замолчал.

Я был охвачен необычайным возбуждением.

Сняв парик, я вытер лицо и голову платком. Все молчали, но я чувствовал на *себе* их взгляды. Так прошло полных десять или пятнадцать минут, отведенное на Собрание время подошло к концу, Амброс молитвенно воздел руки и пробормотал: «Благодарим Тебя, Боже, что Роберт заговорил при нас!» Больше он ничего не прибавил.

Слава Богу, этой ночью я не участвовал в ночном обходе и, почувствовав дрожь в коленках и тянущую боль в животе, лег в постель и заснул глубоким, тяжелым сном до утра.

Однако, когда я проснулся, на сердце у меня было легко — такого состояния я не испытывал со времени потери Биднолда. Объяснить, откуда взялось это новое состояние, я не мог, но был ему очень рад.

(Приехав сюда, я задумался над тем, что мы называем счастьем, — помнится, король как-то сказал, что у меня к счастью дар. Теперь мне ясно, что мой так называемый «дар» намного уступает состоянию души Ханны или Элеоноры: их можно назвать самыми счастливыми женщинами из всех, кого я знаю.)

Этим утром мне предстояло работать на огороде в паре с Пирсом, нашими помощниками были шесть или семь мужчин из «Джорджа

Фокса». (Мимоходом замечу, что Пирс настолько привязан к огороду, настолько гордится проложенными здесь дренажными канавами и молодыми саженцами груш, которые пытается сам растить *en espalier*[61] у южной стены, что ему нравится присматривать за всеми ведущимися в огороде работами, и если он видит, что рассада высаживается не точно по прямой линии, то кипит от негодования.) Светило солнце, и работа в огороде радовала бы меня, если б не вызывающее поведение Пирса. Он вел себя так, словно не хотел иметь со мной ничего общего, не принимал участия в том, чем я занимался, и обрывал все мои попытки заговорить с ним. Наблюдая издали, как Пирс сажает фасоль — подобно длинношеей птице, бросался он на вскопанную и выровненную граблями грядку и своими длинными белыми пальцами, как совком, любовно опускал в землю фасоль, сразу же переходя к следующей, — я вспомнил, что и во время наших совместных рыбалок в окрестностях Кембриджа Пирс иногда испытывал ко мне такую же неприязнь. Выносить это всегда трудно и больно: ведь никогда не знаешь, что его обидело. Но сегодня утром я мог

---

[61] Примечания: 61
Шпалерной формы *(фр.)*.

предположить, что ему не по душе мой вчерашний монолог. Через несколько часов, а может, и дней умный и дотошный Пирс разнесет в пух и прах все мои гипотезы, и они рассыплются, как карточный домик.

Пропалывая грядку с луком, я завел тихий — чтоб не услышал Пирс — разговор с Джекобом Лоу, помогавшим мне в работе. Я хотел знать, что ярче всего запомнилось ему до переезда в «Уитлси» и кем был он в пропитой жизни — торговцем, а может, ремесленником? Мясником и забойщиком скота, ответил он, никто не мог с такой легкостью рассечь телячью голову и вынуть нежные мозги. «Но меня убила одна шлюха, — прошептал он. — Убила своей грязной мотней. Сейчас у меня вторая жизнь».

Я попросил его подробней описать свою «смерть». Его яички раздулись и лопнули, рассказал он, и из этих лопнувших мешочков вылилась его жизнь.

Я взглянул на Джекоба Лоу. Розовощекий мускулистый мужчина; крупный, без всяких изъянов нос. По этим внешним признакам можно предположить, что, если в прошлом он и болел сифилисом, то теперь полностью излечился. Такие исцеления происходят редко, но если про-

исходят, то каждый раз — во всех случаях, какие я наблюдал, — при лечении применялась сулема, главным составляющим элементом которой является ртуть; с этим непостоянным веществом я однажды сравнил натуру короля. Ртуть же, если не выверить предельно точно дозу, — сильный яд. В больнице св. Фомы я видел, как от отравления ртутью умирал мужчина, он бредил, бессвязно говорил и испускал пронзительные крики, словно охваченный внезапным приступом безумия. Улыбнувшись про себя, я бросил взгляд на согнутую спину Пирса. За то время, что ушло у нас с Джекобом на прополку лука, мне удалось восстановить события, приведшие его к сумасшествию.

Ни за обедом, ни после него никто из Друзей ни словом не обмолвился о моем вчерашнем выступлении, а отчужденность Пирса подтверждала, что, по крайней мере, уж он-то точно им недоволен. Поэтому я никому не говорил о своем разговоре с Джекобом Лоу и ждал очередного Собрания, на котором Амброс мог дать оценку моей теории. Но он даже не упомянул о ней, и, каюсь, я с горечью подумал: выходит, то, что я принял за откровение, ничего не значит в глазах Опекунов. Только через несколько дней я понял: они посте-

пенно усваивают новое — не набрасываются на него жадно, не поглощают тут же, а некоторое время переваривают и только потом оценивают.

Между тем у Пирса закончился период неприязни ко мне, и однажды утром он пригласил меня на прогулку за цветами. Выйдя за ворота, мы довольно скоро набрели на место, где росли бледные, источавшие нежный аромат нарциссы, и Пирс попросил меня их нарвать.

— Видишь ли, Роберт, — сказал он, когда я собрал цветы, — меня мучает мое невежество.

— Тебя, Джон? — удивился я.

— Да. Я дал себе клятву, что этой весной найду ответ на давно занимавший меня вопрос — что такое цветочный аромат? Почему он есть? Может, растения дышат? И аромат всего лишь их дыхание? А если не дышат, то какая часть цветка ответственна за аромат?

— Почему ты хочешь это знать, Джон? — спросил я.

— *Почему?* Да просто потому, что *не знаю.* В этой загадке, несомненно, таится некий Божественный урок, и пока я не разгадаю загадку, не пойму и урок.

Я протянул Пирсу букет нарциссов, и он взял их с нежностью, как девушка. Меня так и под-

мывало рассказать ему, что запах примулы уже привел меня к знанию более полезному, чем все, что он может узнать, продолжая изучать цветы, но я промолчал.

Глава семнадцатая
Гости Вифлеема

Прошлой ночью мне приснился Уилл Гейтс. Будто я был в Лондоне, шел в Тауэр и повстречал Уилла в лохмотьях, он просил милостыню у ворот замка. Положив в миску несколько монет, я притворился, что не узнал его.

Я проснулся в волнении от сна и подумал, в каком же смятении находится мой мозг, пытаясь забыть прошлое. Нет нужды напоминать вам, сколько всего постарался я вычеркнуть из памяти, оказавшись в Биднолде. Многое из того, что я тогда обрек на пребывание в вечной тьме, нужно опять извлекать на свет. Теперь в забвение погружались моя бирюзовая кровать, ужины при свечах, благородный марал из парка, ленты Селии абрикосового цвета и, конечно, аромат королевских духов; по мнению Пирса, они мне нравились потому, что источали запах власти. Но, увы, все эти вещи, словно рельефные изображения, высечены в ткани моего мозга. Иногда я не думаю о них много часов подряд, но не уверен, что когда-нибудь смогу все полностью забыть.

Мне часто вспоминается моя птичка, мой индийский соловей. Теперь я знаю, что меня обманули. То был обыкновенный черный дрозд. Но странная вещь — мне все равно. Живой — он дарил мне радость, и я только улыбаюсь при мысли, что меня одурачили. Относительно Меривела и многих других, живущих в наш век, можно с определенностью сказать: они не всегда хотят знать правду. А когда она все же выходит наружу, не торопятся снять с нее налет вымысла. Так, черный дрозд навсегда останется в моей душе индийским соловьем, хотя их и нет в природе. Король был прав, говоря, что я «сплю»…

Чтобы быстрее забыть о прошлом, я стал каждый день бывать у Кэтрин. Убежден, если мне удастся помочь излечиться хоть одному человеку и увидеть, как больные покидают «Уитлси», я почувствую себя полезным, и это вновь обретенное сознание собственной нужности определит мое будущее — каким бы оно ни было — и не даст предаваться сожалениям об утраченном прошлом.

Иногда мысли Кэтрин путаются, и тогда ей кажется, что она в аду, но в другое время она охотно делится со мной секретами из своей прошлой жизни, рассказывает, что муж ее работал каменщиком, однажды он взял ее с собой,

привел в темное пыльное пространство между церковным сводом и крышей и там творил с ней разные богохульства. Она также описывает мне, что происходит с ней, когда она ложится спать: сначала живот пронзает боль, потом, словно обручем, стягивает голову, а стоит ей забыться сном, как начинаются сердечные спазмы и тело бьют судороги.

Я понял, почему Кэтрин рвет на себе одежду: она делает «окошечки» для тела (так она это называет), чтобы оно могло «видеть»: разум и тело, считает она, должны быть постоянно настороже, иначе кто-то может подкрасться, обидеть ее или предать. Если ее руки, ноги, тело закрыты, ей кажется, что они «ослепли».

Я заметил, что ее успокаивает вода, — особенно омовение ног, за этим занятием она может погрузиться в транс. Как-то на ночном обходе я обсуждал этот феномен с Амбросом. На следующий день он сказал мне, что провел остаток ночи за книгами по медицине и нашел то, что смутно помнил: если натирать пятки черным мылом, то возбуждение покинет мозг больного, он успокоится и сможет отдохнуть.

Это лечение я стал пробовать на Кэтрин. Сажусь подле нее, ставлю рядом сосуд с теплой

водой, кладу ее ступни поверх сухой ткани на свое колено. Потом окунаю черное мыло в воду и, одной рукой придерживая ноги, другой растираю мылом подошвы. Каждый раз, когда я совершаю эти не совсем обычные действия, Кэтрин сидит не шевелясь и внимательно на меня смотрит — так, наверное, смотрят на извлеченный из гробницы предмет древнего искусства.

У меня быстро устают плечо и запястье. Не хватает сил тереть пятки столько, сколько хотелось бы. Но если удается продержаться больше двадцати минут, меня ждет награда: взгляд Кэтрин туманится, глаза закрываются, голова падает на грудь. Три раза она даже засыпала на несколько минут — и ни спазм, ни судорог, однако стоит мне прекратить свои действия, и она тут же просыпается. Меня страшно злит, что мы с Амбросом нашли какое-то половинчатое решение.

До сих пор ни слова не сказано по поводу моего выступления на Собрании. По словам Пирса, Друзья обдумывают мои мысли — «хотя речь твоя, Роберт, была слишком вызывающей, даже высокомерной». Вот и вся реакция. Я же в частном порядке выясняю, что предшествовало сумасшествию Кэтрин, в надежде, что любое знание может помочь. В результате расследования

мне стало ясно, что у Кэтрин исключительно любящая, но несколько инфантильная натура. Поэтому при помощи Элеоноры, которая хорошо шьет, я смастерил для Кэтрин тряпичную куклу (личико разрисовал масляными красками), решив, что если кукла ей понравится, то станет ночью утешением, — ведь каждый ребенок тащит в постель куклу или другую игрушку. Кукла была самая примитивная — ни кистей, ни стоп, ни волос, платье сшили простенькое, но и его Кэтрин, как только ей вручили куклу, порвала в клочья. Она долго смотрела на куклу, потом вытащила из тюфяка немного соломы, устроила на каменном полу что-то вроде гнезда, положила в него куклу и позвала соседок посмотреть. Они сгрудились вокруг. Одна пронзительно хохотала, другая пыталась что-то сказать, но только пускала слюни. Кэтрин перевела взгляд с них на гнездо, а потом опять на них. «Вифлеем», — сказала она.

Теперь по ночам она шепчет молитвы кукле, в руки не берет, но помнит о ней каждую минуту ночного бодрствования. Она верит, что кукла — копия младенца Христа. Кэтрин неважно, что лицо куклы — если его можно так назвать — больше похоже на лицо Рози Пьерпойнт, чем на сияющий лик младенца Христа. Она видит

Иисуса, рожденного ее воображением.

С приходом мая до нас дошли вести из Эрлз-Брайда, что чума, о которой так много говорили, пришла в Лондон: каждую неделю там умирает больше сотни человек.

«Согласно достоверным источникам», король и весь двор перебрались в Хэмптон-Корт,[62] но вряд ли и там долго будут в безопасности. По мнению жителей Эрлз-Брайда, такая мощная вспышка инфекции может распространяться и по воде, и по воздуху, люди, бегущие из города, могут разнести ее по всей стране.

Опекуны «Уитлси» сели у камина, скрестили руки на груди и попросили Иисуса «не сеять здесь семя Черной смерти, дабы не отягощать еще больше страданий, свидетелями которых мы являемся».

Тогда-то Эдмунд (чьи сияющие глаза и густая борода говорили о недюжинном здоровье, так что трудно было представить, что его может свалить с ног даже лихорадка) предложил с сего дня держать ворота «Уитлси» на запоре и никого не впускать в лечебницу, кроме тех, кто продает нам солому, дерево, муку и мясо.

---

[62] Примечания: 62
Дворец (Тюдоровский) под Лондоном, стоит на Темзе.

Мы живем в уединенном месте, заметил я, сюда мало кто ездит, поэтому предосторожность Эдмунда излишняя. Но Амброс напомнил, что время от времени родственники заточенных здесь людей приезжают к ним из Лондона, Линна или Ньюмаркета, они привозят еду, деньги, одежду. «Придется не пускать их в лечебницу, пока не закончится эпидемия».

Элеонора, Ханна и Эдмунд выразили кивком согласие. Даниел встал, сложил руки трубочкой, приложил к губам и начал в них дуть, как человек, который учится свистеть. Пирс презрительно фыркнул и вынул из кармана пузырек с противоядием. Свое мнение он выразил в следующих словах: «Визиты родственников — единственное, чего ждут наши больные Друзья. Если мы их запретим, то тем самым многих приведем к опустошению и отчаянию».

Как я заметил, Опекуны очень вежливы в спорах друг с другом — пожалуй, только Пирс позволяет себе иногда дуться. Так что обсуждение того, пускать или не пускать на территорию лечебницы посторонних, велось весьма доброжелательно — каждый высказывал свое мнение и вежливо выслушивал возражения. В споре не принимал участие только Даниел, время от

времени он испускал из сложенных трубочкой рук странные звуки, отдаленно напоминавшие крики совы, которые я слышал из окна своей спальни в Биднолде. Никто не обращал на это ни малейшего внимания.

Я был на стороне Пирса. Мне было известно, что мать Кэтрин обещала летом навестить дочь, и та с нетерпением ждала дня, когда мать обнимет ее. Неприятно было сознавать, что из-за нашего страха мы, по сути, прогоним эту женщину. Но Амброс рьяно поддержал предложение Эдмунда. Пусть уж лучше некоторые из пациентов немного помучаются, переживут временное одиночество, заявил он, чем все мы погибнем, а лечебница перестанет существовать. «Тем же, кто выживет, — продолжал он, — придется перебраться в лондонский Бедлам, а есть ли более печальное место на свете? Там они, скорее всего, погибнут от той же чумы, от которой мы пытаемся их уберечь!»

У великана Амброса были великолепные легкие и громоподобный голос. Казалось, он заполнил всю не слишком большую комнату, и когда заговорил Пирс, голос его звучал слабо и гнусаво, словно для него уже не осталось места.

В результате было решено: с этого вечера воро-

та будут всегда на засове, а под словами: «испытал тебя в горниле страдания» повесят объявление, уведомляющее, что на время эпидемии чумы посещение больных в «Уитлси» прекращается. Еду и деньги можно оставлять в корзине у входа — их передадут по назначению. Справиться о состоянии своего больного можно посредством записки, адресованной Опекунам.

Пирса очень расстроило это решение, от волнения у него сильно потекло из носа. А я вдруг почувствовал страх, представив себе, что мир за стенами «Уитлси», такой знакомый и любимый, заболеет и вымрет, и из всей Англии останемся в живых только мы и с нами сотня душевнобольных.

Пришел май — жаркий и безветренный, световые пятна плясали на ровной линии горизонта. Со времени моего приезда дождей почти не было, нам приходилось черпать воду из колодца на поливку нашего огорода, и завязь на грушах Пирса сморщилась, как мошонка у старика.

Время примул прошло, трава за воротами высохла и побурела. Хотя Пирс обещал наделать нам букетиков, чтобы освежить воздух и прогнать бацилл чумы, ему удалось найти всего лишь несколько желтых нарциссов.

Эдмунд, который, как я упоминал, любил мыться под сильным ливнем, объявил, что жара — «нездоровый тип погоды, при которой хорошо только микробам», и повсюду ходил в шляпе.

Мне вспоминалась зима, снег в парке, мои мысли о русских — все это казалось таким далеким, не верилось, что оно вообще когда-то было.

Ночью было душно, воздух совсем не освежал, засыпал я с трудом, и у меня выработалась привычка часто подниматься посреди ночи; иногда я просто глядел из окна в направлении Эрлз-Брайда и снова ложился, а иногда, засунув ночную рубашку в штаны и надев туфли, медленно брел к «Маргарет Фелл», чтобы посмотреть, спит ли Кэтрин.

Я продолжал ежедневно тереть ее подошвы черным мылом — уже с некоторой надеждой на исцеление. Теперь я мог сделать паузу или вообще прекратить всякие действия — она не выходила из сна и могла проспать около часа. Когда я глядел на нее, спящую, меня охватывала тихая радость от моего успеха.

Однажды, вконец измученный майской бессонницей, я тоже отключился и забылся на полу барака прямо во время растирания стоп, а когда проснулся, увидел, что Кэтрин укрыла меня

своим одеялом. Мне хотелось еще побыть с ней, но тут началась утренняя суета, женщины торопились опорожнить мочевые пузыри, и куда бы я ни глянул, всюду кто-нибудь сидел, раскорячившись, на ведре; острый запах мочи стоял в воздухе — не в силах его выносить, я выбежал на улицу, где уже занималась заря.

Я пошел навестить Плясунью — в эту жару ее нещадно кусали мухи, — прижался головой к шее лошади и представил, как неспешно пробираюсь к Темзе ранним утром, когда Селия еще спит в объятиях короля в Хэмптон-Корте. Мне вспомнилось, как мечтала Селия о ребенке, и я задумался, не родится ли у короля еще один бастард, раз королева не может подарить ему наследника. Эти воспоминания прервал топот Плясуньи — она стала беспокойной и легко поддавалась страху с тех пор, как мы перестали выезжать за ворота «Уитлси». Не будь она самым дорогим, чем я владел, — открыл бы ворота и позволил ей скакать на все четыре стороны.

Прошло четыре дня, и на Фенз пролился небывалый ливень. Затвердевшая почва очередной раз превратилась в месиво. После обеденного супа Пирс пригласил всех Опекунов в общую комнату, чтобы принести благодарственные молитвы за

дождь, пролившийся на его салаты и бобы. После окончания молебна Эдмунд взял кусок мыла, разулся и выбежал под дождь, но тут же вернулся очень возбужденный и во всеуслышание объявил, что у ворот стоят посетители — старуха с дочерью, они требуют, чтобы их впустили.

— Амброс, ты что, собираешься оставить этих людей под дождем? — спросил Пирс.

Амброс подошел к окну.

— Туча движется к востоку. Дождь скоро кончится, — сказал он.

— Им нельзя входить, — подтвердил Эдмунд. — И они не войдут. Прочтут наше объявление и уйдут.

— А если они не умеют читать? — спросил Пирс.

Амброс немного помолчал, потом сказал:

— Кто-то из нас подойдет к воротам и поговорит с ними через решетку.

— Я могу пойти, — предложила Ханна.

— Нет, пойдет Эдмунд, — распорядился Амброс. — Он любит проводить время под дождем, ему это ничего не стоит.

Из дверей «Уитлси» я наблюдал, как Эдмунд в одних поношенных подштанниках большими прыжками понесся к воротам, на бегу намыливая

грудь, и там остановился, прильнув к небольшой железной решетке в тяжелых воротах. Шум дождя, барабанившего по земле и крыше, помешал мне разобрать, что он говорил. Со своего места я не мог видеть посетителей, но они, похоже, проявили большую настойчивость: за время разговора Эдмунд успел вымыть все, кроме ног.

Наконец он вернулся и, наклонившись, намылил колени и икры. К этому времени ливень действительно сместился к востоку, и дождь шел настолько мелкий, что не смыл мыло с его ног. Задрав голову, Эдмунд сердито посмотрел на очищающееся небо и направился к колодцу, где завершил свое омовение. Только потом он вернулся к нам и рассказал, что приходили мать и сестра моего потенциального убийцы Пиболда, приехали они из Пакериджа, расположенного к северу от Лондона.

Я пошел в свою комнату, которая теперь больше напоминала мне комнату, чем платяной шкаф, и бросил взгляд за забор, на дорогу, ведущую к болотам Эрлз-Брайда. По ней брели две фигурки в бедной одежде. Они часто останавливались и смотрели в нашу сторону. Потом молодая женщина обняла старую за плечи, и они двинулись дальше, пока не исчезли из виду. Только после

того как они скрылись, я задним числом припомнил, что вроде бы в руках молодой женщины, сестры Пиболда, была на вид тяжелая корзина. Конечно, они приехали с гостинцами, но, отосланные назад Эдмундом, не догадались оставить корзину у ворот.

Эта догадка, как и сознание того, что женщины — родственницы Пиболда, заставила меня сбежать по лестнице и предупредить Амброса, что я поеду вдогонку за гостями, чтобы доставить по назначению принесенные дары.

— Очень хорошо, — согласился Амброс, — только не подходи к ним близко, чтобы не вдохнуть заразу.

— Они не больны, Амброс. В Пакеридже нет чумы.

— Этого мы не знаем, Роберт. Болезнь пришла к нам из Южной Европы, она двигалась на север и, возможно, продолжает продвигаться и сейчас.

— Хорошо. Я не подойду к ним, просто крикну, чтобы поставили на землю свои гостинцы, и предложу отнести корзину их родственнику. Это тебя удовлетворит?

— Вполне.

— И скажи, что нам жаль их потраченного времени, — вступил в разговор Пирс.

— Скажу, Джон.

Я пошел седлать Плясунью, на которой давно уже не ездил. Буря пронеслась, опять светило солнце, больные из «Маргарет Фелл» собрались на прогулку, но мои мысли были далеко от них, — я думал только о том, чтобы догнать наших посетителей.

При виде седла Плясунья издала радостное ржание, бока лошади дрожали от возбуждения, когда я затягивал подпругу. Как только я сел в седло, она тут же пустилась рысью к воротам, испугав женщин, гулявших вокруг дуба, я пытался ее придержать, но она, наклонив голову, так рванула вперед, что я потерял равновесие и чуть не вывалился из седла. Даниел открыл ворота, мы вылетели за пределы «Уитлси», и тут моя великолепная кобыла понеслась галопом, как на ответственном состязании; в считанные минуты мы оказались посреди нескольких бедных хижин — так выглядела деревушка Эрлз-Брайд. Я надеялся догнать родственников Пиболда еще до деревни, но их нигде не было видно. Переведя Плясунью на медленную рысь, я пересек Эрлз-Брайд и выехал на прямую грязную дорогу, которая вела в Марч. Ровная местность позволяла далеко видеть, но на дороге никого не было. Мне

удалось остановить лошадь. Я спешился и бросил взгляд на оставшуюся позади деревню. Как я уже упоминал, в ней нет ни гостиницы, ни постоялого двора, куда бы женщины могли зайти. Они словно растворились в свежем после дождя воздухе.

Держа Плясунью на коротком поводу, я пытался повернуть ее, чтобы вернуться в деревню, постучаться в дверь Томаса Бака (кровельщика и единственного весельчака в этом унылом краю) и спросить, не просились ли к кому на ночлег или просто передохнуть две женщины. Но Плясунья упорствовала, не желая поворачивать назад. Она гневно закатывала белки, вставала на дыбы и рвалась из рук. Я непроизвольно отступил. Плясунья — крупная и сильная кобыла, и, хотя жизнь мою сейчас трудно назвать счастливой, мне не хотелось бы совсем ее лишиться под копытами лошади на этой пустынной заболоченной дороге.

Как мне теперь ясно, нужно было не отступать, а изо всех сил удерживать поводья. Я легко мог лишиться лошади. Вырвавшись за ворота «Уитлси», она почувствовала в воздухе залах свободы. И теперь, когда перед ней расстилалась ровная прямая дорога, Плясунья сделала свой выбор. Она радостно забила копытами и бросилась вперед,

никогда не бежала она столь резво — даже во время нашей ночной скачки в Ньюмаркет. Я же остался стоять — одной ногой в канаве — и с дурацким видом смотрел ей вслед.

Придя в себя, я сделал единственное, что пришло в голову, — побежал за лошадью, звал ее, хотя и понимал, что действия мои бессмысленны и я похож на цыпленка, пытающегося лететь за орлом. Но тут, откуда ни возьмись, появились два босоногих оборванца, лет десяти-одиннадцати.

«Мы поймаем ее, сэр!» — пообещали мальчишки и, не дожидаясь ответа, помчались по дороге, сверкая голыми пятками. «Лизунья! Лизунья!» — кричали они, толком не расслышав подлинно клички кобылы.

Я остановился, вытащил из кармана платок, утер пот и стал ждать. Плясунья не замедляла бег. Мальчишки, видимо, не понимали, что лошади ничего не стоит оторваться от них, они азартно гнались за ней, каждый хотел обогнать другого, первым поймать лошадь и доставить ее мне. Я видел, как один из них споткнулся на размытой дождем дороге, но быстро восстановил утраченное равновесие и продолжил погоню. Их азарт непроизвольно порождал надежду, пусть мимолетную, что если терпеливо ждать, то на

исходе дня они вернутся, ведя с двух сторон мою кобылу. Но в глубине души я знал, что этого не будет. Плясунья будет бежать до глубокой ночи. Будет бежать, пока ее держат ноги. Она никогда не вернется в «Уитлси».

Не прошло и пяти минут, как Плясунья и мальчишки скрылись из виду. Было глупо и дальше стоять на дороге, и, вспомнив о деле, ради которого здесь оказался, я пошел прямо к дому Томаса Бака. Кровельщика не было дома. Его костлявая, похожая на общипанную курицу жена сказала, что видела двух женщин, они миновали деревню и вышли на дорогу, ведущую в Марч. Я еще не кончил ее благодарить, как она захлопнула дверь перед моим носом.

Вспоминая теперь тот день, когда потерял Плясунью и когда мать и сестра Пиболда, казалось, растворились в воздухе, я понимаю, что он был одним из самых важных за последнее время. Именно тогда я поменял статус: из гостя (который, заслышав ржание своей лошади, мог предположить, что когда-нибудь, если захочет, сядет на нее и вернется к прежнему существованию) я стал постоянным обитателем «Уитлси». Стойло Плясуньи опустело, и я смирился со здешней жизнью. Когда до меня дойдет, что вся моя жизнь

пройдет здесь, я полностью изменюсь. Сойдет на нет мое беспокойство и страсть к блеску. Я стану уравновешенным, серьезным человеком. Будет расти мое врачебное мастерство и опыт Опекуна. Эти мысли меня волнуют и трогают. Ведь я понимаю, что все это стало возможным благодаря любви Пирса, позволившего мне здесь остаться, и который — по непонятным причинам — проявляет ко мне больше заботы и внимания, чем кто-либо другой.

Но о том дне нужно еще кое-что рассказать. Тогда произошло еще одно важное событие.

Мальчишки отсутствовали около часа, и все это время я сидел на штабеле ивовых досок и считал находившиеся при мне деньги; каждый раз их оказывалось четыре пенса.

Неудача расстроила мальчуганов, им было жалко и меня, и себя, — ведь они понимали, что в случае успеха их ждет награда, и когда я дал каждому по два пенни, они долго вглядывались в монетки, словно ожидая, что те превратятся в серебро. Я поблагодарил мальчишек за их желание помочь и попросил, если Плясунья вдруг объявится в деревне, привести ее в «Уитлси». Юнцы кивнули, и один из них спросил: «А почему, сэр, вы назвали ее Лизуньей?» Я не знал, что

ответить, и неловко пошутил: «Она на другую кличку не отзывается».

Похоже, мой ответ опечалил (насколько это возможно в таком возрасте) мальчишек. Пришло время расставаться: мальчики отправились ужинать кукурузной кашей, а я неспешно побрел в «Уитлси», задавшись целью вспомнить в дороге все отчаянные, незабываемые скачки, которые у нас были с Плясуньей после того, как король подарил ее мне. Дойдя же до ворот лечебницы, я разом выбросил все эти мысли из головы и бодрым шагом вошел внутрь, словно утрата любимой лошади ничего для меня не значила.

Я пошел сразу на кухню — подошла моя очередь помогать Даниелу готовить ужин — и там застал Амброса, он сидел у дочиста оттертого стола с угрюмым, расстроенным видом. Он попросил меня сесть, и я понял, что случилось нечто ужасное. Даниел, чистивший картофель, посмотрел на Амброса, перевел взгляд на меня, потом вновь на Амброса и мягко произнес: «Роберт в этом не виноват», и Амброс кивнул, соглашаясь.

Последовала долгая пауза. Амброс, по своему обыкновению, молитвенно сложил руки под бородой. Потом грустным голосом поведал, что случилось в «Маргарет Фелл», пока я отсутство-

вал. Кэтрин зубами и руками порвала свое одеяло на лоскуты, связала из них веревку, привязала ее к поперечной балке и пыталась повеситься.

«К счастью, мы услышали доносившийся из барака визг женщин и, поспешив туда, успели ее снять прежде, чем она задохнулась, — сказал Амброс — Но рисковать было нельзя, попытка самоубийства могла повториться, и нам пришлось перевести Кэтрин в "Уильям Гарвей"».

Тишину нарушал только стук ножа Даниела, резавшего выращенную Пирсом картошку. Я пытался заговорить, но у меня перехватило горло. Известие было для меня страшным шоком: ведь такое случилось с тем единственным человеком, которому, как казалось, мне удавалось помочь. Но самое страшное ожидало меня впереди. Когда Амброс спросил женщину, почему она хотела убить себя, Кэтрин просто ответила: «Роберт бросил меня. Он сел на коня и ускакал».

Вечером, после ужина, пока остальные готовились к Собранию, я пошел в «Маргарет Фелл» и взял из соломы куклу, которую Кэтрин звала Иисус из Вифлеема. Затем, нарушив правило никогда не ходить поодиночке в «Уильям Гарвей», я пошел туда и разыскал Кэтрин, ее приковали за ногу к стене. Она спала. Женщине дали большую

дозу настойки опия, ее дыхание отдавало лекарством. Уложив *куклу* в постель из соломы рядом с тюфяком, я покинул барак.

Глава восемнадцатая
Тарантелла

Этой ночью я не мог заснуть. Около часу мне надоело лежать в темноте, я встал и зажег лампу. При ее желтоватом свете я стал рассматривать свои руки — всегда так делаю, когда волнуюсь, и потому хорошо знаю, как они выглядят. Красноватые, широкие пальцы, кончики плоские и ногти тоже. Ладони горячие и влажные. На тыльной стороне руки редкие волоски и веснушки. Это руки Меривела — не Роберта, и все же, когда в них скальпель, они не дрожат и не ошибаются.

В два часа **я** услышал, что проснулись Амброс и Эдмунд, и хотя моя очередь совершать ночной обход еще не подошла, я натянул штаны, надел туфли, взял лампу и присоединился к ним. Когда мы подходили к «Уильяму Гарвею» (я надеялся, что Кэтрин не спит, увидит меня и поймет, что я ее не бросил), Амброс прошептал мне: «Больной разум, к сожалению, более склонен к страстным привязанностям, чем здоровый».

Я улыбнулся.

— Мне это известно, Амброс.

— Поэтому святые люди любят всех, никому не отдавая предпочтения. Здесь, в «Уитлси», мы, Опекуны, даем обет следовать их примеру.

Больше он ничего не сказал, только прибавил шаг, но я понял: его слова были мне упреком. Я повернулся к Эдмунду, который шел в ногу со мной.

— Только жалость к Кэтрин, к ее страданию, вызвавшая в моей памяти некоторые оставшиеся без ответа вопросы из собственной жизни, побудила меня помочь ей. Никаких любовных поползновений с моей стороны не было, и от нее я тоже ничего не ждал.

— Я верю тебе, Роберт.

— Нельзя ведь помочь всем…

— Но именно это мы и должны пытаться делать.

Я думал: если мне удастся помочь хотя бы *одному* человеку…

— И что же ты думал?

Тогда я наконец смогу считать себя полезным членом общества.

— Полезным?

— Да.

— А почему ты не считаешь себя полезным сейчас?

— Потому что… Однажды мне это сказали.

— Кто?

— Неважно. Но я ему поверил, вот в чем дело.

— Теперь это не должно тебя больше тревожить, Роберт Нам, в «Уитлси», ты очень нужен. Здесь ты «полезен». Но я советовал бы в дальнейшем держаться подальше от Кэтрин.

— И все же…

— Никаких «все же», сказал бы Амброс.

— Я был близок к тому, чтобы ее исцелить.

— Звучит высокомерно. Исцеления исходят не от нас, Роберт Исцеляет только Иисус. Мы всего лишь исполнители Его воли.

Мы подошли к «Уильяму Гарвею». Амброс был уже внутри. Я часто бывал здесь, но мое отвращение к этому месту не уменьшалось. Пиболд знаете что барак страшит меня, и любит играть на моих страхах. «Он проглатывает тебя? — спрашивает он. — Вроде могилы для твоей мелкой душонки?»

К счастью, этой ночью он спад, зарывшись носом в солому. Проходя мимо, я впервые обратил внимание, какие у него худые, лишенные мышц конечности и шея, вспомнил о продуктах, которых он лишился, и подумал: если я когда-нибудь освобожу Пиболда от оков и попрошу меня убить,

у него не хватит на это сил.

Вопреки совету Эдмунда я сразу же направился в тот закуток, где лежала Кэтрин. Я склонился над ней. Женщина очнулась от вызванного опием глубокого сна, но опий еще был в ее крови, и она лежала без движения. Увидев меня, она хотела сесть, но не смогла: одна нога была в оковах: они удерживали ее на одном месте. Кэтрин открыла рот, чтобы закричать, но не смогла произнести ни звука. Я уже протянул руку, чтобы погладить ее по голове и успокоить, но тут к нам подошел Амброс. Он опустился на колени, слегка приподнял Кэтрин и поднес к ее губам кружку с водой; она пила, но взгляд ее был устремлен не на Амброса и не на кружку, а только на меня, и по мере того как она пила, глаза ее наливались слезами. «Поговори с ней, — тихо сказал Амброс. — Скажи, что не покинешь „Уитлси", потому что теперь здесь твой дом».

Я попытался это сделать.

— Моя лошадь убежала, — сказал я, — и больше я не буду выезжать за ворота. А буду…

Амброс закончил предложение за меня:

— С нами. Роберт будет с нами.

Я кивнул, соглашаясь с ним. Амброс отвел от губ Кэтрин чашку и осторожно опустил женщину

на тюфяк. И я вдруг представил себе ее мужа, каменщика, укладывавшего жену на изогнутую поверхность свода и неспешно расстегивавшего штаны с требованием, чтобы жена уступила его желанию на крыше Божьего Дома.

Спустя два дня Кэтрин вернулась в «Маргарет Фелл». Амброс проинструктировал меня, как я должен уже «по-новому» — так он это называл — ухаживать за ней. Я мог ее посещать только раз в день и никогда ночью — за исключением тех случаев, когда подходил мой черед идти в ночной обход. Продолжительность моего посещения не должна быть больше получаса. Мне разрешалось растирать ее ноги мылом, «но только мылом, Роберт, а не голой рукой», и не уделять Кэтрин больше внимания, чем обитателям «Джорджа Фокса». «Тогда она станет сдерживать свои чувства, — сказал Амброс — но больше всего опасайся, Роберт, чтобы ее внимание не льстило тебе и ты сам не искал бы его».

Мои ответ был искренним: от Кэтрин мне ничего не надо, я только хочу найти лекарство от ее бессонницы.

— Лекарство! — воскликнул Амброс. — Не знаю другого слова, которое было бы так обманчиво. Как врач, ты знаешь, что некоторые состояния,

некоторые болезни не поддаются лечению — если только не вмешается Бог.

— Не спорю, — сказал я. — Но *недавно* мне кое-что открылось о таинственной природе сна…

— Знаю, что ты в это веришь, Роберт. Хотя, возможно, ты не так уж осведомлен в этом вопросе, как тебе кажется. Время покажет.

Я вздохнул, удрученный суровостью Амброса.

— Время! — грустно произнес я. — Однажды мне сказали, что я человек своего времени, но в какой-то момент — не помню точно в какой — мое время и я раздружились, и теперь я не имею к нему никакого отношения, да и к любому другому тоже.

— Остерегайся жалеть себя, Роберт, — сказал Амброс. — Лучше направь свои мысли и энергию на музыку.

— На музыку?

— Да. Джон, я и все остальные долго обдумывали твои слова на весеннем Собрании и пришли к заключению, что танцы — как-нибудь в летний день? — могут благотворно сказаться на всех нас. Что ты скажешь? Поиграешь для нас?

Я взглянул на Амброса. Его широкое лицо расплылось в улыбке. Я откашлялся.

— Но я не такой уж хороший музыкант. Правда,

незадолго до приезда сюда я брал уроки игры на гобое у учителя-немца, но они внезапно оборвались.

— Много от тебя не требуется, всего несколько простеньких мелодий — полька, тарантелла…

— А-а…

— Сможешь?

— Хорошо бы кто-нибудь подыграл на скрипке. Звучание было бы лучше, полноценнее.

— Поговори с Даниелом. Он учился играть на скрипке, вы могли бы с ним порепетировать.

Амброс ушел, а я остался сидеть на кухне, где произошел этот разговор, и воображал, как женщины из «Маргарет Фелл» и мужчины из «Джорджа Фокса» выходят на залитый солнцем двор, слышат музыку и с глуповатым видом оглядываются, не понимая, звучит музыка на улице или только у них в голове. Эта мысль заставила меня улыбнуться.

Из стоявшей на столе миски я взял одну редиску и съел, ее резкий вкус вызвал в моей памяти лечение Лу-Лу, и в приятные мысли о предстоящих танцах в «Уитлси» внезапно вошло острое желание вновь увидеть древнюю бурную реку.

Этим вечером, проведя с Кэтрин дозволенные полчаса (когда я с ней, она уже через пять

минут поглаживания ног успокаивается, замирает и погружается в сон с чудной улыбкой на лице), я отправился к себе в комнату, достал гобой, завернутый в сочинение Платона, освободил его от бумаги, поставил новый язычок и стал играть одну, потом другую гамму, стараясь делать все так, как учил меня герр Хюммель. Ощущение инструмента в руках подарило мне ни с чем не сравнимое счастье. Меня ничуть не раздражала монотонность гамм, я получал от них наслаждение, старался наращивать темп, и мои неуклюжие пальцы почти справлялись с задачей.

Я прервался, вытер мундштук и заиграл пьеску «Лебеди пускаются в плаванье», и она, несмотря на то что инструмент был расстроен, да и навыка игры у меня, по сути, не было, звучала сейчас лучше, чем в летнем домике в Биднолде. Когда я закончил, в дверь постучали. Я открыл и увидел Элеонору. «Роберт, можно мне войти и послушать? Совсем немножко?» — попросила она.

— Конечно, входи, — сказал я. — Но это будет даже меньше, чем «немножко»: ведь, кроме этой короткой песенки, я ничего не знаю.

Как я уже говорил, Элеонора очень добра, и хотя я понимал, что ее разочаровал такой ограни-

ченный репертуар, она не подала виду и только весело попросила: «Тогда сыграй ее еще раз». Она села на мою кровать (скорее, койку — какая уж кровать!), единственное место» где можно сидеть в моем «платяном шкафу», и я еще раз сыграл *«Лебедей»*, Когда я кончил играть, она вытерла фартуком заплаканные глаза и сказала, что «песенка очаровательная».

Лето уже вступило в свои права, стоит удушающая жара, мухи наводнили «Уитлси», и мы с Даниелом, который, как я и ожидал, вполне прилично играет на скрипке, проводим много времени вместе. Цель Даниела — научить меня аккомпанементу к трем-четырем веселым скрипичным песенкам, у него есть даже ноты — правда, такие потрепанные, пожелтевшие и грязные, что, похоже, их извлек из морской пучины сэр Уолтер Рэли.[63] Одну пьеску под названием «Лионская тарантелла» сочинил некто, подписавшийся «шевалье де Б. Фоконнье», она написана в таком быстром темпе, что, во-первых, я не поспеваю за скрипкой, а во-вторых, не уверен, что сам шевалье де Б. Фоконнье не

[63] Примечания: 63

Рэли, Уолтер (1552–1618) — английский политический деятель, поэт, историк, мореплаватель.

свихнулся, сочиняя ее, и не окончил свои дни в лионской *asile.*[64] Когда я размышляю вслух о такой возможности, Даниел мягко упрекает меня за «привычку много болтать».

Пришло и ушло седьмое июня — годовщина моей свадьбы. Теперь даже не верится, что, облачась в алый костюм и напялив на голову трехмачтовый бриг, я верил, что начинаю новую жизнь, которая еще теснее будет связана с жизнью короля. Все случилось с точностью до наоборот: за моей свадьбой последовал год, полный одиночества, борьбы и унижений.

Хотя я решил не предаваться воспоминаниям о дне свадьбы, но седьмого июня, проснувшись очень рано, вспомнил, как я покинул шумный праздник, упал на лужайку возле дома сэра Джошуа и горько рыдал, — там меня и нашел Пирс. Я чувствую, что наши жизни каким-то образом связаны, без него мне было бы страшно одиноко. Нужно пойти и сейчас же поблагодарить Пирса за его дружбу, сказать, что даже в небольшом деле я всегда прикидываю, как бы на моем месте поступил он. И потому он как бы присутствует во всех моих деяниях — пусть иногда я от этого и

---

[64] Примечания: 64
психушке *(фр.).*

открещиваюсь, так что, пока я жив (здесь, рядом с ним, или в другом месте), он всегда будет пребывать со мной, как Иисус Христос с его верными последователями. Однако я даже не пошевелился, продолжал лежать на узкой койке, смотрел, как разгорается восход, и представлял» как мой друг спит, сжимая в руках половник.

Выкладываясь в работе над «Лионской тарантеллой» и остальными танцами, я вскоре выбросил из головы все, связанное с днем моей свадьбы. Даниел не был таким снисходительным учителем, как профессор Хюммель, и за короткое время многому меня научил, и теперь, музицируя, я ощущал такое же не поддающееся контролю возбуждение, какое испытывал, когда рисовал парк, подчинясь своему буйному воображению. Мы играли час за часом, добиваясь быстрого темпа, эти репетиции доставляли всем большую радость, Друзья садились вокруг и аплодировали, а Эдмунд, не в силах совладать с собой, прыгал от удовольствия.

— Музыка! Это здорово! — громогласно заявил Амброс за ужином после произнесения молитвы. — Почему у нас в «Уитлси» никогда не звучала музыка?

Я обвел лица за столом, все дружно закивали;

меня это изумило: как это квакеры, любящие во всем простоту, с нескрываемым отвращением относящиеся к церковным службам, сопровождающимся музыкой и пением, так влюбились в бешеный галоп шевалье де Б. Фоконнье? Похоже, когда мы наконец заиграем тарантеллу перед обитателями нашего Бедлама, у меня нет сомнений, что Амброс, Пирс и Эдмунд, Элеонора и Ханна будут самыми восторженными слушателями.

В «Уитлси», это Богом забытое местечко, письма пишут очень редко. Последняя остановка почтовой кареты — Эрлз-Брайд, поэтому письма к нам (если они есть) доставляет деревенская детвора, получая за каждое по пенни.

За все проведенное здесь время я написал только одно письмо — Уиллу Гейтсу, предположив, что он все еще живет в Биднолде. Я путано поблагодарил его за усердие и заботу обо мне и просил прощения за то, что удача оказалась не на моей стороне. Я просил его взять себе раскрашенную клетку индийского соловья и никогда не сомневаться в моей любви.

Ответа я не получил — да, собственно, и не ждал его. Писание писем — не из области талантов Уилла. Однако за день до танцев, когда

основательно убирали Прогулочный дворик, к воротам подбежал мальчишка с письмом для меня. Письмо было от Уилла. Вот что он писал:

Мой добрый господин Роберт!

Ваш слуга У. Гейтс нижайше благодарит Вас за бесконечную к нему доброту. Ваш отъезд очень огорчил его. Любезно подаренная Вами клетка постоянно напоминает ему о Вас. Он никогда Вас не забудет.

Из последних новостей: Ваш дом, земли и все остальное перешло к французскому дворянину виконту де Конфолену, человеку развязному и своенравному, — ему больше нравится рассматривать в зеркале свой парик, нос и наклейные мушки, чем любоваться красотой Биднолда.

К счастью, виконт редко гостит у нас, но, когда появляется, привозит с собой дам — одних француженок. Некоторые очень простоваты, что-то выкрикивают на своем языке и обнажают ножки.

Мы с Кэттлбери по-прежнему служим в доме, остались также лакеи и горничные — по распоряжению сэра Дж. Бэббекома.

Денег нам, однако, не платят. Виконт не назначил нам жалования, сэр Роберт, и мне пришлось жаловаться сэру Дж. Бэббекому.

В мае сюда приезжала леди Бэтхерст. Она сказала: О, Гейтс, что стало с этим прекрасным местом! Я не знал, что ей ответить. Тогда она заплакала. И хотя я обладаю обычной для норфолкских мужчин грубоватостью и не очень воспитан, но и я не мог сдержать слез. Прошу меня за это простить. Желаю Вам, сэр, и мистеру Пирсу всяческого благополучия. Буду рад получить от Вас еще весточку.

Все еще Ваш покорный слуга

Уилл Гейтс.

Прочитав письмо, я аккуратно сложил его и убрал в сундук, надеясь поскорее выбросить его из головы, потому что, не скрою, оно меня расстроило. Случилось так, что, как раз, когда я прятал письмо, ко мне заглянул по какому-то поводу Пирс и тут же понял (похоже, я совсем не умею скрывать от него свои чувства), что прошлое вновь вторглось в мои мысли, которые должны быть сосредоточены только на Исцеле-

нии танцами, — первый сеанс ожидался завтра. Стоя в дверях, Пирс внимательно смотрел на меня и, не расспрашивая о содержании письма, произнес очень строго: «Думаю, тебе известно содержание Закона о превышении власти церковными органами?»

— Нет, Джон, неизвестно, — ответил я.

— Позволь в таком случае просветить тебя. Этот закон позволяет по предъявлении постановления производить за неследование догмам англиканской церкви безотлагательную, не предусматривающую никаких компенсаций конфискацию собственности, движимого и недвижимого имущества. Из-за этого чудовищного закона сотни квакеров потеряли свои дома и земли. Сколько трагедий, сколько страданий — трудно вообразить. Ты не одинок в своем горе, Роберт. Ты всего лишь один из многих. Король отнесся к тебе, как к квакерам, — только и всего.

Я не успел даже открыть рот, чтоб ответить, как Пирс повернулся и вышел, оставив после себя в комнате легкий запах лекарства, которое он принимал даже в жаркую сухую погоду: простуда никогда не отпускала его.

На следующее утро меня разбудил непонятный шум, — я никак не мог уразуметь, что это такое,

хотя знал, что не раз слышал его раньше.

Я лежал, прислушиваясь. Было очень рано, это я понял по сероватому свету за окном. И тут вдруг меня осенило, что это за шум. Соскочив с койки, я раздвинул шторы из мешковины и понял, что не ошибся: дождь лил как из ведра, разрушив все наши приготовления к танцам. Нашей танцевальной площадкой предназначалось быть Прогулочному дворику, его выжженной солнцем желтой твердой почве. Теперь она превратилась в жуткое месиво.

Опекунов (не привыкших впадать в уныние ни при каких обстоятельствах) отмена танцев, однако, очень опечалила — всех, включая Пирса. Среди подавленного молчания и прозвучал мой вопрос, последнее время беспокоивший меня: «Что будут делать пациенты "Уильяма Гарвея", когда зазвучит музыка и обитатели "Джорджа Фокса" и "Маргарет Фелл" выйдут наружу?»

— Они не умеют танцевать, Роберт, — сказал Пирс.

— Их нельзя развязывать, — прибавил Эдмунд.

— Но музыку они услышат, — сказал Амброс. — Мы откроем двери «Уильяма Гарвея», чтобы до них доносились мелодии.

Мне ничего не оставалось, как удовлетворить-

ся этими ответами, но на душе кошки скребли: бесконечная жалость переполняла мое сердце к мужчинам и женщинам из этого барака — даже в первое посещение, когда я увидел их в лохмотьях и соломе, она не была такой сильной. Мне припомнилась поездка в Кью на лодке и как мы проплывали мимо Уайтхолла, видели свет в окнах и слышали смех, я же находился вдали от всего этого, посреди темного водного простора, и, вспомнив то свое состояние, я понял, что больше всего на свете ненавижу, когда счастье одного человека приносит другому боль.

Дождь лил два дня, за это время Даниел и я, чтобы как-то развлечься, придумали несколько красивых вариаций к моей старой нудной песенке про лебедей, отчего она здорово выиграла. К концу второго дня, после ужина, мы взяли в руки инструменты и поиграли в общей комнате для Друзей; особенное удовольствие доставило мне то, что наша игра растрогала Пирса, хотя он только и сказал мне: «Ты делаешь успехи, Роберт».

Итак, все произошло в последний день июня, как раз после летнего солнцестояния: мы распахнули двери двух бараков и выпустили наружу людей. На деревянном столе стояли три ведра с водой, кружки и ковши, и я видел, как несколько

мужчин еще до начала танцев стали поливать из ковшей головы и хохотать. К ним присоединились остальные, игра с водой, похоже, их чрезвычайно забавляла, словно была одним из любимых занятий. Но вот мы с Даниелом заиграли польку, и понемногу все пациенты сгрудились у деревянного помоста, на котором мы стояли, и смотрели на нас во все глаза, приоткрыв рты. Некоторые заткнули пальцами уши. В этой давке играть было трудно. Я увидел Кэтрин, она протискивалась вперед и в результате встала так близко, что мне пришлось немного отступить, чтобы случайно не заехать ей гобоем в глаз.

Мы отыграли польку, я утер пот со лба, кто-то зааплодировал, растопырив по-детски пальцы, кто-то засмеялся, кто-то вернулся к ведрам с водой.

Тогда на подиум поднялся Амброс и встал рядом с нами. Обращаясь к толпе сумасшедших, он сказал: «Сегодня нам не надо гулять вокруг дерева. Вместо этого мы будем танцевать. Роберт и Даниел поиграют для нас, а мы будем прыгать или нестись в танце. Неважно, что и как мы будем делать. Мы можем встать в круг, держась за руки, или в квадрат, а можем танцевать поодиночке. Мы все, ваши Опекуны, тоже будем с вами

танцевать. А теперь начинаем!»

Амброс сошел вниз, он, Ханна, Элеонора и все остальные взяли себе в пару мужчину или женщину, мы же опять заиграли польку, народ отхлынул от подиума, желая видеть, как танцуют другие. Среди танцующих был Пирс, — он не имел ни малейшего понятия, как танцуется полька, но увлеченно прыгал на месте, держа за руки пожилую женщину — такую же худую, как он сам; женщину так душил смех, что она с трудом дышала.

Исполнив польку в третий или четвертый раз, я увидел, что всего несколько пар крутятся в некоем подобии танца, большинство же просто стоит, смущенно и даже раздраженно оглядываясь да сторонам. Мой эксперимент проваливался — однозначно. Кэтрин сидела на земле и держалась за мои туфли; создавалось ощущение, что меня тоже приковали, как обитателей «Уильяма Гарвея», откуда все это время неслись крики, вопли и непрерывный стук в дверь.

Я не знал, куда деваться от смущения.

— Ничего не выходит, — шепнул я Даниелу. — Они не понимают, чего от них требуется.

Даниел отложил скрипку и снял жилет. Он раскраснелся и вспотел. Потом снова взял скрипку в

руки, подстроил вторую струну и сказал: «Давай сыграем тарантеллу!»

Я вздохнул. Мне припомнились долгие часы, когда нам никак не удавалось справиться с трудной «Лионской тарантеллой». Казалось, все наши усилия впустую. Я отряхнул мундштук, затем, нагнувшись, оторвал руку Кэтрин от своей ноги и поднял женщину с земли. И только после этого обратился к предполагаемым танцорам.

— Сейчас мы сыграем для вас тарантеллу, — объявил я. — В этом танце много кружатся. Почему бы и вам не покружиться, не попрыгать, не сделать того, что хочется? Представьте, что вы опадающие листья или дети, прыгающие через веревочку.

Эти слова вызвали некоторый смешок. Я улыбнулся, сделал вид, что у меня прекрасное настроение, и приготовился играть. Но стоило мне поднять инструмент, как Кэтрин с криком: «Потанцуй со мной!» — схватила мою руку.

— Не могу, — сказал я.

— Роберт не может, — подтвердил Даниел. — Роберт делает музыку.

— Потанцуй со мной, — настаивала Кэтрин — она с силой потянула меня к себе, и я чуть было не свалился с подиума.

Но к Кэтрин уже подходил Эдмунд: он вовремя заметил, что происходит что-то неладное.

— Пойдем, я покажу тебе, как надо танцевать тарантеллу; — позвал он женщину. И Кэтрин позволила себя увести.

— Ну, Господи благослови! — шепнул я Даниелу.

В ответ он улыбнулся своей детской улыбкой.

Мы заиграли танец. Жаркий день и страх перед провалом заставили нас выложиться в полную силу — так быстро и самозабвенно мы еще никогда не играли; мысленно я возносил хвалу шевалье де Б. Фоконнье: кем бы он ни был, но музыку написал действительно необычную и волнующую. Когда мы приближались к концу, я шепнул Даниелу: «Давай еще разок» — музыка заразила почти всех, пациенты пытались — пусть и не в такт — двигаться под нее.

Тарантеллу мы исполнили пять раз подряд без перерыва, пот стекал у меня со лба, застилая глаза, отчего впереди все сверкало и переливалось ярким мигающим светом, как *étincellement*[65] звезды. К концу пятой тарантеллы сомнений не было: танцевали все — кто-то вертелся и бил в

---

[65] Примечания: 65
Мерцание *(фр.).*

ладоши, кто-то пытался петь, кто-то выл, а кто-то визжал, как дьявол.

Никогда в жизни я не видел, не слышал и не принимал участие ни в чем подобном. Когда мы перестали играть и стояли, утирая лица, на какой-то краткий миг я вдруг почувствовал, что я — больше не Меривел и даже не Роберт, — я слился духом со всеми мужчинами и женщинами, окружавшими меня, мне хотелось раскинуть руки и всех их заключить в объятия.

Этой ночью мы с Пирсом во время обхода обнаружили в «Уильяме Гарвее» труп женщины.

Шум и возбуждение в бараке достигли высшей точки, и я понимал, что виной всему музыка.

Мы накрыли труп простыней, и Пирс сказал, что завтра надо провести вскрытие. «Ради двух-трех больных из „Джорджа Фокса" и „Маргарет Фелл", которым помогли танцы, погибла эта женщина», — констатировал я. Пирс кивнул, соглашаясь со мной: «Никто из нас не обдумал все как следует».

Каждому больному из «Уильяма Гарвея» мы дали белладонну (тем, кто согласился ее проглотить, — Пиболд, тот выплюнул лекарство прямо мне в лицо) и ушли, оставив больных наедине с горестями, высказать которые ни у кого из них

не хватало слов.

Было большим облегчением перейти из «УГ» в «Маргарет Фелл», где, несмотря на едкий запах пота, было спокойно и тихо, и с первого взгляда было видно, что все женщины спят. Бодрствовала одна Кэтрин. Она сидела на тюфяке, прижимая к груди куклу — одежды на кукле не было, даже рваных лохмотьев, — казалось, Кэтрин кормит ребенка.

— Побудь с ней несколько минут, пока я загляну к «Джорджу Фоксу», — сказал Пирс. — Дело идет к утру, а я очень устал после твоей тарантеллы, Роберт.

В эти дни я дал себе зарок никогда не оставаться наедине с Кэтрин. Амброс и Эдмунд помогли мне осознать, какой вред я принес — совершенно бессознательно, — потакая чувству (может быть, даже любви?), на которое не мог ответить. Осознав это, я стал держаться с Кэтрин отчужденнее, иногда просил Ханну или Элеонору гладить ей пятки, а однажды даже сказал женщине, что очень занят и не могу слушать ее истории.

Однако в ночь после тарантеллы я сидел рядом с ней, держал ее ноги на коленях и тщательно их растирал: меня беспокоила ее бессонница.

Кэтрин не шевелилась — она смотрела на меня.

Потом отложила куклу в сторону, медленным, ласкающим движением приспустила ночную рубашку, обнажив моему взору грудь. Облизывая губы, она глядела на меня, в этих измученных глазах я видел пробивающееся сквозь сонливость желание. Я отпустил ее ногу и уже собирался встать, но Кэтрин держала меня, она тянулась правой ногой к моему паху, я же со стыдом и ужасом знал, что она обнаружит там затвердевшую плоть.

Я молился.

Молился, чтобы поскорее вернулся Пирс.

Молился, чтобы Бог послал Роберту силу встать и уйти, а Меривелу не позволил сделать то, к чему он стремился, — лечь на безумную женщину.

Прошло несколько мгновений, в течение которых я не двигался, и тут тихий голос позвал меня от дверей. «Я здесь, Джон», — отозвался я и, поднявшись, вышел вслед за другом на утреннюю прохладу. Было четыре часа утра.

Глава девятнадцатая
В Божьем доме

Позади «Уильяма Гарная» за низким заборчиком расположено кладбище. Когда я впервые приехал в «Уитлси», мне его не показали, но вскоре я сам его обнаружил— На нем пока шесть могил, их выкопали мужчины из «Джорджа Фокса», один из которых до того, как сошел с ума, был могильщиком: выкопанные им могилы — одна к одной, ровные и аккуратные.

Я спросил Амброса, отдают ли родственникам тела умерших в «Уитлси» мужчин и женщин для захоронения в местах, бывших когда-то им родными. На это Амброс ответил, что в случае обращения родственников труп, конечно же, положат в гроб и выдадут по первому требованию, но «мало кто обращается, Роберт, ведь в основном родные и так считают их мертвыми». Эти его слова, которые я часто вспоминаю, помогли мне уверовать в смерть Меривела и рождение Роберта. Но, увы, Меривелу время от времени становится до тошноты скучно в могиле, и тогда он шумно рвется оттуда. Боюсь, он так никогда и

не успокоится, — разве что его по-настоящему похоронят (здесь в «Уитлси»?), и тогда с его могилы ветер будет доносить лишь шелест трав.

В то время как Амброс, Пирс и я приступили к вскрытию трупа женщины, найденной мертвой в «Уильяме Гарвее», группа мужчин под предводительством Эдмунда, вооружившись лопатами и кайлом, отправилась копать могилу. День опять выдался жаркий, и я видел, как над их головами вились тучи мух. Вид этих мух доводил меня до содрогания. Прошлой ночью, забывшись только под утро, я увидел во сне Фабрициуса, работавшего в своей крошечной анатомичке. Он был в дурном расположении духа, сердился на нас, студентов, говорил, что мы ничего толком не знаем, облепили его, как мухи — труп, и тянем из него знания.

В десять часов труп женщины уже лежал на столе в операционной «Маргарет Фелл». (Как я говорил, операционные есть во всех трех бараках, но в «Уильяме Гарвее» операции почти не проводятся: слишком уж там шумно, больные мешают, постоянно отвлекают.) Амброс, Пирс и я — все в кожаных фартуках — разрезали и сняли с женщины лохмотья — и некоторое время молча стояли, глядя на распростертое перед нами тело,

отмечая раны и прочие отметины на теле.

Женщина была старая — за шестьдесят, с серой морщинистой кожей, тощими и дряблыми мышцами живота и конечностей. Лобок покрывали редкие седые волосы, такие же волосы кустились на подбородке и вокруг сосков.

Глядя на женщину, Амброс перечислял все то, что не вписывалось в норму, — воспаленный, кровоточащий пупок, синяки в области груди, Пирс же тщательным образом все записывал. Я подошел к изголовью, руками открыл челюсти женщины, осмотрел зубы — черные, разрушенные, зловонные, и громко доложил об увиденном Пирсу. Вид мертвого тела произвел на меня такое гнетущее впечатление, что я не удержался и сказал: «Не кажется ли вам ужасным такое положение вещей, при котором мужчина в наше время может добиться положения и богатства разными способами, он многое может предложить в обмен, женщина же может предложить только свое тело, а когда оно состарится, ей остается (какое бы положение она ни занимала) только зависеть от милости своего опекуна или мужчины, его замещающего?»

— У квакеров все равны перед Богом, — возразил Амброс.

— Знаю, — сказал я, — но в обществе все иначе. Там всех женщин после сорока ждет духовное или физическое обнищание.

— По этой и еще по тысяче причин, — сказал Пирс, — мы порвали с обществом. Ни Ханна, ни Элеонора никогда не «обнищают» в том смысле, какой ты имеешь в виду.

— Никогда, — эхом отозвался Амброс.

— Так что радуйся, Роберт, что теперь ты с нами, а не там, где был раньше.

Произнеся эти слова, Пирс хмыкнул и тем самым положил конец затеянной мной дискуссии. Он верит, что, когда говоришь, тратишь бесценное дыхание: «а ведь оно имеет предел, Роберт, оно не восстанавливается». Впрочем, я действительно отклонился от главной задачи этого утра — понять причину смерти старухи.

Никто ничего не знал о других ее болезнях, кроме старческой слабости и приступов безумия. Однако, вскрыв грудную клетку, мы увидели заскорузлое, все в струпьях, сердце, кровь в артериях и венах была темная и густая, как патока. Пирсу не потребовалось много времени, чтобы определить, что смерть наступила в результате остановки сердца из-за слишком густой крови. Мы с Амбросом согласились с таким заключе-

нием, и я почувствовал большое облегчение, что нам не придется вскрывать печень и кишки. Вскрытие было закончено, и Амброс ушел, предоставив нам с Пирсом зашить, обмыть и завернуть труп, приготовив его для погребения. Я взял соответствующую иглу из футляра с медицинскими инструментами. Пирс тем временем отмерил нить и вдруг неожиданно заявил: «Я боюсь смерти, Роберт».

Я удивленно посмотрел на него. Пирс всегда проявлял завидное равнодушие к этой важной теме — смертному жребию человека. Однажды, когда мы рыбачили в окрестностях Кембриджа, он свалился с деревянного мостика и чуть не утонул, запутавшись в водорослях, однако при этом не выказал ни страха смерти, ни благодарности за спасение: я бросил ему сеть и вытащил на берег. Я всегда думал, что он видит в смерти награду за свои земные благодеяния и аскетизм и, возможно, иногда даже ждет ее, устав от непосильных трудов.

Я уже приступил к зашиванию грудной клетки старухи и потому отозвался кратко: «Кто-кто, но чтоб ты боялся смерти, вот уж не думал».

Он только кивнул, показывая, что так оно и есть.

— Это началось недавно, с месяц назад — учти, Роберт, я только тебе это рассказываю, не хочу беспокоить остальных, — тогда я почувствовал некоторые необычные симптомы…

— Какие симптомы?

— Ну… этот мой катар…

— Это всего лишь катар.

— Ледяной пот на макушке…

— Такое бывает при насморке или катаре, Джон.

— Сильный кашель, удушье по ночам и невыносимая боль в легких.

— Боль в легких?

— Да.

— Невыносимая?

— Иногда я с трудом сдерживаю крик.

Мертвая плоть меж моих пальцев была холодна как лед, и такой же холод ощутил я в своем сердце.

Я внимательно посмотрел на Пирса.

— Твои мысли о смерти вызваны этой болью в груди? — спросил я.

— Да. Потому что она не уходит. И ледяной пот тоже — несмотря на жару.

Я промолчал. Покончив с зашиванием, я вместе с Пирсом обмыл старую женщину, вставил

ватные тампоны во все влажные отверстия и завернул тело в саван. Потом сказал: «Позволь зайти к тебе сегодня вечером после Собрания, я хочу осмотреть тебя».

— Спасибо, Роберт, — сказал Пирс. — А ты не проговоришься?

— Нет. Я буду молчать.

— Спасибо. Ведь все они хорошие люди. И я не хочу; чтобы они из-за меня потеряли сон.

Все утро меня мучили мысли о Кэтрин, мое влечение к ней — того гнусного свойства, когда отвращение не отталкивает, а еще больше возбуждает.

Теперь же, когда я узнал, что мой друг болен, все остальное улетучилось у меня из головы — я с нетерпением ждал вечера, надеясь, что после осмотра смогу успокоиться сам и успокоить его, обнаружив всего лишь признаки лихорадки, которая скоро пройдет.

Собрание, однако, на этот раз затянулось дольше обычного. После нескольких минут молчания встал Эдмунд, он заранее попросил у Бога прощения за то, что собирается сказать: наверняка его беспокойство — сплошное ребячество и не стоит внимания Друзей, но оно его не отпускает. Дело в том, что он постоянно думает об одиночестве

квакеров.

Эдмунд замолчал. Никто не задавал никаких вопросов, все ждали, что он еще скажет. Он же извлек из кармана мятый лист бумаги и прочитал следующее: «Господь ясно указал мне, что живет не в храмах, которые построили и которыми управляют люди, а в людских сердцах; ведь и Стефан, и апостол Павел свидетельствовали, что Он не обитает в храмах, возведенных человеческими руками, — даже в той церкви, что сам приказал возвести, — для Него храм — людские сердца, там Он и живет».

После этих слов, превозмогая душевные муки, отчего его широко расставленные глаза налились слезами, он продолжил: «То, что я сейчас скажу, пришло ко мне не от Бога, а из ужасных снов. Каждая вера, каждая религия имеет свою часовню, или храм, или церковь, словом, место для поклонения, куда может прийти верующий, он идет туда, в Божий Дом, как гость, и там ощущает присутствие Бога вне себя, там хозяин — Бог. Но у квакера нет такого места, и если — как было в моих снах — он вдруг ощутит, что с ним больше нет Бога, куда идти ему, чтобы вновь обрести Его? В Божий Дом он пойти не может: ведь он сам и есть вместилище Бога! Что же ему делать?

Пожалуйста, скажите мне, добрые Друзья, как в таких случаях бороться с одиночеством и покинутостью?»

Эдмунд сел, высморкался, и когда он доставал платок, его бумага упала на пол, и почему-то эта невольная утрата столь драгоценной для него вещи сблизила меня с ним больше всех его взволнованных слов; мне захотелось встать и попытаться ответить на его вопросы, хотя я не имел ни малейшего понятия, что тут можно сказать.

На несколько минут вновь воцарилось молчание, его нарушил Амброс, напомнивший Эдмунду, что Фокс призывал не доверять снам, учитель говорил: «Если вам не дано различать природу того или иного сна, вы обязательно запутаетесь». Некоторое время все живо обсуждали сны и пришли к выводу, что существуют три вида снов: один основывается на событиях прошедшего дня, другой нашептывает Сатана, и только третий представляет собой истинный диалог между Богом и человеком.

Так как меня все еще преследовали сны о прошлом — о Селии и, конечно, о короле, я задумался, к какому виду следует отнести эти сны, и, задумавшись, потерял нить дискуссии. Очнувшись от дум, я увидел, что разговор принял чрезвычайно

эмоциональный характер: плакал не только Эдмунд, но и Ханна, а Элеонора, стоя на коленях, держала перед собой Библию и уверяла присутствующих, что открыть эту Книгу и означает войти в Божий Дом. Читая же Апостолов, уверяла она, ощущаешь дружескую руку, которая направляет тебя и предлагает духовную пищу, как мы «угощаем пирогом или супом навестившего нас Друга».

Когда Эдмунду напомнили, что он может вновь обрести посредством Священного Писания таинственным образом оставившего его Бога, он повеселел и немного успокоился. Я полагал, что Собрание на этом закончится, но тут Элеонора предложила, чтобы каждый из нас потратил пять-десять минут и нашел в «Евангелии» строки, дарующие ему особое утешение. Все стали листать свои Библии, а затем, усевшись полукругом, поочередно зачитали отрывки из Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все квакеры, включая Эдмунда, выбрали отрывки, наиболее подходящие к случаю, те, в которых говорится, что Иисус особенно любит бедных и чистых сердцем: «Придите ко мне все, кому тяжело», «Будьте как дети» и так далее. Когда подошла моя очередь, я прочитал отрывок из второй главы Луки, где описывается

смертельный ужас простых пастухов при виде ангела — посланца Бога: «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим».

Не знаю, почему я выбрал эти слова, но, кажется, я знал их сердцем всю жизнь, и мне хотелось сказать Эдмунду, что Бог может не только утешить нас, но и напугать, заставить почувствовать себя одинокими. Этот страх, как в случае с пастухами, может предварять важное откровение, но это вовсе не обязательно. В моем случае это всего лишь страх перед страданием и смертью, и ничего не предваряет.

Пожелав всем Опекунам доброй ночи, я пошел к себе, зажег лампу и отправился с ней к Пирсу, чтобы мы располагали для работы двумя лампами вместо одной. Я захватил с собой также свой набор хирургических инструментов, тщательно, до блеска вычищенных и отполированных.

Пирс сидел на узкой койке.

— Держу пари, — сказал я, — что у тебя всего лишь летняя простуда.

— Нет, — возразил Пирс. — У меня были раньше простуды — ничего похожего.

— Ладно, давай смотреть…

Прижав ложечкой язык, я осмотрел горло Пир-

са, воспаления не было, но язык был обложенный, слегка опухший, дыхание зловонным. Я ощупал шею — никаких припухлостей. Затем, следуя за его рукой, я коснулся макушки, она была холодной; сквозь редеющие волосы я почувствовал влагу — как будто от пота.

Я попросил Пирса снять жилет, рубашку и лечь на кровать, чтобы я мог послушать его сердце и легкие.

Пока он раздевался, я сделал запись относительно странной влажности его головы, причина которой была мне не ясна. Потом поднял глаза.

Пирс стоял передо мной, скомкав рубашку, на нем оставались только мятые черные штаны и чулки. Последний раз я видел его обнаженным до пояса, когда дежурил у его постели в Оливковой Комнате Биднолда. Тогда он тоже был худой, но не более, чем в юные годы, сейчас же перемена была разительная — невозможно описать словами: предо мной стоял настоящий скелет — впалая грудь, выпирающие, обтянутые одной лишь кожей ребра, их можно было пересчитать.

— Пирс… — пробормотал я. Шок, пережитый от его вида, заставил меня забыть о настойчивой просьбе звать его Джоном.

— Да. Знаю. Я немного похудел, — сказал он.

— Ничего себе немного! — вырвалось у меня. — Что случилось? Ты что, постился?

— Нет, я съедал все, что мне давали. Не понимаю, как это произошло.

— Ложись! — рявкнул я.

Пирс покорно отложил скомканную одежду и лег навзничь на кровать. Я придвинул лампы как можно ближе и внимательно осмотрел друга. Не скрою, мне хотелось влепить ему хорошую пощечину за то, что он позволил своему телу, контуры которого плохо различались за мешковатой одеждой, до такой степени исхудать.

Держа его запястье, я прощупал пульс — к счастью, он был достаточно наполненный. Потом приложил голову к груди и вслушивался в сердцебиение.

— Нужно прослушать легкие, — сказал Пирс.

— Знаю, — сердито отозвался я. — Дыши глубоко и выдыхай как можно медленнее.

Вдохи были неровные — больше похожи на судороги, сопровождающие рыдание.

— Сделай еще вдох и медленно выдыхай, пока я не попрошу остановиться, — сказал я.

Несколько минут я внимательно слушал, меняя положение уха после каждого второго выдоха, потом попросил Пирса лечь на живот и прило-

жил ухо к спине — самой запущенной части его тела, воспаленной от никогда не проходящих прыщей; то, что я услышал, испугало меня: я уже не сомневался, что легкие поражены, в них скопилось много слизи или мокроты, которые, если их не удалить, через некоторое время заполнят всю легочную ткань, и несчастный страдалец скончается в ужасных мучениях, похожих на смерть от медленного удушья.

— У меня закупорка легких? — спросил Пирс. Он сел на кровати, потирая глаза, — я только сейчас обратил внимание на их необычную красноту.

— Да, — ответил я.

— А что ты думаешь о поте и низкой температуре головы?

— Возможно, это благотворный процесс. Способ, при помощи которого болезнь пытается выйти.

— А если не получится?

— Мы заставим ее выйти, но ты должен лежать. Пирс.

— Джон.

— Пусть Джон! Но, знай, ты не будешь ни тем, ни другим, вообще никем, если позволишь себе умереть.

— Я не могу отлеживаться в постели — слишком много дел, Роберт.

— Ты должен, иначе лекарства, которые я тебе пропишу, не подействуют — только навредят.

— Это невозможно. Ни Амброс, ни остальные ничего не должны знать.

— Пирс, — сердито сказал я, — не заставляй меня терять терпение. Со времени нашего знакомства в Кембридже я сотни раз позволял тебе командовать мной, признавал твою мудрость и право поступать по твоему усмотрению. Разве не так? Но теперь даже не думай спорить! Эту единственную вещь, которую я от тебя требую, ты выполнишь, — будешь лежать в постели, позволять за тобой ухаживать и не выйдешь отсюда, пока совсем не выздоровеешь. Если ты этого не сделаешь, Джон, ты мне и остальным Опекунам больше не сможешь быть Другом. Ты умрешь!

Пирс откинулся на подушку и кивнул, соглашаясь.

— Хорошо, я буду лежать, но только недолго. Что ты пропишешь?

— Настойку розовых лепестков для разгорячения крови и смягчения кашля. Припарки из большого лопуха или теплого теста для головы.

— А для мокроты?

— Нашатырь.

— Как насчет бальзама?

— Обязательно испробуем несколько бальзамов, растворим их в кипятке и будешь делать с ними ингаляции.

— Хорошо. Значит, оно вернулось к тебе, Роберт?

— Что вернулось?

— Нужное знание в нужное время.

— Возможно.

— Так и должно быть. Ведь мы никогда толком не знаем, что нам известно и что доступно нашему пониманию.

— Думаю, ты прав, Джон, — сказал я. — А теперь сделай одолжение — надень ночную рубашку и ложись.

Прошли две недели; в течение этого времени я старался весь свой разум, всю силу воли полностью обратить на лечение Пирса. Но в то нее время я не мог игнорировать шумные просьбы пациентов из «Джорджа Фокса» и «Маргарет Фелл», которые, завидев меня, тут же начинали умолять, чтобы им вновь устроили танцы, — по их словам, ничто не помогало им так, как танцы; само их сумасшествие, говорили они, вызвано, в первую очередь, отсутствием музыки.

Я изложил суть проблемы перед Опекунами, но никакого решения в этот раз не приняли.

Сомнений не было: тарантелла благотворно подействовала на тех, кому позволили участвовать в танцах; в тех же, кто остался сидеть, связанный, в бараке, музыка, аплодисменты, радостный визг вызвали приступы гнева и отчаяния, не проходившие много дней.

Кое-что предлагали. Так, Эдмунд заявил, что обитателей «УГ» можно связать между собой и отвести подальше по дороге на Эрлз-Брайд, куда не долетят звуки музыки. Ханна высказала другое мнение: дать больным снотворное. Но ни одно предложение не поддержали.

Однако шумные требования устроить поскорее танцы не прекращались, а параллельно развивались притязания другого рода: Кэтрин убедила: себя, что влюблена, и теперь, стоило мне оказаться рядом, умоляла ее приласкать. Воспоминания о ее черных волосах, крепких ногах, полной груди преследовали меня, не отпуская ни на минуту, и, даже сидя у постели Пирса, когда он вдыхал пары бальзама или когда я ставил припарки на его макушку, я испытывал нестерпимое желание, — меня то бросало в жар, то не хватало дыхания, то начинало тошнить. Я мысленно проклинал тот день, когда пожалел женщину, и испытывал презрение к себе, понимая, что даже здесь меня

подтолкнули слова короля: выходит, даже в, «Уитлси» — месте, как мне казалось, не подвластном ему, — я не смог полностью освободиться от его влияния.

Все это время мы не пускали в «Уитлси» посетителей, боясь, как бы они не занесли нам чуму. Среди посетителей была и мать Кэтрин. Она принесла дочери сотовый мед и изящно вышитые зеленые тапочки. Когда Амброс сказал, что к дочери ее не пустят, она странно разозлилась и заявила, что все мы здесь обманщики и только притворяемся добрыми людьми, ухаживая за безумными и больными пациентами, на самом же деле наша единственная цель — набить себе карманы. Она ушла, продолжая ругать Амброса с такой яростью, что ее с легкостью можно было принять за сумасшедшую.

Элеонора передала Кэтрин мед и зеленые тапочки. Когда Кэтрин узнала, что ее мать отослали обратно, она расплакалась. Элеоноре она сказала, что на свете есть лекарство, которое могло бы ее вылечить, но мы слишком слепы, чтобы его разглядеть.

Пришел июль — месяц, в котором произошли три важных события.

Во-первых, я получил еще одно письмо от Уилла

Гейтса, где бывший слуга сообщал, что Плясунья вернулась в Биднолд через ворота в парке — «она слегка прихрамывала на левую заднюю ногу; уздечки на ней не было, седло перевернуто». Уилл просил ответить ему, если я жив. «Если Вы живы, сэр, — говорилось в письме, — я сберегу Вашу лошадь, спрятав ее от виконта де Конфолена, и со временем Вы опять будете на ней ездить. Если ж Вас, не дай Бог, уже нет в живых, я отправлю ее с Вашим слугой У. Джоссетом королю, чтобы Его Величество узнал о Вашем печальном конце».

Если б я не был так озабочен болезнью Пирса и поведением Кэтрин, это письмо подняло бы мне настроение — и не только тем, что рассмешило, но, главным образом, тем, что в нем сообщалось о чудесном возвращении Плясуньи, а это уже было хорошим знаком. Как бы там ни было, в моем мозгу, похоже, не нашлось достаточно места, чтобы как следует переварить это известие.

Дежуря как-то днем у постели Пирса — он в это время забылся тяжелым сном больного человека, — я написал Уиллу короткое письмецо со словами благодарности и вложил в конверт деньги на овес для лошади. «Не знаю, попаду ли я снова в Биднолд и когда это произойдет, — писал я, — так что, если не объявлюсь в течение года,

отправь, пожалуйста, Плясунью Его Величеству и передай ему, что меня нет больше в этом мире».

Вторая важная вещь — то, что Пирс пошел на поправку. Признаюсь, я не только чувствовал облегчение от мысли, что преждевременная встреча моего друга со смертью не состоится, но испытывал также и удовлетворение оттого, что *мои* настойки и бальзамы, мое настойчивое требование соблюдения отдыха и диеты (я назначил Пирсу усиленное питание — яйца всмятку, отварное мясо, цикорий и солодовый хлеб) — все это возвращало его к жизни. В легких я по-прежнему слышал хрипы, но бальзамы и нашатырь делали свое дело — мокрота отходила, а припарки из лопуха справились с холодной испариной на макушке, теперь там была язва, через которую с гноем выходила болезнь.

После трех недель, в течение которых он отсыпался, позволял приносить еду, мыть и расчесывать его редкие волосы — словом, ухаживать за собой, как за ребенком, он вдруг возроптал, заявил, что полностью исцелился и готов приступить к тому, что называл своей «подлинной задачей — заботиться не о себе, а о других». Пришлось разрешить ему встать, помочь одеться — одежда по-прежнему болталась на нем, как на

вешалке, несмотря на диету из яиц и солодового хлеба, — он спустился по лестнице вниз, вышел на залитый солнцем двор и попросил меня проводить его в огород — ему хотелось взглянуть на молодые груши.

Как я уже наверняка говорил, в характере Пирса есть одна черта: он убежден, что только он один может справиться с некоторыми делами — в частности с выращиванием фруктовых деревьев *en espalier.* Он ожидал, что деревья засохнут и погибнут после его трехнедельного отсутствия, а увидев, что, несмотря на страшный зной, этого не произошло, решил, что их спас Бог. Он упал на колени и вознес хвалу Создателю, хотя на самом деле ему следовало поблагодарить меня и Эдмунда: ведь это мы провели долгие, утомительные часы за поливкой несчастных деревьев, понимая, как рассердится и огорчится Пирс, если мы дадим им погибнуть. Мне ужас как хотелось открыть ему глаза, но я промолчал. Я стоял и смотрел, как он молится, и понимал, что, как всегда, мое недовольство им долго не продлится, слишком я его люблю — и это недовольство как ложка дегтя в бочке меда. Поэтому, вместо того чтобы упрекать Пирса, я тоже обратился к Богу, — здесь Он был ко мне как-то ближе, чем в Биднолде. Я просил,

чтобы Он даровал моему старому другу прежнее отличное здоровье и пообещал «не забывать звать его Джоном, если Ты позаботишься о том, чтобы у него наросло мясо на костях».

Ну а третье событие июня — самое худшее, что случилось со мной за все время, проведенное в «Уитлси», оно мучит меня, не дает покоя, и я понимаю: позор мой настолько велик, что, узнай обо всем Опекуны, меня, несмотря на долгую дружбу с Пирсом, тут же вышвырнут отсюда и запретят в будущем возвращаться.

Это произошло душной ночью, такой короткой, что, казалось, тьма так и не наступила: небо слегка померкло и тут же осветилось вновь.

Я проснулся полный тревоги вскоре после полуночи, проспав всего несколько минут. Меня мучили кошмары. Я обливался потом, тело мое испытывало болезненное неудобство, было ясно, что я не могу больше находиться в постели.

Я встал, выглянул в окно, и глаза мои тут же различили в бледных сумерках вход в «Маргарет Фелл» — и ничего больше, и тогда я понял, что проиграл борьбу с собственной похотью.

Я натянул тонкую рубашку и какие-то штаны, бесшумно вышел из комнаты и, затаив дыхание, слушал, не проснулся ли кто-нибудь из Опекунов,

но тишину в доме нарушал только храп Пирса.

Оказавшись на улице и ощутив кожей свежесть ночного воздуха, я перестал испытывать страх и к бараку шел уже без всякого внутреннего трепета — напротив, полный фальшивой радости, и уговаривал себя, что собираюсь совершить благородный поступок, который всем принесет мир и покой.

Я вошел внутрь «Маргарет Фелл», закрыв за собой дверь. Первое время я не двигался и стоял в темноте, пока глаза к ней не привыкли и я не стал различать два ряда спящих женщин. Я посмотрел туда, где обычно лежала Кэтрин, не расставаясь со своей куклой и расшитыми зелеными тапочками, — теперь она их тоже баюкала и разговаривала, как с ребенком.

Кэтрин сидела и смотрела в мою сторону. Я не шел к ней — ждал. Она отложила тапочки, которые держала в руках, встала и направилась ко мне. Я видел, как ее соседка проснулась, посмотрела сначала на Кэтрин, потом на меня, но я не обратил на это никакого внимания.

Когда Кэтрин подошла, я притянул ее к себе левой рукой, а правой открыл дверь операционной, где недавно провел вскрытие и завернул тело умершей в саван.

Пол в комнате был каменный; я опустился на колени, потянул за собой Кэтрин и стал целовать ее губы и грудь. Сгорая от страсти и нетерпения, мы срывали друг с друга одежду, а потом голые забрались в самое темное место — под операционный стол. Похоже, Кэтрин снова вообразила себя под сводом церкви: она зашептала, что наконец-то мы вместе в Божьем Доме. Боюсь, Бог никогда не простит мне этого, но, должен признаться, такое богохульство возбудило меня: целый час я вытворял с Кэтрин все, что она просила и что могло изобрести мое собственное воображение. И это не был обычный «акт забвения», это была любовь в самом что ни на есть языческом смысле этого слова.

Глава двадцатая
Как Джон чуть не лишился своего половника

Эта ночь положила начало тому, что я называю «временем своего безумия в „Уитлси“»…

То, что было раньше, звалось «временем до безумия». Тогда, как вы видели, я верил, что мои отношения с Опекунами и их подопечными честные и чистые. Я не притворялся. И даже извлек почти утраченное врачебное мастерство из мрака, куда его заточил, и использовал на благо общины. Я принял новое имя и всячески стремился быть достойным его. А если иногда оживал старина Меривел и вздыхал об утраченном прошлом, он тоже старался быть полезным — как, например, в день танцев. Как сказал Пирс по поводу моей игры на гобое, все видят, что я совершенствуюсь.

Но теперь все изменилось: после того как я вошел в операционную вместе с Кэтрин, порок так плотно пристал ко мне, что я только им и жил, совсем не думая о повседневном долге, и шел на самые чудовищные хитрости, чтобы все так и

продолжалось.

Проснувшись после той первой ночи, я вспомнил, что произошло, и испытал смертельный ужас. Опустившись на колени у кровати, я стал молиться: «Господи, на меня нашло безумие, я нечист, дьявол вселился в меня. Помоги мне прогнать дьявола, и я больше не согрешу».

Когда я спустился в кухню к завтраку, Ханна обратила внимание на то, что сегодня я бледнее обычного; я признался Друзьям, что неважно себя чувствую, — это подтверждалось тем, что каша застревала у меня в горле, да и ложку я с трудом держал в дрожащей руке.

Однако от ежедневной работы я не уклонился — на этот раз мне предстояло вывести на воздух обитателей «Уильяма Гарвея» — трудная и утомительная задача: перед выходом больных мыли, некоторых приходилось отчищать от экскрементов. Час за часом утренние страх и стыд понемногу отходили, уступая место непреодолимому желанию пойти в «Маргарет Фелл», грубо схватить Кэтрин за руку, затолкать в темную комнату и снова предаться с ней бесстыдным занятиям, от которых утром я решительно обещал отказаться.

Так проходил каждый день во «время моего

безумия»: утром я клялся, что никогда, пока жив, не прикоснусь более к Кэтрин и ей не позволю домогаться меня, однако ночью я лежал без сна, дожидаясь момента, когда смогу юркнуть в темноту и пойти к ней.

Другие обитатели «Маргарет Фелл» вскоре выяснили, чем мы занимаемся в операционной, женщины иногда толпились у дверей, подслушивая; когда мы выходили, некоторые из них набрасывались на меня, вцеплялись в волосы, хватали за член, требовали заняться с ними тем же. То, что они знали о моих неблаговидных поступках, их жаркая похоть наводили на меня страх: ведь рано или поздно какое-нибудь их слово или действие выдаст меня Опекунам, и меня изгонят из «Уитлси». Я обманывал Пирса (кажется, первый раз в жизни, ведь раньше я никогда не притворялся, что веду честную жизнь), обманывал Амброса и всех остальных, тех, кто приютил меня и пытался сделать одним из них. Но, возможно, самым страшным было то, что я обманывал и Кэтрин, которая, полюбив, потребовала от меня клятвы, что и я люблю ее и, если соберусь когда-нибудь покинуть «Уитлси», возьму ее с собой. И я поклялся в этом. На самом деле я ее совсем не любил. Меня привели к ней

жалость и похоть — безумная, неодолимая, она заточила нас с ней во мрак. И задавая себе вопрос, смогу ли я со временем полюбить Кэтрин, я знал на него ответ: это было так же маловероятно, как и то, что меня полюбит Селия.

Так недель пять я жил двойной жизнью во «время своего безумия», пока однажды, возвращаясь ночью к себе, не услышал голос: «Меривел!»

Дрожа, я стоял на лестничной площадке, не сомневаясь, что грешки Роберта вышли наружу и теперь он в качестве Меривела должен понести наказание. Я ждал — зов повторился: «Меривел!» На этот раз я узнал голос Пирса и медленно двинулся в сторону его комнаты.

Я приоткрыл дверь. У кровати моего друга горела свеча. Пирс лежал на боку, лицом к свече, и протягивал ко мне худую руку жестом нищего ладонью вверх.

— Джон, тебе что-нибудь надо? — спросил я.

— Меривел… — повторил он снова хриплым от катара голосом, — я ждал тебя.

— Ждал меня?

— Ждал твоего возвращения. Я слышал, когда ты уходил, и ждал, когда вернешься, чтобы тихо позвать тебя, не потревожив остальных.

— Да. Иногда, когда не спится, я иду подышать

воздухом, — сказал я.

— Я слышал.

Я подошел ближе к Пирсу. Своего друга я знал так хорошо, что мог различить гневную складку на его губах еще до того, как он начинал говорить, и сейчас всматривался в его лицо, надеясь определить, есть она или нет. Складки не было, и я почувствовал облегчение. Однако, стоя у самой кровати, я увидел, как по его лицу струится пот, а щеки (обычно не верится, что обладатель щек такого воскового цвета когда-нибудь бывает на воздухе, не говоря уже о том, что большую часть дня он возится в огороде — тяпает, подрезает) лихорадочно пылают. Сомнений не оставалось — у Пирса поднялась температура.

Я коснулся рукой его лба. Меня чуть не обожгло.

— Джон… — заговорил я.

— Да. Понимаю. У меня небольшой жар. Как раз собирался тебе это сказать. Но я позвал тебя не для того, чтобы услышать то, что и так известно.

— Тогда для чего?

— Я позвал тебя, чтобы…

— …чтобы?

— Никак не могу найти свой половник. Думаю, он упал и закатился под кровать.

Я опустился на колени и стал водить рукой под деревянной кроватью по пыльному полу, но так ничего и не нащупал. Сколько я ни ползал вокруг кровати, вытягивая как можно дальше руки, половника нигде не было.

— Его там нет, Джон.

— Пожалуйста, найди его, Меривел.

— Почему ты называешь меня Меривелом?

— Я тебя так называю?

— Да.

— А как тебя зовут… на самом деле?

— Роберт.

— Роберт?

— Да.

— Видишь ли, сегодня, когда у меня поднялся жар… имя Роберт выскользнуло из моей памяти, я помнил только Меривела, с которым мы были свидетелями удивительного явления — открытого бьющегося сердца. Ты помнишь?

— Конечно, Джон.

— Я не смог, а ты протянул руку и прикоснулся к живому сердцу.

— Правда.

— А тот человек ничего не почувствовал.

— Ничего.

— Помолись, чтобы я стал таким же, как он.

— Почему?

— Чтобы я не чувствовал боли ни в сердце, ни еще где-нибудь.

— Тебе больно?

— Ты нашел половник?

— Нет. Под кроватью его нет.

— Пожалуйста, постарайся его найти.

— Не знаю, где еще искать. Ты сам как думаешь?

— Тсс. Не повышай голос. Разбудишь остальных.

— Обязательно разбужу, если ты мне все не расскажешь. Вернулась прежняя боль, в легких?

— Не могли его украсть?

— Нет. Я его отыщу. Где болит, Джон? Покажи или скажи. Где?

Пирс взглянул на меня. При тусклом свете свечи его выцветшие глаза казались темнее. Он поднял руку и робким движением опустил ее на грудь.

Я выпрямился. Половник может подождать, сказал я, сначала надо послушать твое дыхание. Я бережно помог ему повернуться на спину, откинул постельное белье и приложил голову (ее всего полчаса назад в своих руках держала Кэтрин, требуя, чтобы я, как младенец, сосал ее

грудь) сначала к грудине, потом опустился ниже — к диафрагме.

Половник Пирса я обнаружил под подушками и вручил ему. Потом ненадолго оставил друга, сказав, что пойду вскипячу воду для ингаляции с бальзамом, сам же сначала отправился в свою комнату и тщательно помылся: каждая частица моего тела, казалось, источала запах Кэтрин. Надел свежую рубашку и причесался. Только после этого я спустился на кухню и приступил к приготовлению единственного средства, которое я и весь остальной медицинский мир могли предложить моему другу. Только на этот раз я знал, что оно ему не поможет.

Эту ночь я не отходил от Пирса, и последующие десять дней и ночей все Опекуны «Уитлси» поочередно дежурили у его постели.

На пятый или шестой день боль при дыхании стала совсем невыносимой, и тогда Пирс шепнул мне: «Не ожидал, что с таким нетерпением буду ждать последнего вздоха».

Мы давали ему препараты опия, и, когда они поступали в кровь (циркулируя по всему организму в соответствии с открытием его обожаемого учителя Уильяма Гарвея), Пирс впадал не то чтобы в сон, а в грезы о прошлом: он болтал без умолку о

своей матери, которая все двадцать лет, что была вдовой, каждый день молилась о душе покойного мужа, брадобрея, не оставившего ей после своей кончины ничего, кроме рабочего инструмента; этой бритвой она и перерезала себе горло, когда сын поступил в Кембридж. Ее похоронили не на кладбище, рядом с мужем, а на перекрестке дорог, вдали от деревни, в этом месте никто не останавливается, в какую бы сторону ни двигался, — ни пеший, ни всадник, ни путешественник в карете. Пирс сказал, что если мы откроем его Библию на десятой главе Евангелия от Матфея, то увидим «оттиск птицы, проходящий через всю страницу». Он не помнит названия птицы, помнит только, что она была маленькой, он наглел ее уже мертвой, когда был еще ребенком и жил с матерью. Было видно, что ему не терпится показать нам этот оттиск, и тогда я взял Библию и стал его искать, но он оказался не в Матфее, а в Марке и занимал целых две страницы — коричневый сальный след, как будто на Священное Писание неосторожно обронили горячий поджаристый блин. Я показал эти страницы Пирсу. «Ты об этом говорил, Джон?» — спросил я. Ему было трудно сосредоточить рассеянный взгляд на неряшливом отпечатке, но в конце концов он ответил:

«Да. Внутренности птицы я удалил, не желая загрязнять слова Иисуса, а потом положил ее на раскрытую Библию, расправил крылья, закрыл книгу, положил сверху груз и засушил птицу, как цветок».

Я бросил взгляд на Ханну, она сидела по другую сторону кровати Пирса, время от времени смачивая лоб страдальца лавандовой водой. Женщина покачала головой, как бы говоря, что не считает историю о засушенной птице правдой; оба мы представляли, какая вонь должна была идти от трупика птицы, разлагавшейся в этой гробнице из священных слов. Будь Пирс здоров, я не преминул бы заметить, что запах мертвого позвоночного даже отдаленно не напоминает аромат увядшего цветка, но сейчас он был очень болен и так слаб, что не мог оторвать голову от подушки, усеянной выла[1]давшими волосами.

Все эти десять дней понимание, что Пирс умирает, *существовало,* но как бы помимо меня. Нежелание смириться с реальностью не было связано с ложными надеждами на его спасение. Думаю, я понимал: даже сознание неминуемой потери друга не сможет подготовить меня к его действительному уходу.

На седьмой или восьмой день болезни Пирса

боль в легких и лихорадка немного отступили. Ой попросил приподнять его, чтобы сидеть в подушках — «не украшенных кисточками или прочими побрякушками, и не ярких, каких много в твоем доме». Я улыбнулся, осторожно просунул руки ему под мышки (ни грамма мяса — только кожа и кости) я притянул к себе, а в это время Даниел поставил подушки. Я спросил Пирса, не съест ли он немного супа. Он согласился, и Даниел пошел на кухню (в доме всегда есть суп, на кухне постоянно варятся кости с луком и зеленью), оставив меня наедине с Пирсом.

Я сел подле друга, до меня долетало его дыхание, отдававшее серой. Пирс завел вполне разумный разговор о самозарождении, в которое он никогда полностью не верил, хотя возникновение живых личинок на мертвом тебе можно считать доказательством этого.

— Скажи, Меривел, разве нельзя гипотетически предположить, — спросил он, — что личинка появилась из яйца такого маленького, что человеческий глаз просто неспособен его разглядеть?

— Думаю, можно, Джон.

— Но если человеческий глаз не может разглядеть подобные бесконечно малые вещи, тогда на свете, возможно, есть такие материальные

явления, о существовании которых мы далее не догадываемся?

— Вполне возможно.

Пирс вздохнул. Некоторое время он молчал. Потом сказал:

— Грустно сходить в могилу, когда в мире еще столько неизвестного.

— Не стоит раньше времени говорить о могиле, Джон, — сказал я.

— Ну, конечно, — отозвался он с кислой миной. — Сколько тебя знаю, всегда находится много чего, о чем, на твой взгляд, мне не стоит говорить. Но, это не соответствует моему характеру. Сейчас тоже хотелось бы кое-что прояснить — не уносить это с собой в могилу. Речь пойдет о моих вещах.

— Каких вещах?

— Того немногого, что мне дорого. Когда-то ты, подсмеиваясь надо мной, называл их «горящими углями».

В этот момент появился Даниел, избавив меня от унизительной необходимости просить в очередной раз прощения у Пирса, которое мне было бы трудно из себя выдавить: ведь я считал, что это он должен просить прощения за свой необдуманный поступок. Как мог он уйти, навсегда

покинуть меня?!

Даниел поставил поднос, на котором стояла миска с супом, лежала ложка и еще какой-то зеленоватый фрукт, — в нем Пирс тут же признал выращенную им грушу. Он взял ее в руку, ощупал, потом поднес к своему чувствительному носу.

— Аромат груши. Всю жизнь люблю его, — восхищенно произнес он, и эта восхищенность вызвала в моей памяти наши поездки на реку и восторг Пирса при виде искусственной наживки.

Даниел улыбнулся мне и сел кормить больного. Однако, к моему удивлению, Пирс вежливо попросил Даниела оставить нас одних. Юноша тут же встал, передал мне ложку и вышел.

Суп был горячий. Я не хотел, чтобы Пирс обжегся, и прежде, чем поднести ложку к его губам, долго на нее дул. Некоторое время мы молчали, сосредоточившись на кормлении. Но глотательные усилия быстро утомили Пирса, он попросил убрать поднос, а ему принести перо, чернила и бумагу.

Хотя завещание Пирса сейчас не находится у меня перед глазами — бумага у Амброса, как я положено, — я помню ее дословно: ведь это было, наверное, самое короткое завещание на свете. «Горящие угли» за это время сильно сократи-

лись — их осталось немного. Все книги, включая Библию, Пирс передал «Уитлси». Изрядно поношенную одежду, какую Пирс носил без тени смущения, он предложил отдать «кому-нибудь из обитателей больницы, пусть носят одежду настоящего квакера и с нежностью относятся друг к другу». Половник он завещал мне: «может, эта хрупкая вещь иногда утешит его». Вот и все. Пирс заставил меня приписать, что он, «Джон Джозеф Пирс, квакер, больше не имеет никакой собственности».

Написав это (самым аккуратным почерком, на какой только был способен, изо всех сил следя за нужным положением гусиного пера), я передал бумагу Пирсу и помог ее подписать. По поводу распоряжения о половнике я ничего не сказал: этот его поступок так взволновал и расстроил меня, что на некоторое время я утратил дар речи. Когда же вновь обрел голос, то предложил Пирсу отведать зеленую грушу, но он отказался, боясь, что заболят зубы.

С той ночи, когда Пирс окликнул меня после посещения «Маргарет Фелл», я не ходил к Кэтрин и попытался вступить в сделку с Богом, пообещав, если Он оставит Пирса в живых, никогда не прикасаться к Кэтрин и даже близко к ней не

подходить.

Но все было бесполезно, и я это знал. Пирс умирал. Кэтрин же, считая себя брошенной, пришла после очередной прогулки к главному дому, колотила в дверь и кричала во весь голос, что я ее любовник. В этот день — девятый день болезни Пирса — я и остальные Опекуны ни слова не произнесли за ужином, все с грустью смотрели на меня, а в конце ужина Амброс сказал: «Когда придет время, Роберт нам все расскажет». Я кивнул, соглашаясь с его словами. После этого мы поднялись и стали убирать со стола.

Все знали: пока Пирс жив, я не могу покинута «Уитлси».

Он умер в тихий час между ночным обходом и рассветом — на одиннадцатый день болезни.

Я был рядом с ним до конца, один.

Я закрыл его рот. Сложил худые белые руки на груди. И в руки вложил половник.

— Видишь, — шепнул я, — он остался с тобой.

Потом я закрыл ему глаза. И сел рядом. Тут на меня обрушилась страшная тишина, и я понял, что это навсегда: когда бы я ни подумал о своем друге, когда бы мысленно ни заговорил с ним, я снова услышу эту тишину — вместо ответа, или совета, или неодобрительного фырканья от-

ныне будет только она, эта тишина — молчание Пирса…

Наклонившись вперед и упираясь локтями в колени, я сидел на жестком стуле и плакал. Я не пытался сдерживать слезы, не утирал их платком или полосатой салфеткой, они капали на пол, на мои бедра, стекали по ногам.

Когда я вновь поднял глаза, за окном белел рассвет, а в комнате, помимо меня, были и Амброс, и Эдмунд, и Ханна, и Элеонора, и Даниел, они стояли подле кровати, их руки были молитвенно сложены.

Гроб в тот же день сколотили двое мужчин из «Джорджа Фокса». Гроб был слишком велик, и теща мы, положив в него Пирса, обложили тело грушевыми ветками.

Ночь мы провели в комнате для Собраний — она и прошла как Собрание, затянувшееся надолго, — каждый говорил о Пирсе, когда и как ему хотелось, и еще мы молились о его душе.

Я молчал, старался припомнить его мудрые высказывания, и первое, что вспоминалось, — это приводившие его в отчаяние жадность и эгоизм нашего века, он считал их чем-то вроде болезни, от которой мало кто защищен, включая поэтов или драматургов («потому что, Роберт, сейчас

продается даже творческий дух, и мать Благочестие породила Распутство, развратную дочь»). Эти мысли немного утешили меня: через них я понял, что Пирс не многое любил в этой жизни — неясность и отзывчивость квакеров, мудрость Уильяма Гарвея, воспоминания о матери, выращивание деревьев *en espalier,* утреннюю зарю на реке, где водится форель, — поэтому, хоть он и говорил, что боится смерти, однако не мог не желать ее.

Я изо всех сил старался представить его в Раю (как часто пытался вообразить там своих родителей, но все, на что годилось мое воображение, — это Воксхолский лес, однако сомнительно, чтобы Рай, если он существует, напоминал место, где лондонцы любят устраивать пикники). От этих мыслей меня оторвал Даниел, он вдруг произнес: «Господь открыл мне, что Джон Пирс примером своей жизни научил меня многому, но главное, чему он меня научил: не позволять привязанностям брать над тобой верх, ведь с тех, кого он любил больше других, он строже и спрашивал, потому его любовь не портила, а давала силу». При этих словах я поднял глаза и увидел, что Даниел смотрит на меня, и Амброс — тоже, как будто они ждали, что я заговорю.

Меня бросило в жар, как в тот раз на Собрании, когда я предложил рассказывать нашим больным истории и устраивать танцы, из чего я заключил, что буду говорить и сейчас, но не подозревал, что в процессе произнесения речи мне откроется нечто такое, о чем я до этого не догадывался. Я хотел встать, но ноги мои подкашивались, и я заговорил, продолжая сидеть: «Когда этим утром умер Джон и внезапно наступила тишина, я слушал и ждал. Нет, я не ждал каких-то слов от Джона или от Бога, я ждал слов от себя и для себя, и вот наконец эти слова пришли…»

Но даже в этот момент я еще до конца не знал, что это за слова и что я сейчас скажу перед всеми. Я замолчал, вынул платок, вытер лоб и продолжил: «И в этой тишине я понял одну вещь. Вот она: моя страсть к женщинам, которая до приезда сюда была столь горячая и необузданная, даже любовь к моей жене Селии… все это всего лишь самообман и больше ничего, всего лишь тщеславие и похоть, и теперь я стыжусь этого. За всю свою жизнь я любил только двух людей, и эти двое — Джон Пирс и король Карл».

Для Друзей упоминание имени короля рядом с именем Пирса явилось таким шоком, что они дружно подняли глаза и строго посмотрели на

меня. Я беспомощно развел руки. «Вы сразу же скажете, — продолжал я, — что моя любовь к Джону Пирсу полна смысла, а любовь к королю бессмысленна, и мне следует, как часто советовал Джон, исторгнуть ее из себя. Но, похоже, это невозможно. Ведь что бы я ни делал, как далеко ни отходил бы от прежней жизни, эта любовь остается. Только теперь она перестала быть требовательной. Она ничего не просит, — это как любовь к умершему, как моя любовь к Джону. Ни одного из них я больше не увижу. Ни с одним не буду проводить время. Сегодня я понял: моя любовь к этим двум людям подлинная — хотя в одном случае она разумна, а в другом — нет, — и никто в целом мире не значил для меня больше, чем эти двое. И я благодарен тому, кто открыл мне на это глаза, будь то Бог или еще кто!»

Постепенно охвативший мое лицо и тело жар поубавился, хотя я сознавал, что глаза Друзей по-прежнему устремлены на меня. Я физически ощущал их недовольство и ждал отповеди. Но они промолчали. Представляю, как тяжело было им справиться с неминуемым гневом, но все же они одержали над ним победу, не оскорбили тишину и память о Джоне.

Итак, ночь продолжалась, пока ее не сменило

утро. В шесть часов мы выпили шоколаду и съели немного печенья — мне показалось, что его вкус отдавал углем.

Приблизительно в полдень десятого сентября Пирса опустили в могилу, и желтая глина Уитлси плотно, со всех сторон, накрыла его. Я проследил, чтобы половник положили в гроб прежде, чем тот заколотили. Стоя у могилы, я вспомнил, как в Кембридже коварные воришки, остроумно называвшие себя «удильщиками», пытались украсть половник и остальные веши Пирса. Однажды ночью, когда мой друг спал, они просунули в открытое окно длинный шест с проволочным крюком на конце. Проснувшись, он увидел плывущий по комнате в лунном свете стул, который скрылся в окне. «Только когда в комнате снова объявился шест, — рассказывал Пирс, — и я увидел, как он движется прямиком к моему половнику, мне стало ясно, что я имею дело не с духами, а с обыкновенными ворами. Я грозно закричал, мой крик испугал их, и негодяи убежали». Рассказав мне эту историю, он рассмеялся и сказал: «Наверное, легче напугать и прогнать живых, чем мертвых? Как думаешь, Меривел?»

Не помню, что я ответил.

Глава двадцать первая
Кэтрин спит

Как вы могли заметить, у меня нет склонности к одиночеству. Однако после смерти Пирса у меня появилось желание больше быть одному.

Если б моя лошадь по-прежнему оставалась при мне, я выезжал бы за ворота «Уитлси», брал курс на север, туда, где простираются поля, поросшие прибрежными травами, где дюны и море. Не знаю, что бы я делал там. Может быть, сидел на пропахшей дегтем дамбе, устремив взор в сторону Голландии, и думал о войне, которую вел король и для которой потребовались в числе прочего мой дом и земли. А может быть, просто бездумно сидел, пока какой-нибудь попечитель не счел бы меня Ленивым бедняком и не отправил в работный дом.

Но что зря говорить — к морю я поехать не мог. Однажды, тщетно пытаясь успокоиться, я дошел но дороге до Эрлз-Брайда, но при виде этого грустного местечка тут же повернул назад. На обратном пути мне явственно представилась пустая круглая комната в Западной башне Бид-

нолда. Это было видение, полное света.

Я вернулся в мой «платяной шкаф» и лег на койку. Тишина в доме действовала на меня успокаивающе. Но почти сразу же в мозг ворвались самообвинения и сетования, и я закрыл руками лицо. При мысли о Кэтрин я похолодел и испытал глубокую печаль. Женщина вызывала у меня отвращение. Теперь я даже жалости к ней не чувствовал: ведь это из-за нее меня вскоре вышлют из «Уитлси», и я вновь окажусь в мире, где мне нет места. Я стал верить, что она — так же, как буйно помешанные, вроде Пиболда, — попала под влияние демонов, заразила меня злом и заставила вести себя как животное: с ней я был не самим собой, а человеком, в которого вселился дьявол. Смерть Пирса отвратила меня от греха. Он меня спас. Сейчас я хотел только одного: уединиться и думать о своем друге, но меня ожидало другое: Кэтрин, молящая меня о плотской любви, и Друзья, опечаленные тем, что я предал другую — высшую.

Я поднялся и вышел на улицу под слабый, бесшумный дождь. Меня потянуло на могилу Пирса. Я стоял там и смотрел на его имя, выжженное на тонком кресте. Крест вырезали из ивы, со временем он покоробится, согнется и побелеет

и тогда станет похож на моего покойного друга. «Джон, — сказал я, — мне кажется, я никогда не обрету мира в душе».

Прошло несколько дней после похорон Пирса, и я сказал Друзьям после очередного Собрания, что готов говорить о своих грехах, однако прошу разрешения сначала побеседовать с одним Амбросом. Из-за убеждения, что секреты вредны и даже ядовиты («могут принести болезнь и даже смерть группе людей или организации, где они поощряются»), Друзья поначалу этому сопротивлялись. Однако, видя глубину моей тоски по ушедшему другу, они согласились пойти мне навстречу и проявить снисхождение к моей слабости.

Осенние вечера стали прохладнее, в камине горел огонь. Амброс сидел перед камином, я же грел у огня руки, преклонив колени на коврике в позе кающегося грешника.

Хотя от волнения меня поташнивало, заговорил я громким голосом. Я сказал Амбросу, что развязность и распутство — свойства моей натуры, не скрыл, что часто пренебрегал работой в больнице св. Фомы, преследовал женщин в парке, а потом приводил их домой. «Утрата королевской милости, приведшая меня в «Уитлси», — тоже

последствие моей похоти. Я обещал королю никогда не прикасаться к моей жене, но желание обладать ею было так сильно, что я не смог удержаться от соблазна. Этим я поставил себя в глупое положение, расстроил жену и привел в бешенство короля. Теперь ты видишь, Амброс, что страсть к женскому полу сослужила мне плохую службу: я ничего не достиг ни в мирских делах, ни в науках. Временами, осознав это, я сокрушался, что Господь вообще создал женщин!»

Я замолчал. Амброс понимающе кивнул. Этот кивок вызвал у меня желание спросить, не закрадывалась ли и ему в голову подобная мысль, но я вовремя удержался: непохоже, чтобы этот человек, твердый, как кремень, когда-нибудь испытывал бурные страсти.

— Когда я приехал в «Уитлси», — продолжал я, — то решил, что оставил позади все, связанное с прошлой жизнью. И верил, что здесь изменюсь.

— И что, изменился, Роберт?

— Частично. Джон это понимал, когда говорил, что я «делаю успехи». Возможно — хотя он никогда не говорил об этом — он предвидел, что Кэтрин станет искушением для меня, я буду сопротивляться, но в конце концов рухну.

— Узнав об этом, он счел бы, что ты совершил

предательство, Роберт.

— Предательство?

— Да. Опекуны считают, что мы здесь, в «Уитлси», относимся к своим подопечным как родители к собственным детям, а если один из родителей прикасается к своему ребенку, желая получить наслаждение и удовлетворение для себя, — это страшное предательство.

Я вздохнул. Нельзя не признать, что именно так я относился к Кэтрин, потому и смастерил для нее куклу. С этих позиций мое временное помешательство выглядело еще отвратительнее, и суровость Амброса была совершенно справедливой.

К этому времени я не видел Кэтрин несколько дней: Амброс попросил меня держаться в стороне от «Маргарет Фелл». Сейчас он мне рассказал, что со времени моего предательства Кэтрин не спит — на нее не действуют никакие средства, кроме настойки опия; днем и ночью повторяет она мое имя, зовет меня, визжит, рыдает, ласкает себя неприличным образом. Само мое имя теперь связывалось с ее безумием, и женщины из «Маргарет Фелл» говорили Опекунам, что Кэтрин страдает потому, что «помешалась на Роберте, — это очень тяжелое психическое расстройство».

Все это повергло меня в ужас, голос лишился прежней силы, мне захотелось только одного: трусливо пасть к ногам Амброса (в голове мелькнуло, что однажды я вот так же валялся у ног короля) и замереть в тишине и темноте. Амброс, без сомнения, понял мое состояние и положил свою огромную руку мне на плечо.

— Я знаю, ты переживаешь из-за того, что случилось. Мы любим и прощаем тебя, Роберт.

— Спасибо, Амброс.

— Но я также не сомневаюсь, что ты захочешь искупить вину, и Бог надоумил меня, как ты должен это сделать.

— Бог надоумил?

— Да.

— Что Он сказал? Что мне нужно сделать?

— Ты должен уехать из «Уитлси».

— Знаю. Я понимал, что придется уехать.

— Но не одному. Ты должен взять с собой Кэтрин.

Я поднял глаза на Амброса. Сглотнул. Сжал руки и умоляюще протянул их к Амбросу.

— Амброс, — заговорил я, — пожалуйста, не проси этого…

— Я ничего не прошу. Этого требует Бог.

— Нет! Он не может…

— Ты думаешь, Он забыл, как ты сказал, что вновь почувствуешь себя полезным, если сможешь кого-нибудь исцелить и увидишь, как этот человек уходит отсюда?

— Да, я так говорил…

— И Он услышал тебя. И сделал так, что теперь это может сбыться.

— Но Кэтрин нездорова…

— Пока нездорова. Но *лекарство* найдено. Ты его нашел, и только ты им владеешь. Это лекарство — ты сам.

— Нет, Амброс.

— Это лекарство — любовь, Роберт. Будешь ее любить — она будет спать, а когда к ней придет сон, отлетит безумие. Кроме того, теперь она полностью принадлежит тебе: ведь она ждет от тебя ребенка.

Этой ночью я не мог сомкнуть глаз.

Своих мыслей я не помню. Одно знаю: будущее представлялось мне настолько отвратительным, что жизнь до этого момента стала казаться невероятно счастливой — просто раньше я этого не осознавал. Джордж Фокс сказал, что с того момента, когда впервые услышал обращенные к нему слова Бога, он «все ощущал по-другому, не так, как раньше». Нечто подобное случилось и со

мною, только для него мир обрел новый и свежий облик, а для меня он был полон отчаяния.

После того как Амброс сказал Эдмунду, Элеоноре и Ханне, что «Роберт не уклоняется от ответственности перед Кэтрин», все стали со мной ласковы, приветливо улыбались и обещали молиться обо мне. Только Даниел смотрел на меня с печалью. «Тебе должно быть стыдно, что ты так и не научил нас играть в крокет», — сказал он.

Все последние дни я пытался решить, куда мне направиться, выехав за ворота «Уитлси», — на север к морю, на северо-восток в Норфолк или на юг в Лондон, однако душа моя не лежала ни к чему. Мне никуда не хотелось — отвращение к жизни переполняло меня. В конце концов я выбрал дорогу на Лондон, вспомнив, что там свирепствует чума. В моем представлении смерть от чумы — подходящий для меня жизненный финал, — к тому же я его сам на себя навлек.

Опекуны забрали Кэтрин из барака. Ее вымыли, причесали, одели в чистое. Теперь она жила в комнате Пирса. Ей обещали, что я приду и утешу ее — «ведь он нежно любит тебя и ребенка», и после таких обещаний она и вправду засыпала.

Вот так мне пришлось вернуться в комнату, где

умер мой друг и где Кэтрин сидела на том самом жестком стуле, на котором обычно, плотно сжав колени и держа книгу у самого носа, как веер, сидел Пирс. Слова Гарвея сладкозвучно отзывались в его мозгу, и он забывал обо всем на свете.

Увидев меня, Кэтрин поднялась со стула, обвила руки вокруг моей шеи и зарыдала, повторяя «Роберт, Роберт, Роберт» — двадцать или тридцать раз. Я ее поддерживал. На ней было чистое льняное платье, она пахла иначе, чем раньше, — перемена была мне приятна.

Я сказал ей, что мы уедем из «Уитлси». Сказал, что люблю ее и никогда не покину.

Вечером Кэтрин ужинала с нами на кухне. Она ела, держа ложку в правой руке, ее левая рука лежала на моем плече. Предсказание Амброса и других Опекунов оправдались: в эту ночь она заснула сама и не просыпалась до рассвета.

Весь мой капитал состоял из двадцати четырех фунтов и трех шиллингов.

Имея при себе эти деньги, а также два мешка из-под муки, набитые одеждой и прочими вещами, я стоял в комнате для Собраний; ко мне поочередно подходили Друзья и за руку прощались со мной. Тем временем Кэтрин в шерстяном плаще ждала меня снаружи.

Мне не хотелось затягивать прощание: слишком тяжело было видеть печаль и разочарование на их лицах. Однако быстрого расставания не получалось: каждый из Друзей в глубине души не хотел меня отпускать и предпочел бы, чтоб я, невзирая на свои проступки, остался. И они вспомнили, как Бог прислал меня в «Уитлси», когда дул сильный ветер, и как, оказавшись здесь, я принес с собой величайший дар — талантливые руки, которые много месяцев помогали лечить больных.

— Как мы будем управляться? — спрашивал Амброс. — Теперь остался только я с медицинскими познаниями. Молись за нас, Роберт, без тебя и без Джона нам будет очень трудно.

— Да. Молись за нас, дорогой Роберт, — сказала Ханна.

— И обо мне молись, — прибавил Даниел, — ведь если опять устроят танцы, я буду единственным музыкантом.

— Я буду молиться, — сказал я, — и никогда не забуду вас и того, как меня здесь приняли. Поверьте, у меня и в мыслях не было предавать вас или позорить…

Глаза Элеоноры, приблизившейся ко мне со словами «Да хранит тебя Бог, Роберт», были пол-

ны слез, она держала мои руки в своих и смотрела на них, словно на величайшую драгоценность.

— Не плачь обо мне, Элеонора, — попросил я. — Пожалуйста, не плачь.

Но Элеонора покачала головой.

— Мы все будем оплакивать тебя, Роберт, — сказала она. — Так же, как и Джона. Мы потеряли вас обоих.

И вот я в последний раз вышел из нашей общей комнаты, а затем из дома. Опекуны столпились у дверей и смотрели мне вслед.

Нам наняли повозку. Я побросал туда мешки, затем, взяв Кэтрин за руку, помог ей забраться и сам сел рядом. Я попросил поторопиться возницу, неуклюжего мужика с жирным женским задом и убранными назад волосами, которые он стянул засаленной лентой. Мне хотелось поскорее уехать и не оборачиваться. Но впряженная в повозку лошадь еле волочила ноги. Ее скорость не намного превосходила скорость идущего человека. И потому недалеко от ворот я *все-таки* обернулся. И еще раз увидел железную дверь с цитатой из Исайи — ту самую, в которую вошел, впервые здесь оказавшись, — три больших барака, названные Опекунами в честь особо почитаемых ими людей, дом со своим «платяным шкафом», на

крыльце Друзей — они не расходились, а продолжали смотреть мне вслед, а за оградой кладбище, где предстояло вечно лежать Пирсу. В день моего приезда сюда я считал себя самым несчастным человеком на свете. Теперь мне было ясно, что в сравнении с нынешним моим состоянием я, можно сказать, был счастлив. Время, проведенное мною в «Уитлси», освещено утешительным светом, оно, как и моя жизнь в Бидноле, — часть дня, сейчас же я пребывал в ночи.

Настоящая ночь застала нас, когда мы въезжали в город Марч. Здесь я расплатился с возницей. Еще один день выносить зрелище трясущегося впереди жирного зада было выше моих сил. Он довез нас до гостиницы «Рулька», где нас поселили в комнате с сильным яблочным запахом: плоды хранились тут же, на настиле.

Гостиница была самая захудалая, хозяева небрежно относились к своим обязанностям, но Кэтрин, которая долго жила почти что в заточении, это заведение казалось шикарным местом. Она решила, что яблоки в комнате разложили специально для нас (ужина нам не предложили — даже ту жалкую часть туши, название которой присвоили этой убогой гостинице) и стала с жадностью — одно за другим — их поедать, пока ее не

вырвало прямо в постель. Горничная — девочка не старше двенадцати-тринадцати лет — пришла в час ночи в нашу ледяную комнату, заменила нашу изгаженную простыню чистой, но сырой, и тут в холоде и сырости Кэтрин прильнула ко мне и целовала; демоны, все еще не отпускавшие женщину, проникли ко мне в кровь со слюной, и я, не в силах больше сопротивляться, взял ее, но глаза мои были при этом закрыты, чтобы никого из нас не видеть, — и еще я руками закрыл ей лицо. Кэтрин заснула, крепко прижавшись грудью к моей спине. Я же не мог спать: мешали холод, запах в комнате и отчаяние, сжимавшее сердце.

В Марче нам пришлось пробыть два дня: мы ждали дилижанс, который должен был через Кембридж привезти нас в Лондон.

В первый день — это был вторник — на рассвете прямо под нашими окнами послышался шум рынка; я вывел Кэтрин на улицу, мы ходили между прилавками, покупали мед, фрукты, свечи, клубки шерсти, пчелиный воск. Там же мы встретили мужчину, который за три пенса имитировал крик, или рычание, или клекот любого животного или птицы. Эта его способность так восхитила Кэтрин, что мне пришлось несколько раз платить по три пенса, чтобы услышать

подражание очередному животному. Вскоре я почувствовал неловкость оттого, что стою среди зевак и слушаю, как имитатор изображает цыпленка, свинью, глухаря или новорожденного ягненка. Через четверть часа я сказал Кэтрин: «С нас хватит. Давай уйдем, пока он не перешел к африканским тварям», но Кэтрин стала упрашивать меня послушать еще кого-нибудь, сказав: «Ты ведь еще никого не заказывал, Роберт. Теперь твоя очередь». Я вытащил еще три пенса, положил их на жесткую, мозолистую ладонь мужчины, а тот спросил: «Так кого мне изобразить, сэр? Крик павлина? Вой волка? Или свинью с поросятами — за одну цену?

— Свинок, — сказала Кэтрин. — Пусть покажет свинок.

— Нет, не свинок, — возразил я. — Черного дрозда.

— Черного дрозда, сэр?

— Да.

— Тогда нужна полная тишина. А вы, добрые люди, должны замолчать. Черный дрозд поет тонким голоском, поет нежно, его громко не изобразишь.

Мужчина уговорил окружавших его людей прекратить болтовню. Сложив трубочкой ладо-

ни, он приложил их к губам. Сквозь просветы в пальцах мне было видно, как его губы уродливо изогнулись. Закрыв глаза, я ждал. Вдруг раздалось пение — чистое и прекрасное. И я ощутил, как на моих глазах выступили слезы. Заторопившись, я вытащил платок и громко высморкался, — этим я так грубо прервал имитацию пения птицы, что толпа взорвалась смехом. Я кивнул смотревшему на меня сердито имитатору и, решительно взяв за руку Кэтрин, увел ее с рынка.

Днем я взял напрокат лодку: больше заняться в Марче было нечем. День стоял теплый, словно опять нежданно-негаданно вернулось лето, я греб вниз по течению реки к местечку под названием Бенуик. «Это слишком маленькая деревушка, туда вряд ли заявится имитатор птичьих голосов», — сказал я с улыбкой, но Кэтрин не слышала меня. Она опустила руку в воду — похоже, вода ее гипнотизировала так же, как плавающие листья и водоросли, скользившие между пальцами. Она приоткрыла рот и не замечала, что ее длинные волосы свесились в воду. Неожиданно она вышла из транса и засмеялась, и смех ее, который я редко слышал в «Уитлси», звучал в точности как смех ребенка. Но я не чувствовал при этом звучании ни нелености, ни сострадания, я уже заранее

предвидел скуку при мысли, что Кэтрин будет моей единственной женщиной. Время с ней протекало медленно, и не верилось, что когда-нибудь сядет солнце или ночная мгла вдруг сменится рассветом. Я пытался утешить себя мыслью, что, если время замедлится, я состарюсь позже отведенного природой срока. Но эта тщеславная мысль принесла лишь минутное утешение: ведь теперь старость не страшила меня, а если говорить откровенно, мне было безразлично — жить или умереть.

Вечером, когда я лег на кровать в комнате с ядреным яблочным запахом, у меня от гребли болезненно ныли плечи и спина. Кэтрин подошла к кровати, встала рядом, задрала юбку и попросила меня положить руку на ее живот; она раздраженно упрекнула меня в том, что я никогда раньше этого не делал и не хотел делать и, следовательно, не люблю малыша, что находится в ней.

Повернув голову, я взглянул на ее живот и сказал, что мне трудно любить то, что еще не обрело свое воплощение. Кэтрин не поняла, что я хотел сказать, у меня же не было никакого желания вдаваться в объяснения, поэтому я успокоил ее и погладил живот. Тогда она заговорила о том, что собирается делать для ребенка, когда он ро-

дится, и что никому, кроме меня, не позволит дотронуться до него, боясь зависти бесплодных женщин: они могут прийти, когда она спит, и украсть ребенка, — «и тогда я опять останусь ни с чем». Чтобы успокоить ее, я сказал (это было похоже на истории о Земле Мар, которые я рассказывал Мег Стори), что мы возведем крепость, ребенка же поселим в самой высокой башне, куда никому, кроме нас, не будет позволено заходить, «и тогда он не только будет в безопасности, но никогда не увидит и не ощутит жестокости этого мира, его козней, его уродства: ведь то, что он увидит из окна башни, будет сказочно прекрасно…» Этот бред настолько очаровал Кэтрин, что она заснула стоя, и мне пришлось подниматься и укладывать ее в постель. Что делать дальше, я не знал: ложиться рядом с ней мне не хотелось, и я сел на стул у окна, решив смотреть на звезды: вдруг увижу Юпитер в окружении маленьких звездочек, но стекло было настолько грязным, что я смог увидеть в нем лишь свое отражение, и тут меня поразило, как сильно состарился я за такой короткий срок — лицо, запомнившееся мне как круглое и веселое, осунулось и приобрело тревожное выражение.

Потом я задумался о Селии. Не знаю, что за-

ставило меня ее вспомнить, — желание увидеть Юпитер или перемены в моей внешности, которая всегда вызывала у нее отвращение. Мне припомнилось мое знаменитое «покаянное письмо», я сочинял его много часов подряд, но, так и не справившись с задачей, послал вместо него короткую записку. Теперь я мысленно писал другое письмо, где говорил, что понял, как сон связан с любовью. И еще рассказывал, какое несчастье, когда тебя любят, а ты не можешь ответить на эту любовь. Теперь меня днем и ночью терзает чувство вины, неразрывно связанное с отвращением, и эти муки так же сильны, как муки любви. «Так что теперь я знаю, Селия, — заканчивал я свое воображаемое послание, — как сильно заставлял тебя страдать, и за эти страдания, причина которых во мне, я сейчас прощу у тебя прощения».

По не совсем понятным причинам эта обращенная к Селии просьба о прощении так успокоила меня, что я заснул прямо на стуле. Однако сон не был приятным. Мне приснилась мать, она находилась в комнате Амоса Трифеллера и, как я вскоре понял, не видела и не слышала меня. Решив, что я не пришел, она надела шляпку и ушла, оставив меня одного.

Неожиданное потепление сопутствовало нам

на всем пути до Лондона; когда же мы подъезжали к городу, я обратил внимание, что трава у дороги пожухла, а опавшие листья выглядят сухими и ломкими, — все говорило о том, что здесь давно не было дождя. За окном постоянно вился рой из мух и прочих насекомых, они преследовали нас в поездке, и это побудило меня задать вопрос нашим попутчикам: «Какая погода установилась в Лондоне с окончанием лета?» Мне ответили, что об «окончании лета» говорить не приходится: лето по-настоящему так и не ушло, «ужасный зной продолжается», в столице за несколько месяцев ни разу не подул свежий ветерок и не пролилось ни капли дождя, «по этой причине атмосфера там удушающая, и все, кто поумнее, едут не в Лондон, а оттуда».

Заговорив о погоде, пассажиры дилижанса с увлечением переключились на тему чумы; казалось, они давно уже мечтали обсудить те ужасы, что принесла с собой эта болезнь, но не находили для этого подходящей аудитории. (Я часто замечал, что в природе многих мужчин и женщин заложено это свойство — получать наслаждение, смакуя всякие кошмарные истории, я же нахожу это отвратительным, поэтому меня всегда восхищала в короле та шутливая манера, с которой он

говорил о перенесенных злоключениях, никого не утомляя и не заставляя скучать.) Если в дом приходит чума, рассказывали попутчики, его покидают все, кроме заболевшего, матери бросают детей, слуги — хозяев, жены — мужей, «сотни людей ежедневно умирают в одиночестве, их не хоронят, они разлагаются, становясь пищей для крыс, а те разносят заразу по улицам, вы даже представить себе не можете этот невыносимый запах мертвечины, который стоит в некоторых районах города…»

Меня так и подмывало сказать, что, как врачу, мне хорошо знаком трупный запах; к счастью, я этого не сделал, потому что пассажиры стали взахлеб говорить о ненависти к людям из мира медицины — от хирурга до аптекаря: ведь они не нашли средство от страшной болезни. «Врачи, — громогласно заявила сидевшая напротив меня женщина, — стали самыми презираемыми людьми в Англии». И она сделала сосущее движение губами, словно наслаждаясь вкусом яда во рту.

В Чипсайд, где жила мать Кэтрин, дилижанс прибыл в сумерках. Мы вышли из экипажа, следом нам спустили два мешка с моими вещами.

Я замер и медленно втянул воздух. Чума не слишком изменила его. А вот необычная тишина

на улицах настораживала, такая тишина бывает, когда с неба неспешно падает снег. Казалось, город находится в трансе, он стал каким-то нереальным, словно я смотрю на него издалека. Я огляделся и увидел стайку ребятишек, бегущих за отъезжающим дилижансом. У входа в дом стояли две женщины, одна держала ребенка на руках. Мимо проехала телега, груженная бочками, слышался стук копыт впряженной в телегу лошади, но скоро и этот звук, и крики ребятни утихли и совсем смолкли. И снова воцарилась тишина. Я нагнулся за мешком и увидел, что Кэтрин, приподняв юбки, уселась на корточки и мочится в канаву. «Трудно терпеть, когда носишь ребенка, — сказала она, — вот и присаживаешься где придется». Тут из дома вышла ее мать. Зажав руками рот, она уставилась на дочь, которую отвезла к Опекунам в «Уитлси», потом испуганно перекрестилась. Кэтрин, раскрасневшись от напряжения, с которым опорожняла мочевой пузырь, подняла на нее глаза и вдруг стала хохотать. Не думаю, что был когда-нибудь свидетелем более нелепой встречи людей, надолго разлученных друг с другом.

Мать Кэтрин — высокая полная вдовушка лет сорока-сорока пяти. Ей нравится, когда ее на-

зывают сразу двумя данными при крещении именами — Фрэнсис Элизабет, как бы соединяя эти имена в одно. На жизнь она зарабатывает тем, что пишет письма для тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Я видел ее творчество — почерк ужасный, орфография и того хуже. На ее дверях висит табличка с надписью: *Фрэнсис Элизабет Уитенз. Пишу письма. Пенни за строчку.* Писать ее учил не школьный учитель, а покойный муж, работавший клерком в Патентном бюро. «Он был, — говорит мне Фрэнсис Элизабет в наш первый вечер в ее доме, — очень добросовестным работником».

Сам дом маленький, темный, и в нем очень жарко: в двух каминах — наверху и внизу — постоянно поддерживается огонь как средство против заразы: в Чипсайд уже два раза приходила чума. Пахнет дымом, старым лаком и камфарой, окна узкие и закопченные. Отведенная нам комната немного похожа на ту, что я давным-давно снимал на Ладгейт-Хилл — в месте, расположенном довольно близко отсюда. В той постели я познал сладостное забвение, здесь же я не мог даже спать. Я лежу без сна и слушаю тишину, накрывшую Лондон. А вот Кэтрин спит Ее спутанные волосы лежат на моем плече, а рука

перекинута через грудь.

Глава двадцать вторая
Профилактика

Вскоре после нашего приезда в Лондон меня послали за чернилами для Фрэнсис Элизабет; на своем пути я повстречал группу мужчин, одетых в лохмотья, они безжалостно стегали себя, подобно флагеллантам[66] во времена Черной Смерти в 1348 году. Это было на Чейндж-Стрит, и я предположил, что они идут в собор св. Павла молиться о прекращении эпидемии. Мне было любопытно узнать, какое утешение может принести такое истязание плоти, и я пошел за ними.

Я обратил внимание, что все идущие нам навстречу люди с величайшим страхом взирают на этих флагеллантов, словно это они принесли заразу, и даже переходят на другую сторону. Как часто страх перед чем-то одним, подумал я, порождает в людях *абстрактный строк страх вообще,* и тогда они начинают бояться всего необычного

---

[66] Примечания: 66

Флагелланты (или Бичующиеся) — секты, существовавшие в Европе в XIII — XV вв. Поощряли бичевание как средство наказания, покаяния и аскетического упражнения. В 1347–1348 гг., когда в Европе свирепствовала чума (Черная Смерть), флагелланты устраивали госпитали и помогали больным.

и непонятного. За этой мыслью последовало осознание того, что лично я уже ничего не боюсь, даже смерти, потому что больше не считаю свою жизнь чем-то особенным или драгоценным. Тут я улыбнулся: ведь в мои мысли неожиданно, без всякого предупреждения, вошел король. Оценив мое новое *бесстрашное* состояние, он фыркнул и сказал: «Неплохо». И тут же, как обычно, удалился, не снисходя до подробных комментариев.

Мы приближались к собору. Не зная, как долго продлятся молитвы флагеллантов в церкви, и помня о своем поручении купить чернила, я решил подойти к ним прямо сейчас и попросить уделить мне несколько минут до начала моления.

Подойдя к ним сзади, я заметил у двух бичующихся на спине мелкие ранки, вроде созревшей и лопнувшей сыпи, эти ранки воспалились, из некоторых сочился гной. Я начал с того, что сказал (довольно громко, чтобы перекричать их завывания): «Хочу обратить ваше внимание, добрые люди, на то, что я врач, и, если боль от ваших ран станет совсем уж невыносимой, я могу дать вам бальзам, чтобы ее смягчить…»

Флагелланты разом повернули ко мне головы, и я увидел вместо обычных человеческих лиц

раскрашенные белой глиной физиономии, напоминавшие черепа. Было ясно, что в их намерения входило отпугивать людей, и то, что я осмелился приблизиться к ним, явно смутило их.

— Наша боль как раз по нам — не больше и не меньше, — резко ответил один мужчина, — что же касается вас, докторов, вот кому не помешало бы понести наказание.

Что до меня, ответил я, судьба и так отнеслась ко мне достаточно жестоко, так что я не чувствую необходимости подбавить еще жару. Я засмеялся своей шутке, надеясь вызвать что-то вроде ответной улыбки у флагеллантов, но не тут-то было. Поэтому я быстро перешел к тому, что хотел спросить. «Оглянитесь вокруг, — ответил один из них, — и вы увидите не Лондон, не город, который вы хорошо знали раньше, вы увидите место, погрязшее в хаосе. Если человек живет в хаосе, он быстро сходит с ума. С нами такого не случится. Потому что мы ничего не видим, не слышим и не обоняем. Мы знаем и чувствуем только свою боль».

Я поблагодарил его и, предоставив флагеллантам следовать их путем, отправился по своим делам. Неспешно брел я к Клок-Лейн, надеясь там купить чернила для Фрэнсис Элизабет, если толь-

ко знакомый продавец не умер от чумы за время моего отсутствия. Пока шел, я все время думал о словах и поступках флагеллантов и задавался вопросом, как следует вести себя в этом «царстве хаоса», чтобы сохранить остатки здравомыслия; в результате я пришел к выводу, что мне нельзя закрывать глаза на человеческие страдания, а, напротив, надо постараться определить размеры и границы бедствия. Походить по городу. Нарисовать схему распространения чумы (нет, не на холсте!), нарисовать в мозгу — где она зародилась, как мигрировала, какие способы изобретают горожане, чтобы избежать заразы. Я составил нечто вроде плана действий, который мог помочь мне справиться с вяло текущим временем, с тоской. Такая перспектива взбодрила меня.

Ближе к родам Кэтрин стала много спать, и, как бы из солидарности с дочерью, много спала ее мать — она клевала носом и задремывала над письмами в жарко натопленной комнате, и, когда белая рука Кэтрин падала с постели, а голова матери утыкалась в стол, я тихонько выскальзывал из дома.

Женщины не спрашивали, куда я хожу, это их, похоже, не интересовало. Они не сомневались, что я вернусь: Кэтрин заставила меня поклясться

на зеленых тапочках, что я никогда не переступлю через нее во сне и не сбегу. Так я занялся составлением «карты» распространения чумы в Лондоне. Иногда я направлялся к северу от Чипсайда, но чаще к югу, туда, где текла река, с этими местами были связаны многие мои воспоминания, и я знал, что замечу любую перемену и сумею объяснить то, что увижу.

К Рози я не зашел. Именно на ее улице на двух домах были скорбные надписи: «Боже, помоги нам», а в Саутуорке у воды я обратил внимание на огромное количество крыс. Но я бы не стал утверждать, что Рози Пьерпойнт находится в большей опасности и имеет шанс скорее заболеть чумой, чем жители Ламбета, или Спиталфилдса, или Шоредитча. Нельзя сказать, что болезнь идет по земле — она словно является из воздуха, подобно носимым ветром семенам, которые по чистой случайности падают то тут, то там.

На реке звучали голоса, но гораздо тише, чем раньше: многие щеголи-придворные и их подруги сбежали из города и жили в сельской местности, там, наверное, и раздавались сейчас их крики и визг. Мне говорили, что у лодочников сейчас мало работы, некоторые даже голодают, поэтому я взял за правило каждый день брать

напрокат лодку. Этот акт милосердия вознаграждался последними «речными» сплетнями. Так я узнал, что в придачу ко всем лондонским несчастьям сотни списанных на берег моряков, которым при увольнении ничего не заплатили, приехали в столицу требовать свои деньги в морском ведомстве и, так как этим несчастным негде преклонить голову, они быстрее подхватывают заразу — «им даже умереть негде, кроме как на улице, сэр, и мертвецы валяются прямо в канавах».

«А почему им не заплатят?» — спросил я лодочников. В казне нет денег, был их дружный ответ, — «король неэкономно тратит отпущенные ему парламентом средства, — похоже, он собирается и впредь кормить всех лживыми обещаниями, надеясь, что ему будут приносить деньги на блюдечке». Я вспомнил, как король сказал, что «медовый месяц» его правления остался позади. Тогда я ему не поверил, но он оказался прав: народная любовь к нему пошла на убыль. Но только не моя.

Я уже несколько недель слонялся по Лондону, когда ко мне пришло осознание очень важной вещи: я не просто пытался постичь суть катастрофы, постигшей город, мне хотелось понять,

что лично я могу сделать в этой ситуации. Я стал спрашивать всех, с кем сводила меня судьба, — лодочников, торговцев пирожками с угрями, продавца чернил на Клок-Лейн: «Как мне, профессиональному врачу, лучше помочь людям?» Однако никто толком ничего не говорил. Некоторые плевались: само слово «врач» вызывало у них крайнее отвращение. Другие советовали идти домой, запереть двери, жечь лекарственные травы и ждать, пока все не успокоится. Были и такие, что тут же раздевались и просили их осмотреть: нет ли на теле пятен и опухолей? Никто так и не сказал мне, чем я могу быть полезен. Думаю, я так и продолжал бы бесцельно бродить по городу, делать заметки, задавать вопросы и наблюдать, если б однажды ночью я не проснулся, лежа в кровати рядом с Кэтрин, и не ощутил в комнате и в своем сознании такую глубину безмолвия, которую нельзя сравнить ни с чем на свете. Окутанный им, я лежал, устремив взор в темноту и думал, что бы это могло быть. Прошло несколько минут (во всяком случае, у меня было ощущение, что прошло именно столько, хотя точно я не *знал*), и тоща я понят, что ко мне вернулась Тишина Пирса.

Такое трудно вынести — слишком одиноким

себя чувствуешь. Я не мог больше неподвижно лежать в кровати и слушать эту тишину, поэтому я встал, пошел в гостиную, сел у догорающего камина и стал ждать рассвета. Я знал, что ждать придется долго: наступили долгие зимние ночи, и, чтобы занять себя, поднялся наверх, вытащил из-под кровати (где в привезенном из «Уитлси» мешке хранил кое-какие книги и письма] книгу Уильяма Гарвея «Исследования о зарождении животных» — ее дал мне Амброс в день моего отъезда. Это была книга Пирса. Он перечитывал ее множество раз, и от этого страницы стали тонкими и непрочными, как лепестки цветка, к ним даже прикоснуться было страшно. Кожаный переплет был в пятнах и довольно потрепан, однако Пирс так долго носил книгу у сердца, что она *до* сих пор хранила его запах, и вручая ее мне, Амброс сказал: «Она была частью. Джона и заменит тебе половник».

Я раскрыл книгу на коленях и стал осторожно листать страницы. Некоторые латинские фразы были подчеркнуты Пирсом, и почти на каждой странице я видел замечания, сделанные его миниатюрным почерком. В середине книги между страницами я обнаружил два засушенных первоцвета и листок вощеной бумаги, на которой

было написано по-гречески προφυλακτικός, что означает «профилактические меры». Ниже — уже по-английски, насколько я смог разобрать — перечислялись компоненты состава, все было снабжено краткой инструкцией по технике их соединения.

Я поднес лист ближе к свету и увидел, что под инструкциями Пирс начертил несколько изящных вопросительных знаков, — он всегда их много ставил в своих книгах по медицине; эти знаки мне были абсолютно понятны, они означали одно: «Доказательств нет». Я уже собирался положить листок на прежнее место, но тут обратил внимание, что один из компонентов состава — корень лютика, и память подсказала мне, что мясистая луковичка, которая редко используется в наши дни в медицине, раньше всегда входила в профилактические сборы против чумы. Из этого я сделал вывод — правильный, насколько мог судить, — что на листке, который я держу в руках, записаны профилактические рекомендации против чумы, подготовленные самим Пирсом.

Зря Пирс делал свои записи на вощеной бумаге: чернила в нее не впитывались и вскоре выцветали. К счастью, он пользовался при письме острым пером (он всегда уделял много внимания перьям

и следил, чтобы они были хорошо заострены), и потому, когда я поднес бумагу к свету, слова, нацарапанные на воске, таинственным образом высветились.

Так мне открылась моя роль в лондонской трагедии: я буду распространять профилактические сборы Пирса. Стану продавать надежду.

Деньги, которые еще оставались у меня ко времени нашего приезда в Лондон, подходили к концу. Теперь нас кормила Фрэнсис Элизабет, она же покупала уголь. Желая как-то участвовать в расходах, я стал помогать ей сочинять письма, исправлял ошибки, учил изящным оборотам. Похоже, такое положение вещей ее устраивало, но оно не устраивало меня. Сознание того, что от нужды меня спасают письма, полные жалоб и просьб (написанные для бедняков, которые могли с трудом позволить себе их оплатить), заставляло меня испытывать неловкость и страх. Поэтому я дал себе слово, что буду зарабатывать на жизнь, продавая снадобье, изготовленное по рецепту Пирса, даже если моими клиентами станут родственники покойников или умирающих, а это означало, что мне придется входить в дома, помеченные красным крестом и с надписью «Господи, помилуй».

За пять гиней старый аптекарь, которого я знал еще в то время, когда жил на Ладгейт-Хилл, приготовил мне большое количество лекарства (настоянного на малаге, и потому довольно приятного на вкус) и продал в придачу несколько дюжин пустых пузырьков. Стоя у дверей аптеки, я обратил внимание на необычный головной убор типа шлема, в котором было что-то птичье. В таких шлемах врачи входили в дома, где были больные чумой. Я спросил аптекаря, нельзя ли его на время позаимствовать. «Держите его у себя, сколько пожелаете, сэр, — сказал он. — Носивший его доктор больше не ходит сюда, он вообще никуда больше не ходит, он умер».

Я взял шлем и вышел на улицу. Кожаный шлем полностью закрывал лицо, голову и плечи. В прорези для глаз были вставлены стекла, дышать приходилось через длинный клюв с трудом, потому что клюв был забит пакетиками *potpourri,*[67] чтобы защитить носителя от зараженного воздуха. В комплект, помимо шлема, входили кожаный плащ (несколько напоминавший табарду) и плотные кожаные перчатки до локтя. Было ясно: если облачиться в подобный костюм, меня (кем бы я

[67] Примечания: 67
Плотно *(фр.).*

сейчас ни был — Робертом или Меривелом, или ни тем ни другим, или сразу обоими) никто не узнает, даже самые близкие люди. Я и на человека не был похож, а скорее, на утку, но меня это устраивало: ведь профилактический сбор Пирса еще ни кем не был опробован, и, продавая его, я выступал в роли лекаря-шарлатана.

Осознание своего положения хоть и огорчало меня, однако не помешало, когда я возвращался в Чипсайд в «утином» наряде, громко расхохотаться, увидев в окне свое отражение. Ни в меховой табарде, ни в трехмачтовом бриге, водруженном на голову, не выглядел я так комично, Я смеялся так долго и так неудержимо, что все, кто проходил мимо и кого я видел сквозь прорези, смотрели на меня с опаской, как на человека, внезапно тронувшегося рассудком.

Расскажу вам, как прошла зима.

В декабре я зашел в дом, который навестила чума. Хозяин дома только что умер, рядом с ним на коленях стояла жена, держала его руку и горько плакала. Я спросил, не могу ли чем-то помочь. Нет, ответила она, никто на свете не может ей помочь, скоро она начнет чихать, потом ее станет бить дрожь — это первые симптомы чумы. Я уже собрался уходить, но вдруг предложил

(не своим голосом — его заглушал утиный нос): «Если никто на этом свете не может вам помочь, почему не обратиться к тому, кого уже нет среди нас, — вдруг Джон Пирс спасет вас от смерти?» И я протянул ей пузырек с лекарством. Она взглянула на пузырек, но тут голова ее снова затряслась, и рыдания возобновились. Несмотря на крайнюю нужду в деньгах, я не спросил у этой храброй, убитой горем женщины шиллинг и три пенса — обычную цену лекарства, поэтому я кивнул ей на прощание и вышел, оставив пузырек на столе. Четыре или пять недель спустя эта женщина, которая, как оказалось, уже несколько дней меня разыскивала, отыскала мой дом и, обняв меня, поцеловала в клюв. В тот раз после моего ухода она приняла лекарство, и так как симптомы чумы не появились, она уверилась, что я ее спас.

Слухи об этом чудесном спасении распространились по городу, и с этого времени дело мое стало процветать. Люди приходили за лекарством к дому Фрэнсис Элизабет, избавляя меня таким образом от необходимости искать клиентов в зачумленных местах. Фрэнсис Элизабет поддерживала огонь в каминах, жгла травы и не выходила к незнакомцам, регулярно появлявшимся у ее дверей. Они с Кэтрин все больше

времени проводили наверху: Кэтрин в кровати (где иногда я занимался с ней любовью, скрывая, что делаю это от одиночества, — я не испытывал к ней подлинного желания), а Фрэнсис Элизабет в кресле-качалке. Обе с нетерпением ждали появления ребенка, шили ему чепчики, вязали одеяльца для колыбельки. Кэтрин поднимала юбки и гладила свой живот, ставший на исходе года таким огромным, что, казалось, она вот-вот родит. Ее мать осторожно прикладывала голову к середине живота, где, подобно розовому бутону, торчал пупок, и ощущала, как брыкается малыш. Они так страстно ждали его рождения, что это ожидание поглощало все их время. К сочинению писем мать теперь относилась спустя рукава, женщины даже про меня, обосновавшегося внизу со своими пузырьками, подчас забывали, и мне стало иногда казаться, что я снова свободен, как в студенческие дни, и моя жизнь не связана ни с жизнью Кэтрин, ни с жизнью какой-нибудь другой женщины, так что я могу выйти на улицу и начать жизнь снова.

О нерожденном ребенке я особенно не задумывался. Как-то так сложилось, что я считал его собственностью Кэтрин и ее матери, словно сделал им подарок. Женщинам хотелось, чтобы

родился мальчик, который со временем достигнет высокого положения в Патентном бюро. Его собирались назвать Энтони в честь покойного деда. Однажды женщины пригласили астролога. Тот поморщился, узнав, что я родился под знаком Водолея, и что-то прошептал себе под нос. Если ему верить, ребенок должен был появиться на свет крупным и здоровым, «еще в детстве он научится заразительно смеяться», прибавил астролог. Двадцать пятое февраля он назвал как предположительную дату рождения и ушел, став богаче на десять шиллингов. Кэтрин и Фрэнсис Элизабет были разочарованы: слишком мало они получили информации.

— И какая польза от смеха? — вздохнула Фрэнсис Элизабет. — Смех не приносит богатства.

И вот снова наступил день моего рождения. Я умолчал о нем, и потому никакого праздника не было. Весь день я хандрил, вспоминал глупого Дегуласса и пустые надежды его жены и дочерей. А ближе к ночи мне припомнилась Селия, ее изящество, ее сладостное пение.

На той же неделе я встретил в аптеке мужчину, жившего на свете уже девяносто девять лет Он заверил меня, что причина чумы кроется в усталости земли — и это первый шаг к концу света.

Однако он страстно желал дожить до ста лет, и я убедил его купить пузырек с лекарством Пирса. Перед тем как вручить деньги, старик поинтересовался, что входит в состав сбора. Толченая рута, шалфей, шафран, отварной корень лютика, кирказон змеевидный, соль, ответил я, и все это настояно на малаге. Старик улыбнулся, кивнул, похвалил состав, назвав его «разумным», и направился к двери. Я обратил внимание, что аптекарь подобострастно поклонился, когда он выходил.

— Кто этот старик? — спросил я.

— Разве вы не знаете? — удивился аптекарь. — Вам ничего не говорят этот мясистый нос и необычная линия рта?

— Ничего.

— А мне кажется, фамильное сходство налицо. Это последний оставшийся в живых брат Уильяма Гарвея.

Непонятно почему но это сообщение так потрясло меня, что вместо того, чтобы, как я намеревался, вернуться в Чипсайд, я зашел в ближайшую таверну под названием «Крепкая телега» и заказал себе графинчик вина.

Я так давно не пил, что опьянел буквально от одного глотка. Тихо сидя в углу, я продолжал безрассудно пить вино, радуясь, что меня здесь

не знают и не пристают с разговорами. Я уже собирался заказать еще один графинчик, вспомнив к этому времени, что пить одному бывает по-своему приятно, но тут услышал вежливый, вкрадчивый голос: «Доброе утро, сэр Роберт!»

Я поднял глаза. Предо мной стоял мужчина такой чудовищной худобы, что его обтянутое кожей лицо было несравненно больше похоже на череп, чем разрисованные лица флагеллантов. Над этой изможденной физиономией можно было лицезреть белокурый, когда-то, видимо, шикарный парик, теперь же он, свалявшийся, засаленный, грязный, имел отвратительный вид. На мужчине был рваный зеленый камзол, он протянул мне руку в зеленой перчатке. Я смотрел на него, ничего не понимая. И вдруг меня словно пронзило: это же Финн!

Если б у него не хватило мужества признаться, что он шпионил за мной по приказу короля, и попросить прощения, я бы встал и ушел, не проявив сочувствия к его бедственному положению. Но слова раскаяния были первыми, которые он произнес за ними последовала история его приключений. И просьба о прощении, и его история вызвали у меня жалость к нему: в первом случае он был неловок и постоянно заикался, во втором

— несчастен и унижен.

Как вы помните, Селия покинула меня и вернулась к королю, когда я, заболев корью, бредил у себя в комнате. С ней поехал и Финн, захватив с собой законченный портрет.

В дороге Финн размечтался. Ему представлялось, как король хлопает его по плечу и вручает кошелек, полный золотых монет. Он мечтал о новых заказах (как сладостно звучит слово «заказ» для начинающих художников и поэтов!) и воображал вымышленные сельские пейзажи, на фоне которых будет рисовать знаменитостей.

И вот они подъехали ко дворцу. Портрет Селии выгрузили из кареты, и Финн сам понес его по Каменной галерее, полагая, что ради такого случая королевские апартаменты будут широко раскрыты. Но не тут-то было. Он ждал в Каменной галерее два дня, все его мысли были настолько поглощены перспективой блестящего будущего, что он только однажды отошел, чтобы поесть хлеба и колбасы, и однажды, чтобы облегчиться. Спал он, положив голову на камень.

Его позвали только на третий день. Король с высоты своего роста окинул взглядом портрет (Финн тем временем смиренно стоял на коленях позади). Его Величество приказал поднести

ближе лампы, наклонился и поскреб пальцем краску. Жженая умбра, отслоившись, пристала к его пальцу. Король внимательно осмотрел испачканный палец и попросил принести носовой платок, чтобы вытереть краску. Платок принесли. Король махнул им на картину: «Безвкусно и убого. Ничего похожего на леди Меривел. Унесите портрет прочь».

Финн понимал, что спорить нельзя. Вступать в спор с королем означало потерять и те небольшие деньги, которые он еще имел шанс получить, если промолчит. И все же из его уст вырвался протест. Он вышел из-за картины и стал рассказывать, сколько труда вложено в эту работу, как тщательно он выписывал фон и какую нежность выказывала Селия по отношению к нему и портрету. Не говоря ни слова, король повернулся и пошел в спальню. Финн кричал вслед, что ему должны заплатить, по крайней мере, оговоренные в контракте семь ливров, иначе никто не будет верить королю, который не держит слова. Тут король остановился и позвал охрану. Финна арестовали и бросили в Тауэр.

Семь месяцев он томился в Тауэре. Ему не предъявили никакого обвинения, о нем просто забыли. Заступничество Селии помогло ему вый-

ти на свободу. Финну было приказано никогда не приближаться к Уайтхоллу или любому другому месту, где находится монарх. Он отправился в Норфолк, уверенный, что Вайолет Бэтхерст поможет ему, но, оказавшись на месте, узнал, что хозяйство Бэтхерстов находится в крайнем запустении. Старик Бэтхерст умер и лежал теперь в сырой земле, а Вайолет, тоскуя по нему, а может, по мне, находила ежедневное утешение в отличном аликанте, которым Бэтхерст забил свой погреб. Она дала Финну четырнадцать шиллингов, чучело какого-то зверька и отправила восвояси. Когда он выходил из дома, его укусила одна из гончих Бэтхерста, тоскующая по вкусу крови.

Тогда он вернулся в Лондон умирать. Ему удавалось сводить концы с концами, рисуя декорации для театра «Дюк», но его ненависть к королю и к миру, не оценившим его дар, была столь велика, что подтачивала его физическое и душевное здоровье. Она буквально его убивала.

Вот что рассказал мне Финн в «Крепкой телеге». Мы с ним так налакались, что свалились под стол и очухались уже затемно, когда хозяин вылил на нас ведро воды. Выйдя на улицу, мы долго блевали в канаве. Я повел Финна в Чипсайд. Там

Кэтрин и Фрэнсис Элизабет подняли глаза от шитья и уставились на изможденное, трагическое лицо гостя. Я пригласил его за стол, и вскоре нам принесли рагу из свиных ножек с ячменной кашей Из глаз Финна, подносившего ложку ко рту, полились слезы, которые он не смог от меня скрыть Они капали в жаркое и тем самым делали его более соленым и водянистым.

Финн спал на узкой койке в темной комнатушке, где Фрэнсис Элизабет писала письма. Ему понравился стоявший в ней запах чернил, бумаги и сургуча, и, проведя там ночь, он спросил, нельзя ли ему пожить у нас месяц или два («только до весны, сэр Роберт») за ту небольшую плату, какую он мог позволить как театральный художник.

Фрэнсис Элизабет согласилась. Постепенно ее дом наполнялся все большим числом жильцов, но она не возражала. Из тревожной на вид, вечно ноющей особы она превратилась в спокойную, сильную женщину, и я подозревал, что ей тяжело дались годы одинокой жизни. Она никогда не заговаривала со мной о безумии Кэтрин, или о том дне, когда отвезла дочь в «Уитлси», или о том, что заставило ее оставить там дочь. О том, что верит в исцеление дочери, она тоже не говорила. Казалось, она совсем не хочет вспоминать прошлое

— смерть мужа прямо на ступенях Патентного бюро, бегство каменщика от Кэтрин, начало бессонницы и психической болезни дочери, — она думала о настоящем и мечтала о будущем, когда внук вырастет, станет сильным и мужественным и будет заботиться о них.

Когда же в доме появился Финн и Фрэнсис Элизабет услышала, как он называет меня «сэр Роберт», она села писать письмо в церковный суд с просьбой развести ее дочь с *«растворившемся в воздухи»* каменщиком, чтобы та могла выйти замуж за отца своего ребенка. Застав Фрэнсис Элизабет за этим занятием, я сел рядом и ласково отобрал у нее перо. Я собирался сказать ей, что тоже женат, и женат на женщине, которую избрал для меня король, но язык не поворачивался сказать такое матери Кэтрин, и потому я просто указал ей на то, что «в воздухе» пишется через «е», да и стиль ее в этом письме не столь изящен, как обычно. А ведь церковники «страсть как любят красивый слог» и форма письма может повлиять на их решение. В результате она порвала письмо и начала новое, но тут я уже не стал ей мешать и ушел.

В то время две вещи приносили мне утешение: знание, что предательство Финна не дало ему

ничего, кроме страдания, и неожиданное открытие, что, несмотря ни на что, мы по-прежнему хорошо относимся друг к другу. Я чувствовал себя его покровителем. Финн же не сомневался, что наша встреча в «Крепкой телеге» была предопределена свыше и, если он останется со мной, ему откроется его настоящее будущее. Он видел себя как бы изображенным на картине натурщиком, который в один прекрасный день оживает, оборачивается, видит за своей спиной прекрасную поляну и понимает, что может покинуть скучный передний план и перебраться в сказочно прекрасное место.

О королевском дворе мы почти не говорили, как и о превратностях наших судеб. Мы с любовью вспоминали Норфолк, его широкие просторы, промозглый ветер, мирные, ухоженные парки. Вспоминали мы и индийского соловья — для каждого он по-своему был значительным явлением. Мы говорили и о Кэтрин, и о том, как. не желая того, иногда непостижимым образом связываем навечно свою судьбу с судьбой другого человека.

Я заметил, что после появления в нашем доме Финна, если мне долго не спалось, стоило только представить его внизу на узкой коечке, и чувство одиночества сразу же отступало. Тогда во мне за-

родилась надежда, что и после рождения ребенка он останется здесь и будет спать в окружении чернильниц.

Как и предсказал астролог, рано утром двадцать пятого февраля у Кэтрин отошли воды.

Я быстро оделся, зажег лампы и расставил вокруг кровати. Фрэнсис Элизабет подбросила угля в камины и пошла за акушеркой, живущей в Сент-Суитинз-Лейн. Финн тоже проснулся и бродил по дому в нижнем белье, изумленно моргая.

Акушерка оказалась робким, изящным созданием. Ей бы цветами торговать. «Вы уверены, что привели ту женщину?» — спросил я у Фрэнсис Элизабет. Но на меня только замахали руками и погнали прочь. Женщины спокон веку присвоили себе исключительное право присутствовать при родах, словно поклялись держать это таинство в секрете от мужчин.

Перед тем как выйти из комнаты, я спросил Кэтрин, не страшно ли ей. Телесная боль не страшна — мучительны лишь душевные терзания, ответила Кэтрин. «Я боюсь одного — вдруг ты бросишь меня. И ничего больше», — прибавила она.

Мы с Финном съели на завтрак по куску шоколадного торта и пошли в театр, где Финн

работал сейчас над венецианскими декорациями и раскрашивал колонны, вырезанные из тонкой фанеры. «Ну что ж, — не удержался и съязвил я, — день обещает быть для тебя приятным, Финн, ведь ты не раз подпирал колонны». Я ждал, что он улыбнется, но не дождался. Вид у него был удрученный.

Я неспешно направился домой, по пути зашел в аптеку, где купил опия на тот случай, если у Кэтрин после родов пропадет сон, потом заскочил в «Крепкую телегу», чтобы пропустить, по обыкновению, стаканчик-другой вина. В Чипсайд я вернулся уже во второй половине дня, не сомневаясь, что мой сын Энтони родился и уже издал свой первый крик в этом мире.

Но он не родился. Дом гудел от галдящих женщин — соседок Фрэнсис Элизабет, они пришли помочь, а заодно и посплетничать. Женщины довели жар в каминах до предела и поливали уголь каким-то едко пахнувшим зельем. Одна из них испекла двадцать восемь пирожков с фруктовой начинкой. Другая, работавшая, как Рози, прачкой, выстирала все одеяльца для колыбельки и даже успела высушить их на раме для сушки белья. Соседка с семью детьми пела шотландские песни — по одной на каждого ребенка, и еще одну

в память о восьмом, умершем в младенчестве.

Время от времени я получал сообщения о состоянии Кэтрин. Родовая деятельность была слабая. Ее крупное тело оказалось не сильным и не помогало ребенку быстрее появиться на свет. Так прошел день, и наступил вечер, а Кэтрин все не могла разродиться. Примерно каждые десять минут схватки становились такими интенсивными, что ее крики доносились до маленькой гостиной, где я сидел и ждал и, чтобы время шло быстрее, играл арпеджио на гобое.

Пришел Финн, и все мы скромно поужинали пирожками, заедая заварным кремом. После ужина меня охватила сонливость — ведь сегодня я очень рано встал, — и я сразу рухнул бы в постель, если б она у меня только была. А так я немного поиграл с Финном в рамми и, засыпая над картами, продул ему подряд пять партий. Потом он пошел к себе, а я кое-как пристроился на скамье с высокой спинкой; одна из женщин накрыла меня шерстяным пледом, и я забылся тем беспокойным, неглубоким сном, в котором переплетаются обрывки снов и грез наяву.

Однако окончательно проснулся я только утром, принял сидячее положение и прислушался. Уже через мгновение до меня донесся крик

Кэтрин — не крик даже, а, скорее, слабый, жалобный стон, словно силы совсем оставили ее.

Тихо поднявшись по лестнице, я постучал в дверь спальни. Мне открыла акушерка и позволила войти. Я приблизился к кровати, рядом сидела Фрэнсис Элизабет, держа в своих руках руки дочери. В этот момент началась схватка. Кэтрин выгнула спину и открыла рот, чтобы застонать, но даже на стон у нее не хватило сил. Я нежно коснулся ее лица. Оно было воскового цвета, холодное, губы синие, потрескавшиеся. «Кэтрин», — прошептал я, но она не смогла ни сказать мне что-нибудь в ответ, ни даже улыбнуться.

— Как ей помочь? — спросил я акушерку.

— Ребенок крупный, сэр, она не может разродиться.

— И что же делать?

— Ничего. Только ждать и молиться.

— А дальше что?

— Если она станет впадать в забытье…

— Что тогда?

— Я наблюдала такие случаи, тогда мать можно спасти только одним способом…

— Вскрыть матку?

— Да. Тут нужен хирург.

Я понимающе кивнул и взглянул на Фрэнсис Элизабет, но она не смотрела в мою сторону. Наверное, она знала не хуже меня, что хирург, спасая Кэтрин, неминуемо принесет в жертву ребенка, он просто кусок за куском вырежет его из ее тела.

Выйдя из спальни, я сошел вниз, в маленькую гостиную. Огонь в камине догорал, и я подложил угля. Опустившись на колени перед камином, я не двигался.

В половине десятого я услышал, как две женщины вышли из дома, и понял, что они хотят попытаться разыскать хирурга.

Тогда я встал, пошел на кухню, нагрел воды и помыл руки. Мне было ясно, что я буду делать.

Час спустя женщины вернулись. Хирурга они не привели: разве найдешь его, когда в городе чума!

Финн, которому не надо было в этот день раскрашивать колонны, подошел и внимательно посмотрел на меня. Лицо его позеленело.

— Меривел, — сказал Финн — теперь он так называл меня, — что ты собираешься делать?

— Собираюсь предотвратить смерть, — ответил я.

Финн судорожно сглотнул. Потом взял шерстя-

ной плед, под которым я спал ночью, завернулся и стоял, дрожа в нем, как в надежном убежище, вроде коровника старика Бэтхерста.

И тут я стал отдавать приказания. Акушерке я велел вымыть живот Кэтрин и постелить под нее чистую простыню. Двух женщин послал за тампонами и бинтами, еще одну попросил растолочь крупицы опия и растворить в воде.

Тем временем я достал мой скальпель, иглу для наложения швов и прокипятил их. Все это время я не чувствовал никакого страха, только сильное возбуждение, подобное тому, какое ощущал в угольном погребе родительского дома, когда вскрывал трупик скворца.

Я поднялся в спальню. Кэтрин лежала с широко раскрытыми глазами, дыхание было поверхностным, как у тех маленьких собачонок, которых я когда-то лечил.

В комнате было шесть женщин. После того как в рот Кэтрин влили раствор опия, я указал каждой ее место: двум предстояло удерживать плечи и туловище роженицы, двум — ноги, остальные (среди них была акушерка, я очень надеялся на ее маленькие, ловкие пальчики) должны были помогать мне.

День был солнечный. Свет заливал комнату,

лучи солнца играли на моих руках и на лезвии скальпеля.

Я помолился, но не Богу, а своей матери и Пирсу. *Помогите мне сейчас,* попросил я.

И сделал надрез.

Я разрезал кожу. Капли крови, как алые бусинки, выступили от пупка до волос на лобке.

Когда я стал резать мускульную ткань, кровь обагрила весь живот. Помощницы собирали ее тампонами.

Я вскрыл брюшную полость. Стараясь говорить спокойно, я попросил акушерку и другую помощницу держать руки у краев раны и не давать ей закрыться. Они так и сделали, я же, отложив скальпель, стал с помощью тампонов и корпии останавливать кровотечение. Когда кровотечение приостановилось, моему взору открылись змеевидный кишечник Кэтрин, мочевой пузырь и стенка матки.

Я вытер руки чистой тряпкой. На лицо Кэтрин я не смотрел и не позволял себе думать о том, как она мучается, целиком сосредоточившись на своих руках.

Я почистил скальпель, стер кровь с призыва *«Не спи!»*. Поднес острие ножа к нижней части матки и сделал поперечный разрез.

Опять хлынула кровь. На мои руки, на кольца кишечника. Скальпель снова пришлось отложить. Я прикладывал к ране тампоны, они тут же пропитывались кровью, я выбрасывал их и брал новые. С моего лба стекла капелька пота и обожгла глаз. Я слышал стук собственного сердца и на какую-то долю секунды даже забыл, где нахожусь.

Но я не потерял сознание и не растерялся. Раздвинул края разреза в растянутой стенке матки и почувствовал, как мои пальцы коснулись головы ребенка.

— Помоги мне теперь, — сказал я акушерке. — Мои руки слишком большие, чтобы лезть в матку. Я буду держать разрез открытым. Просунь правую руку под головку, как рожок для обуви, и мягко — не рывком — поднимай.

Итак, я встал сбоку, и акушерка, похожая на цветочницу, засунула руки в матку Кэтрин и извлекла ребенка, — сначала, как я ее учил, освободила головку, а потом, просунув свои крошечные ручки под мышки малыша, вытащила и все скользкое тельце.

Ребенок был живой.

Но это не был Энтони. Родилась девочка.

Глава двадцать третья
Свет на реке

В Книге Бытия говорится, что перед тем как извлечь из плоти Адама ребро, чтобы сотворить Еву, «Господь Бог навел на человека крепкий сон». Я всегда считал это очень разумным с Его стороны: ведь благодаря сну Адам не испытал страшной муки. Мне, как врачу, много раз хотелось даровать забвение своим пациентам, прежде чем приступать к операции. Фабрициус как-то рассказывал о некоем Арнолде из Виллановы, он жил в четырнадцатом столетии и открыл секрет снотворного, при котором, заснув, не чувствуешь боли, однако состав препарата остался неизвестным. Поэтому, взяв в руки скальпель, чтобы вскрыть живот Кэтрин, я молился не о сне для нее, зная, что это невозможно, а молился о том, чтобы меня не подвело мастерство.

Однако, когда я вскрыл брюшную полость, Кэтрин неожиданно впала в глубокое забытье; оно не было связано с тем небольшим количеством раствора опия, какой мы ей дали: ведь опий действует медленно и незаметно. Сначала я

решил, что это болевой шок. Но прошло несколько часов, а она все не выходила из коматозного состояния. Дыхание ее стало затрудненным, как у Пирса во время его последней болезни. Я не понимал природу этого сна, если только он не говорил о близкой смерти.

Разрез в матке я не зашил: стенка была настолько тонкой, что швы еще больше поранили бы ее, — я оставил все как есть, предоставив исцеление времени. Разрез же на брюшной стенке зашил, продезинфицировал Галеновым препаратом и велел женщинам наложить поверх корпии круговую повязку. Во время всех этих действий Кэтрин продолжала оставаться в бессознательном состоянии, не зная, что из нее извлекли живого младенца, как это было с Цезарем и с добрым Макдуфом из шекспировской пьесы «Макбет», — эти истории поведал мне Амос Трифеллер у себя в комнате, пахнувшей полированным деревом.

Акушерка и другие женщины занялись девочкой, они вымыли ее, осмотрели и запеленали. Мне они сказали, что у нее рыжий пушок на голове, она «голосистая» и крепкого сложения. Ребенка поднесли ко мне, показали крошечное личико, и я обратил внимание, что носик

у девочки такой же приплюснутый, как и мой. «Как называть ребенка? Какое имя вы придумали?! — спрашивали меня. Я ответил, что ничего не придумал: ведь мне говорили, что родится мальчик и назовут его Энтони.

Женщины посмотрели на меня с укоризной и унесли ребенка. Оставшись один, я сел, протер глаза и только тогда осознал, что стал отцом девочки, которая живет и дышит. Я сложил молитвенно руки, как делал верзила Амброс, и попросил Бога, чтобы Он и люди были добры к моей девочке. «Пусть у нее будет как можно больше игрушек, но сама она пусть не будет игрушкой для других мужчин». Прошептав эти просьбы, я тотчас решил, что дочь будут звать Маргарет, как мою мать, — к этому имени у меня всегда было трепетное отношение. Я пошел к женщинам и объявил, что назову дочку Маргарет в честь своей матери и Маргарет Фелл. Женщины закивали в знак одобрения, и теперь, когда девочка плакала, я слышал, как они ее утешают: «Тихо, Маргарет, все хорошо».

Но ничего хорошего не было. Прошло несколько часов, Кэтрин оставалась в том же состоянии — не шевелилась, и тогда акушерка освободила одну ее грудь и надавила на сосок, надеясь, что

пойдет молоко. Однако, несмотря на пышность груди, выдавилась только жалкая капелька — молока у Кэтрин не было; акушерка сняла капельку пальцем и слизнула — на вкус та была горькой, как желчь.

— Все равно приложи малышку к груди, — сказала Фрэнсис Элизабет — она стояла рядом с дочерью и расчесывала волосы, разметавшиеся по мягкой подушке, — тогда и молоко придет.

Маргарет положили на живот Кэтрин, выше повязки, и щекотали соском ее ротик до тех пор, пока она не раскрыла его и не взяла грудь. Малышка начала сосать, но почти сразу выплюнула сосок, заплакала и, как ни старалась акушерка, больше грудь не брала. Ее снова положили в колыбельку и тепло укутали одеялами, приготовленными для Энтони. Я потребовал, чтобы скорее нашли кормилицу.

Сам я сел подле Кэтрин. Взял ее руку — очень горячую — и держал в своей. Всматривался в ее лицо, стараясь увидеть не лицо бедной женщины, к которой не испытывал никаких чувств, а лицо матери моего ребенка. Хотелось любить ее, чувствовать нежность, но ничего не получалось, и тогда я встал и сошел вниз, боясь, что Фрэнсис Элизабет поймет, какие чувства и мысли меня

обуревают.

Внизу я увидел Финна, он сидел у камина в нижнем белье, пришивая заплаты на штаны из зеленого сукна. Он совсем обносился, и, имей я деньги, непременно купил бы ему новую одежду. Он так смешно выглядел за этим занятием, что я не удержался и с улыбкой сказал: «Вижу, ты осваиваешь новую профессию — портного».

Чувства юмора у него хватило, чтобы рассмеяться. Потом он серьезно произнес: «Не знаю, что делать, Меривел, я совсем обнищал».

— А почему бы тебе не нарисовать мой портрет? — сказал я.

— Что ты сказал?

— Ты слышал. Только не надо рисовать меня в атласных одеждах на фоне морской баталии нарисуй меня таким, какой я есть, — в старом парике, без камзола, в этой обстановке.

— Но это не принесет мне денег.

— Я тебе заплачу, сколько смогу. Но если портрет будет хорош, ты сможешь показывать его в кофейнях и получать новые заказы — не от придворных щеголей, а от обычных людей — клерков из Морского ведомства, ювелиров, юристов, галантерейщиков и так далее. Семь ливров за картину ты не получишь, но что-то тебе все же за-

платят, ведь каждый понимает: портрет на стене говорит о том, что хозяин дома процветает.

Все выглядело так, словно эту мысль я долго вынашивал, хотя на самом деле она только что пришла мне в голову. Однако, высказав ее, я подумал: в этом и правда что-то есть, то же самое решил и Финн — отложив рукоделие, он взглянул на меня, и в его взгляде засветились радость и надежда.

Вечером того же дня акушерка вынула Маргарет из колыбели, закутала в шали и одеяла и понесла к кормилице. Я сопровождал ее: мне хотелось самому увидеть эту женщину, чтобы убедиться, что она не больна и содержит дом в чистоте.

Нависший над рекой высокий и узкий дом принадлежал ростовщику. Одну комнату занимал сам хозяин, там он вел свои расчеты, но в остальной части дома резвились дети — восемь или далее девять ребятишек разного возраста, от двух до двенадцати лет; вышедшая нам навстречу хозяйка держала на руках десятого ребенка — пухлого полугодовалого малыша.

Она пригласила нас в гостиную. В камине пылал огонь, и я ощутил знакомый запах трав, которыми отводили от дома чуму. Женщина

положила ребенка на коврик у камина и взяла на руки Маргарет. Нашей будущей кормилице было лет тридцать пять, нежной улыбкой она напомнила мне Элеонору и Ханну; Женщина приложила палец к губам моей малютки, и та сразу же стала его сосать. В этот момент в комнату вошел сын кормилицы, бедно, но опрятно одетый мальчуган, со здоровым румянцем на лице. Он встал рядом с матерью, с интересом глядя на круглое личико Маргарет.

— Она похожа на плоскую маленькую пуговку, — сказал он.

— Тсс, — осадила его мать. — Только посмотри на эти глазки! Как цветочки!

Мы надолго не задержались — впечатление от женщины осталось самое хорошее. По словам кормилицы, молока у нее много, и «оно не кислое, ведь она не ест лежалых фруктов и не пьет сидр», кроме того, она «всегда начеку и внимательно следит за малышами». Когда я отдавал деньги, мне было любопытно, оставит ли она деньги себе или отнесет мужу, который отдаст их еще кому-то под проценты.

Мы возвращались домой вдоль причалов. «Странно, — сказал я акушерке, глядя на воду, — и зимы-то по существу не было, и вот уже весна».

Эту ночь я провел на полу у постели Кэтрин. Акушерку отправили домой, остальные женщины тоже разошлись, все в нашем доме обретало прежний облик — только голоса Кэтрин не было слышно — раздавались хрипы и вздохи.

Утром, делая перевязку, я увидел, что из шва, не переставая, сочится кровь, текла она и из влагалища прямо на простыню. Я не представлял, что можно сделать, чтобы остановить кровотечение, не понимал, почему не свертывается кровь и не затягивается рана. Но тут я вспомнил, как в больнице св. Фомы мы однажды вскрыли вену на голове мужчины, у которого шла кровь из прямой кишки, и внешний надрез остановил внутреннее кровотечение.

Я взял руку Кэтрин. Рука была холодная и блестела от влаги. Я нашел вену, сделал надрез и спустил в таз немного крови. Неожиданно Кэтрин открыла глаза. Она пристально смотрела на меня, проникая взором в мои мысли. Взгляд ее был неподвижен. Она молча смотрела и постигала все, что я сделал, все, что пытался к ней чувствовать и не мог. Я отвел глаза в сторону, туда, где висела пустая колыбелька. Мне казалось, что, когда я снова встречусь с Кэтрин взглядом, ее глаза смягчатся и я прочту в них прощение. Но

взгляд не изменился.

Тогда я протянул к ней руку. Больше я ничего не делал. Не шептал последнего «прости», не произнес молитвы, вообще ничего не сказал. Просто протянул руку и закрыл эти пронзающие меня глаза.

Фрэнсис Элизабет горько оплакивала смерть единственной дочери, а Финн с его нежным сердцем плакал, жалея Фрэнсис Элизабет, которая спасла его от многих лишений, кормила рагу из свиных ножек и разрешила спать на брезентовой койке в комнате, где писала письма. А вот я не плакал совсем.

Я вышел из дома и направился в кофейню, там я сидел и пил чашку за чашкой переслащенный кофе. Здесь собирались люди, чтобы поговорить, выкурить трубочку, посмеяться. И, хотя сам я был чужаком, мне нравилась эта атмосфера: она возвращала меня к жизни.

Неожиданно у меня схватило живот. Я нашел отхожее место и опорожнился, и даже этот процесс доставил мне удовольствие: я почувствовал себя очистившимся, словно обрел новое тело.

Большую часть дня я провел, бродя по городу и размышляя, как жить дальше, и к наступлению сумерек ответ был готов.

Я вернулся в Чипсайд. По дороге купил букетик белых фиалок. Купил для Кэтрин, чтобы вложить ей в руки или положить поверх свежей раны, но потом и сами цветы, и желание возложить их на тело стали казаться фальшивыми, и я выбросил цветы в канаву.

Кэтрин похоронили на кладбище при церкви св. Элфейджа.[68]

Я отослал Опекунам письмо, где, в частности, писал: «Теперь, уснув вечным сном, она наконец отдохнет», потом, правда, пожалел, что высказался столь сентиментально.

Тогда же я принес клятву. Я поклялся никогда больше не действовать, исходя из жалости. Теперь я понимал, что моя «помощь» Кэтрин не была (как я думал) бескорыстной — я просто старался помочь своей мелкой душонке.

В ночь после похорон два матроса с корабля «Король Яков» постучались в дверь нашего дома. Они хотели, чтобы Фрэнсис Элизабет написала от их имени письмо герцогу Йоркскому с просьбой заплатить им жалованье. Я сказал, что она не сможет этого сделать, потому что «только

---

[68] Примечания: 68

Элфейдж (954-1012) — архиепископ Кентерберийский, умер мученической смертью от рук датчан.

сегодня похоронила дочь», но я могу им помочь. Поблагодарив, они попросили рассказать герцогу об их лишениях и голодном существовании не «больше, чем в шести строчках, — только на это, сэр, у нас хватит денег».

Я пошел в комнату, где обычно писали письма, и там обнаружил Финна — он натягивал на деревянную раму украденный из театра холст. На нем что-то было уже нарисовано — кажется, небольшая часть замка или башни.

— Что это, Робин? — спросил я. — Фундамент твоей новой жизни?

— Вот именно, — ответил он. — Ведь поверх этой мазни я собираюсь написать твой портрет, а он, как ты предсказываешь, станет для меня началом новой жизни.

Натянув холст, он прислонил его к книгам на том самом столе, где я сочинял письмо матросам, — на бумагу упала квадратная тень. Это вызвало мое раздражение, но я промолчал и только глядел, как Финн берет кисть, палитру и наносит белый мазок на холст. Еще немного — и он уже методично замазывает замок. Видя, как белый цвет становится как бы прелюдией к моему портрету, я вспомнил то, о чем давно не думал: в безумии Кэтрин говорила, что видит на мне

белое «дуновение смерти». Холодок пробежал по моей спине, но я постарался выбросить посторонние мысли из головы и сосредоточился на письме. Изящным, аккуратным почерком, каким всегда писал письма королю, я вывел на бумаге: «Если Англия не помнит тех, кто сражался за нее, и не заботится о них, что тогда будет с ними и с Англией? Обоих ждет тяжкая болезнь».

Эпистолярное настроение меня не покидало, поэтому я снова взял в руку перо и стал писать Уиллу Гейтсу. В письме я рассказал обо всех последних событиях и просил, чтобы кто-нибудь из слуг доставил мне в Лондон мою лошадь. Думая о Плясунье, я изумлялся, как такое резвое и прекрасное существо может все еще принадлежать мне.

Прошло несколько недель, и на белом холсте стал вырисовываться (как лицо, проступающее из норфолкского тумана) мой портрет. На нем я выглядел человеком серьезным, вроде судьи или библиотекаря, в глазах был внутренний свет. Финн хотел назвать картину «Врач», скрыв мое имя, ия не возражал против анонимности. Единственным неудобством было то, что приходилось в течение нескольких часов сидеть неподвижно и держать одну руку в застывшем положении

— якобы вынимая скальпель из футляра с хирургическими инструментами.

Я придирчиво осматривал портрет: нет ли в нем вымысла и фальши? Но ничего подобного не было, и это меня радовало. Позади меня не развертывались утопические картины — фоном служили обычные темные панели. Я поздравил Финна, сказав, что это его лучшая работа, и увидел, как он расплылся в глупейшей улыбке.

Во время работы над портретом мы предпринимали попытки покинуть дом в Чипсайде, я искренне хотел этого: мне тяжело было спать на кровати, где умерла Кэтрин. Но Фрэнсис Элизабет при очередном упоминании о нашем уходе тут же заливалась слезами, умоляла остаться, и я обещал не уезжать раньше лета. Я подозревал, что Финн задержится на более длительный срок: ему приглянулась комната, в которой он спал, а теперь еще и работал над портретом. Фрэнсис Элизабет пришлось переселиться со своими письмами в маленькую гостиную. Но вдова не была в обиде, она пошла бы на любые жертвы, лишь бы не остаться одной.

В конце весны портрет был закончен, и на той же неделе ко мне доставили Плясунью.

Меня глубоко взволновали оба эти события.

Я не льстил бедняге Робину, когда хвалил его картину. В ней, выдержанной в спокойных, темных тонах, не было ничего кричащего. Однако лицо Врача, освещенное водянисто-холодным светом, говорило о раздирающих его противоречиях: любовь к профессии боролась со страхом перед тем, что она может ему открыть.

За портрет я дал Финну семь шиллингов — десятую часть того, что заплатил бы ему богатый человек, но это было почти все, что у меня осталось после того, как я расплатился со слугой, доставившим Плясунью, и отложил кое-что на место для нее в конюшне и на овес.

Лошадь была в отличной форме. Ее круп лоснился. Натертые мылом седло и уздечка были до блеска отполированы, а в приседельном мешке лежало письмо от Уилла. Он писал:

Дорогой сэр Роберт!

Ваше письмо доставило мне большую радость. Как приятно знать, что Вы в Лондоне, где Господь хранит Вас от чумы.

Вашу кобылу по моему приказу доставит младший слуга. Она не застаивалась в конюшне, каждый день хоть немного,

но бегала, кормили ее отменным сеном, так что не беспокойтесь: мы о ней не забывали.

Сообщаю Вам, эта ужасная чума добралась и до Норвича, что по всем статьям плохо. Единственное утешение: как только запахло жареным, виконт де Конфолен быстренько укатил во Францию — только его и видели, это совсем неплохо, а очень даже хорошо. И я, и Кэттлбери, мы оба терпеть его не могли. Молюсь, чтобы он не вернулся.

Мы рады, что Вы живы, и шлем наши добрые пожелания малютке Маргарет — это имя очень любят в моей семье, как, полагаю, и во всем Норфолке.

Ваш покорный слуга

Уильям Гейтс.

Прочитав письмо Уилла, я, как обычно, испытал к нему прилив добрых чувств и непроизвольно вспомнил беспечную жизнь в Биднолде, непременной частью которой он являлся. Мне не терпелось поскорее сесть на лошадь и вспомнить, что это такое — ездить по улицам, а не ковылять по уши в грязи на своих двоих.

Первым делом я поехал на Шу-Лейн, в мастерскую гравера, мимо которой часто проходил, когда жил на Ладгейт-Хилл. Там я попросил сделать латунную табличку и выгравировать на ней: *Р. Меривел. Терапевт. Хирург.*

Затем я снова сел на лошадь, развернулся и двинулся легкой рысью. Не меняя аллюра, проехал Блэкфрайерс, пересек реку по Саутуоркскому мосту и довольно быстро оказался у дома Рози Пьерпойнт.

Не стану отрицать: все, что произошло потом, было очень приятно. Если раньше я думал, что утрата других, более дорогих для меня вещей уничтожит желание, которое я испытывал к Рози, то теперь знал: несмотря ни на что, его живительное пламя никогда не затухало.

Я сильно исхудал на квакерской пище и вдовьем рационе, Рози же, напротив, расцвела и раздобрела, очаровательные ямочки над ее ягодицами углубились, а когда она смеялась, у нее обозначался второй подбородок. Все это приводило меня в восхищение.

Она рассказала, что с приходом в Лондон чумы все «просто помешались на стирке, требуя, чтобы наволочки кипятились в лавандовой воде», — словом, она не помнит, чтобы когда-нибудь ее

дело «так процветало».

Рози уже не сидела на рыбе и хлебе — она позволяла себе покупать цыплят и мясные пироги в кулинарии и сливки в молочной. Она много работала и теперь могла себя побаловать. У нее было твердое убеждение, что тепло в доме, котлы с ароматизированной водой и хорошая еда уберегут ее от чумы: «от этой болезни гибнут те, кто живет в голоде и в холоде, а не такие, как я, сэр Роберт».

Мы провели в постели весь день, я посвятил ее в свой план: обосноваться в городе, вернуться к медицине и зарабатывать на жизнь как терапевт и хирург. Рози села в постели, оперлась на локоть, погладила полной маленькой ручкой веснушки на моем животе и сказала: «Значит, все будет как раньше, пока ты не перебрался в Уайтхолл». Мне не хотелось с ней спорить, я кивнул, соглашаясь, и прибавил: «Вот именно. Как будто не было всех этих лет».

Я уехал от Рози вечером. Целуя меня на прощание влажными губами, она сказала, что король уже вернулся в Лондон. «Берегись попадаться ему на глаза, — прибавила она с улыбкой, — ты ведь не хочешь, чтобы твоя жизнь шла по кругу».

Я не попадался ему на глаза. Конечно, не по-

падался.

Взяв взаймы два шиллинга и девять пенсов у Фрэнсис Элизабет, я заплатил за латунную табличку со своим именем и родом занятий и прибил на дверь ниже ее собственной: *«Пишу письма»*.

С приходом лета чума резко пошла на убыль, и люди, поверив, что болезнь больше не вернется, перестали презирать врачей. Поэтому хронически больные люди и люди, получившие травмы, из Чипсайда и его окрестностей стали ходить ко мне — некоторых направлял мой давний друг аптекарь, кое-кто приходил, прочитав табличку, а другие, услышав обо мне в кофейне или таверне, где быстро распространяются слухи и сплетни.

Чаще всего родственники или соседи вызывали меня к больным на дом, но некоторые, несмотря на раны или плохое самочувствие, приходили сами. Принимать и лечить пациентов я мог только в маленькой гостиной, которая иногда превращалась даже в операционную, подобную тем, что были у нас в «Уитлси», так что Фрэнсис Элизабет, вначале изгнанная Финном из своей рабочей комнаты, теперь лишилась и гостиной. Но и тогда она не упрекнула меня. Купила небольшой письменный стол, поставила его в своей спальне и стала писать письма там; ее по-

черк и стиль становились все более изящными, она постепенно обретала уверенность и меньше боялась одиночества.

Как и в прежние времена, я навещал Рози по вторникам, нас обоих устраивало такое положение вещей, никто из нас не хотел большего. Денег я ей больше не давал, зато всегда приносит что-нибудь съестное: выпотрошенного каплуна, кувшин с мелко нарубленными восточными сладостями, кружок сбитого масла. Иногда мы устраивали легкий ужин вдвоем и, сидя за столом у раскрытого окна, слушали шум реки.

— Жизнь снова начинает бурлить, — сказала Рози как-то вечером.

Да, жизнь налаживалась. Казалось, Лондон решил смехом прогнать смерть. В кофейнях Финну встречалось немало людей, готовых платить двадцать или даже тридцать шиллингов за портрет, — они снова поверили, что у них есть будущее, и даже задумывались о том времени, когда эти портреты будут висеть в домах их внуков, домах более богатых, чем те, в которых могли позволить себе жить они. Заказчики стали приходить в наш дом один за другим — торговцы, адвокаты, учителя, галантерейщики, краснодеревщики, клерки — и садились туда, где раньше

сидел я, подле опустевших чернильниц в кабинете, и Финн увековечивал их на украденных холстах. Я видел, как они уходили с готовыми портретами, их грубые черты тогда смягчались — так радостно было нести в руках собственное изображение. Потом пошла вторая волна: бывшие заказчики присылали своих жен, чтобы повесить по другую сторону камина парный портрет. Когда Финн увидел необратимость этого процесса, к нему вернулась его былая жадность, и он стал просить за картину тридцать пять шиллингов, потом перешел на сорок, а вскоре и на сорок пять.

Вернувшись как-то во вторник вечером домой, я увидел на дверях третью табличку: *Илайес Финн. Художник. Пишу портреты влиятельных людей.* Сам Финн, одетый с головы до ног во все новое, пил в доме аликанте с Фрэнсис Элизабет. Вся его одежда, кроме рубашки и туфель, была зеленого цвета. «Ага, — сказал я, — вижу, ты вернулся из Шервудского леса». Улыбка чуть раздвинула его губы, словно говоря: «Время для таких шуточек прошло, Меривел».

Должен сказать, что летом 1666 года я впервые за долгое время получал удовлетворение от своей жизни, словно мы вновь шагали с ней в ногу. В

старости я буду вспоминать Время Трех Табличек на Дверях.

Но потом наступило одно июньское утро, и после него удовлетворение оставило меня.

Было воскресенье. Я рано проснулся, выглянул из окна и увидел, что солнце еще не встало. Неожиданно (не могу понять почему) меня охватило желание *увидеть* восход над рекой, такого я давно уже не лицезрел.

Я оделся, спустился по лестнице и вышел на улицу. Улицы были пустынны. Колокол на церкви св. Элфейджа прозвонил четыре раза. Было прохладно, почти холодно, и я подумал, что, возможно, восход солнца не будет сегодня хорошо виден. Однако продолжал идти. Оказавшись у воды, я сел на ступени причала там, где с лодок и барок высаживаются пассажиры, и стал ждать. Над рекой повис белесый туман — такой плотный, что противоположного берега не было видно.

Небо постепенно светлело, теперь я видел, что оно не затянуто облаками, и, если б не туман, восход был бы таким же лучезарным, как те, что я наблюдал из окна своей комнаты в Уайтхолле.

Я засмотрелся на туман или *думал*, что засмотрелся, и вдруг обнаружил, что сам сижу

посреди густого тумана: ни ступенек, ни пришвартованных лодок, ни меня самого нельзя было разглядеть. Я поднял глаза: небо тоже скрылось. И все же я не спешил подняться со ступеней. И даже не пошевелился. Я знал: что-то должно случиться. Казалось, время остановилось или задержало дыхание.

Я ждал. Сердце мое отчаянно колотилось. Небо вновь посветлело. Мне стало зябко, и я обхватил себя руками. Вдруг я услышал шум весел приближающейся лодки, вода заплескалась у моих ног, набегая на ступени.

Туман поднимался выше. Как только солнце показалось над крышами домов, туман над водой стал рассеиваться.

Тогда я понял, чего я ждал.

Он сидел спиной ко мне. Лодка шла против течения, и солнце, освещая реку, ярко вспыхивало на драгоценных камнях, украшавших рукав его камзола.

Лодка поравнялась со ступенями. Теперь он был так близко от меня, что я слышал его дыхание. Я прикрыл лицо ладонью с растопыренными пальцами, чтоб не быть узнанным, но в этом не было нужды: он смотрел не в мою сторону, а на дорожку за кормой — сейчас она сверкала в

солнечных лучах.

Лодка прошла мимо меня — я не отрывал от него глаз. И следил за ним сквозь пальцы, пока лодка не достигла излучины реки и не скрылась из виду.

Глава двадцать четвертая
Жена галантерейщика

Как я уже говорил, моя жизнь вплоть до этого июньского утра была обыкновенной, размеренной, трудовой жизнью, и она вполне устраивала меня. Думаю, если б Пирс, а не его Молчание были в то время рядом со мной, я мог бы поехать с дорогим другом на рыбалку и теперь вести себя как настоящий рыболов, а не отпугивать форель.

Но с того момента, как я мельком увидел короля на реке, ко мне опять вернулось глупое желание видеть его, снова удостоиться его расположения, оно овладело мною с такой силой, что я совсем утратил покой. Я стал груб с пациентами. За едой угрюмо молчал. Да и вторники уже не приносили мне прежней радости. Теперь, вместо того чтобы идти в кофейню или в таверну, пить вино и болтать, я предпочитал прогулки в одиночестве — шел к реке, садился на то место, где сидел июньским утром, и пожирал глазами водное пространство в надежде увидеть ту самую лодку. Мысленно я сочинял бесконечные варианты письма, в котором рассказывал королю, что при-

ношу людям пользу.

С течением времени содержание письма изменилось: я придумал новый хитрый *ход*, чтобы привлечь внимание короля (сообщения о моем усердии было мало). Так как теперь я — простой врач, без денег и без поместья, собирался написать я, Его Величество может счесть меня мало подходящей парой для Селии. В случае, если решат наш: брак аннулировать, я не стану чинить никаких препятствий, так как всегда считал, что Селия достойна лучшего супруга…

Письмо я не отправил. Четырнадцать или пятнадцать раз я проговаривал про себя все новые варианты и однажды вечером, когда Финн и Фрэнсис Элизабет играли в карты в гостиной у камина, я уединился в рабочем кабинете и перенес письмо на бумагу. В этой написанной изящным слогом эпистоле я делал упор на моем возвращении в медицину, особо выделив, что ежедневно пользуюсь подаренными им хирургическими инструментами, а также выражал сожаление, что так гнусно обошелся с Селией, «прелестной, невинной женщиной, заслуживающей лучшего обращения, о чьем благополучии я ежедневно молюсь».

Я сложил письмо (прежде прочитав его так

много раз, что знал наизусть), но не запечатал и не написал на нем королевского имени. Поднявшись к себе, я снял с полки потрепанный пирсовский экземпляр «Исследований о зарождении животных», раскрыл его, положил письмо между страниц и поставил книгу на прежнее место.

Я сказал себе: ты его написал наконец, Меривел, теперь успокойся, вернись к привычному существованию и будь счастлив тем» что имеешь. Некоторое время я честно старался воплотить в жизнь этот данный самому себе совет, но не очень преуспел. Желание видеть короля было сродни желанию любовника видеть возлюбленную — такое же сильное и непоколебимое.

Как-то в конце июля я зашел в студию Финна (так теперь называлась комната, где раньше Фрэнсис Элизабет писала письма) и увидел на мольберте свой портрет.

— Ты что, хочешь замазать мой портрет и поверх него написать новый? — задал я Финну прямой вопрос. — Ты нарисовал его поверх замазанной кирпичной кладки, а теперь хочешь замазать и меня, хоть я заплатил тебе семь шиллингов.

— Вовсе нет, — невозмутимо ответил Финн. —

Мне очень нравится этот портрет.

— А зачем тогда он стоит на мольберте?

Финн подошел к мольберту, снял картину, а на ее место поставил только что законченный портрет женщины лет пятидесяти пяти, в изящном кружевном чепце и по-пуритански простом, черном платье.

— Видишь? — сказал он. — Та же поза, что и у тебя. Та же осанка, та же сосредоточенность на руках, тот же холодный свет на лице. Как только я увидел эту женщину, сразу решил запечатлеть ее в таком же положении. А твой портрет я поставил на мольберт, чтобы сравнить обе картины.

Я взглянул на лицо женщины, превосходно изображенное Финном. В нем была почти неземная доброта, и этим незнакомка напомнила мне мать. В руке она держала маленькое перышко, выкрашенное в красный цвет.

— Кто эта женщина? — спросил я.

— Забыл ее имя, — ответил Финн. — Жена галантерейщика.

Я сурово взглянул на Финна. Тот только пожал плечами, как бы говоря: «Это все, что мне известно». Я снова перевел взгляд на портрет. Сходство женщины с матерью показалось мне на этот раз столь поразительным, что мои мысли приняли

неожиданный оборот. А что, если это и правда моя мать? Вдруг при пожаре она не погибла? Может быть, та женщина, которую пытался, но не смог спасти Латимер, была не моей матерью, а горничной?

Я понимал, что такое фантастическое течение мыслей неминуемо заведет меня в тупик, и постарался поскорее оттуда выбраться, но и на более реалистическом уровне все выглядело странно: откуда такое необыкновенное сходство? И как могла в мире, испорченном модой, существовать связь между галантереей и благородной душой, между отмериванием клеенки и нежным сердцем?

Весь вечер я только и думал о женщине с портрета. Ночью мне приснилась мать. Она вошла, остановилась и долго смотрела на *мой* портрет. Потом протянула к нему руку и стала скрести краску, пока частично не обнажила под ней белую основу. Тогда она произнесла: «С виду он цельный, но, если копнуть глубже, в нем какой-то странный, осквернённый свет». Проснувшись, я вспомнил слова Мудрой Нелл, так называемой колдуньи из поселка Биднолд, она сказала, что меня ждет «долгое падение», но не уточнила, придет ли ему конец или я так и буду катиться

вниз до полного крушения. Прошло немного времени. Я встал и зажег свечу. Потом крадучись — мне все представлялись лица за окном, они подсматривали за мной, подсмеиваясь над моей слабостью, — взял с полки книгу Пирса, извлек оттуда письмо и перечел его. Затем написал на нем имя короля, растопил сургуч над пламенем свечи и запечатал письмо. «Ничего не попишешь, — прошептал я невидимым лицам за темным окном, — мне не обрести мира в душе и не исцелиться, пока я не получу от него хоть короткой записки…»

На следующий день я отнес письмо в Уайтхолл и поспешно удалился.

Дожидаясь ответа, я отправился в дом ростовщика навестить Маргарет, чтоб хоть на время выйти из состояния тягостного ожидания.

Дочка мирно спала в своей колыбельке. Я видел только закрытые глазки и приплюснутый носик, но по розовым щечкам и сладкому посапыванию было ясно, что ребенок здоров и ему хорошо. Кормилица подтвердила, что Маргарет активно сосет и громко кричит: «все говорит о том, что она выживет, сэр». При этих словах меня пронзила радость от мысли, что эта малышка, которую я внес в этот мир собственными руками, будет

расти, станет большой девочкой, потом девушкой, и я буду свидетелем ее взросления, буду ее любить и возить по воскресеньям в Воксхолский лес смотреть барсуков. Подобные мысли были новыми и необычными для меня. Трудно было поверить, что они рождаются в моей голове.

Я дал кормилице немного денег.

— Сколько нужно кормить ее грудью? — спросил я, собираясь уходить.

— Не меньше года, сэр, — ответила она. — До этого времени я никого не отпускаю. — Кормилица улыбнулась и слегка похлопала по грудям, ненавязчиво привлекая внимание к своим богатствам, которыми втайне гордилась. Две кудрявые девчушки выглядывали из-за спины матери, смотрели на меня, хихикали, а потом шутливо присели в реверансе. Я тоже им поклонился, почувствовав, что краснею.

Возвращаясь быстрым аллюром домой на Плясунье, я подумал, какой неожиданной радостью может стать для меня хорошенькая дочка. Я уже мысленно видел, как нанимаю няню, — она будет стирать ее юбочки и укладывать в локоны рыжие волосы. Но тут же вспомнил, что Маргарет похожа на меня (она не унаследовала прямой тонкий нос и черные глаза своей матери) и, значит, хо-

рошенькой ей не быть. Может случиться, что она будет просто уродиной, и тогда ее ждет обычная судьба некрасивых женщин (если они не сказочно богаты) — одиночество и низкое положение в обществе. Я стал прикидывать, как этого избежать, и решил, что, когда придет время, надо будет пригласить к девочке учителей музыки и *petit point*,[69] а также филологов, которые изучили бы с ней не только поэтические произведения Драйдена, но и сочинения всех великих поэтов прошедших веков. Раз не вышла лицом, пусть воспитание и мудрость помогут ей заполучить доброго мужа.

Почти всю дорогу мысли мои были заняты будущей судьбой Маргарет, думал я также о несправедливом общественном устройстве (такие мысли впервые посетили меня на вскрытии умершей женщины в «Уитлси»), при котором мужчины могут достичь благополучия самыми разными путями, а женщины — только одним. Я испытывал сильнейшую досаду по этому поводу, понимая всю глупость и жестокость такого положения вещей, пока не свернул на Чипсайд и не увидел на дверях табличку со своим именем.

---

[69] Примечания: 69
Рукоделие *(фр.).*

После этого я мог думать только о том, не пришло ли в мое отсутствие ответное письмо от короля. Я спешился и поторопился войти в дом. Письма для меня не было.

— Почему ты спрашиваешь? — поинтересовалась Фрэнсис Элизабет. — Ждешь известий?

— Нет, — ответил я, — просто аптекарь пообещал сообщить, когда будет готово заказанное мной лекарство. Ему надо достать еще одну важную составляющую часть…

Не помню, сколько прошло дней, прежде чем я получил ответ. Помню только, что время тогда тащилось, как черепаха, и большую часть его я проводил в фантазиях, представляя, как старею я, стареет король, но ответа все нет, а я с тем же нетерпением жду письма, так что вся моя жизнь проходит под знаком бесконечного ожидания.

Я стал чаще ошибаться. Однажды ко мне пришел мужчина с жалобой на боль в животе; я поставил диагноз: кишечное кровотечение и, чтобы его остановить, пустил кровь в другом месте. На следующий день мужчина пришел снова и протянул мне железный гвоздь — он изрыгнул его из себя вместе с рвотой, которую вызвал у него мой конкурент Мой ошибочный диагноз мог стоить человеку жизни. Мужчина вложил гвоздь

в мою ладонь со словами: «Положите этот гвоздь на видное место, пусть он служит вам напоминанием об ошибке — такое не должно больше повториться».

Я последовал его совету — этот случаи меня действительно напугал (хотя осталось непонятным, как можно проглотить такой предмет, — разве что жена или кухарка, желая ему зла, сознательно запекли гвоздь в пироге). И все же эта дикая ошибка не помешала мне совершать другие промахи — помельче. Я стал забывчивым и рассеянным: за все это время я не выиграл ни одной партии в рамми, потерял в таверне кошелек, ткнул в глаз пером, упал с Плясуньи, когда она шарахнулась на улице от голубя, пропустил во вторник свидание (за что Рози Пьерпойнт влепила мне жаркую пощечину) и стал тянуть с записями этой истории, как будто наконец понял, что не я — настоящий автор и каждый новый поворот действия определяет король.

Так оно и было: следующий эпизод вписал он, пригласив меня к ужину. Он ни словом не упомянул о письме — а я ведь много раз его мысленно переписывал — и содержания его тоже не касался. Его записка была краткой и резкой. Вот такой:

Меривел, почему бы тебе не отужинать с Нами в следующее воскресенье? Мы ожидаем, тебя в Наших покоях в девять часов.

Король Карл.

Королевское приглашение я получил в понедельник утром, двадцать седьмого августа, около десяти часов. Когда его принесли, я как раз прижигал каленым железом рану на бедре пациента и, торопясь сломать знакомую печать, обжег себе руку. Первая мысль после прочтения записки говорила о моем неистребимом тщеславии: я подумал, что у меня нет приличной одежды.

Портной, к которому я обратился, был старым другом отца. Только из уважения к памяти моего покойного родителя он пошил мне одежду всего за пять дней. На костюм я купил темно-синего шелку с кремовой тесьмой. Материал был не броский, не кричащий — словом, я остался доволен своим выбором.

Посетил я и сапожника, заказав туфли на каблуках умеренной высоты, с оловянными пряжками, — отполированные до блеска пряжки выглядели как серебряные. Нанес визит галантерейщику на Крафтер-Лейн, там я приобрел

черную шляпу с двумя перьями нежно-голубого цвета.

Потом пришла очередь парикмахера. Тот не видел меня много месяцев и долго всматривался в мое лицо. «Сэр Роберт, — произнес он наконец, — если б я не знал, что это вы, никогда бы не догадался, что это вы». Такое косноязычие рассмешило меня, и только по смеху парикмахер окончательно уверился, что это я, сказав: «Вот теперь узнаю вас. Теперь вижу, что вы не совсем изменились».

Парикмахер — не дурак выпить. Измеряя головы клиентов и демонстрируя парики разных фасонов и разного качества, он не преминет налить себе и клиентам по рюмочке. И в этот раз мы тоже сидели в его мастерской, и он разглагольствовал о мире («мир, хоть и кажется кое-кому большим, на самом деле очень невелик, — не так ли, сэр Роберт, — не больше тени, отбрасываемой Уайтхоллом»), кто сейчас в фаворе, а кто в опале и что модно носить летом; от него я узнал, что у короля новая любовница, миссис Стюарт, превзошедшая красотой всех предшественниц. «Говорят, — сказал парикмахер, — что с ее появлением король забыл всех своих любовниц — даже леди Каслмейн».

— А что стало с моей женой?

— Ах да, ваша жена. Здесь кроется какая-то тайна, сэр Роберт. Ее никто не видит, ходят разные слухи: то ли она ждет ребенка и не покидает постель, то ли она в постели с сэром Новым Любовником, то ли льет в постели слезы, — могу только сказать, что никто не знает наверняка, в какой именно постели она находится!

От парикмахера я ушел ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Домой я шел пешком, ведя Плясунью под уздцы, и вдруг мне пришли на ум слова сэра Джошуа Клеменса, что его дочь ради любви короля готова принести в жертву все и всех, в том числе и отца с матерью. Когда он говорил, в его голосе слышалось смирение с такой судьбой, и, вспомнив это, я тяжело вздохнул.

Эти минуты я буду помнить до самой смерти.

Меня не заставляют ждать в Каменной галерее. Как только я объявляю охране о своем приходе, меня тут же ведут в королевские апартаменты.

Я иду по знакомым комнатам. Вечер душный, но огонь в каминах горит.

Уильям Чиффинч, самый преданный слуга короля, кланяется мне и говорит, что Его Величество вдруг проголодался и сел за ужин, приказав подать его в комнате, где хранится коллекция

часов.

Я следую за Чиффинчем, мы приближаемся к комнате, по размерам больше похожей на чулан, и оттуда до меня, как и прежде, доносится беспорядочное тиканье и перезвон часов — ведь время представляет особый интерес для короля, завораживает его.

Я вхожу. На короле кремовый камзол, на шее алая салфетка.

Хотя я весь взмок от волнения и сердце мое стучит громко — почти как часы, я не могу сдержать улыбки при виде этой салфетки. И первое, что видит король, отрывая взгляд от жадно поедаемой им куриной ноги, — это мою улыбку. Король, словно по волшебству, откладывает ножку и пристально смотрит на меня. И это взгляд человека, подпавшего под чары. Он подносит салфетку к губам, промокает их и все это время не сводит с меня глаз.

Я делаю низкий поклон, широким жестом снимая новую шляпу, а когда выпрямляюсь, вижу, что король встал, вышел из-за сервированного стола и направляется ко мне. Слышно, как за моей спиной Чиффинч закрывает дверь.

Его Величество останавливается в двух футах от меня. Рукой без перчатки он берет меня за

подбородок, приподнимает лицо и, похоже, разглядывает каждую морщинку, каждую пору на нем; его взгляд так пронзителен, что, кажется, он видит даже очертания моего черепа под париком. Потом качает головой, словно его что-то сильно опечалило, но одновременно лицо его расплывается в добрейшей улыбке, которая ясно говорит, что он больше не сердит на меня; возможно, завтра его настроение переменится, но сегодня вечером, второго сентября 1666 года, он чувствует ко мне только расположение.

Разговор начинаю я.

— Сир, — бормочу я, — как приятно видеть вас в добром здравии…

— Молчи, Меривел, — приказывает король, — не надо ничего говорить. Ты ведь знаешь, я все вижу и все понимаю. *N'est-ce pas?*

— Так, сир.

— Вот именно!

Он смеется, приближает свое лицо, целует меня в губы и приглашает за стоя.

— Это пикник, — говорит он. — Я решил, что у нас будет пикник. Будем есть, позабыв о манерах, так что вперед, Роберт, клади на тарелку цыпленка, яйца, вот холодный лосось, а Чиффинч сейчас вернется и нальет тебе белого вина.

Есть совсем не хочется. Я признаюсь королю, что жил очень скромно и не уверен, что теперь смогу осилить целого цыпленка.

— Эти цыплята из Суррея, — говорит король. — Рассказывают, что при жизни они очень шумливы, но мясо у них очень нежное и сочное. Почему бы тебе не отведать сначала бедрышко, а потом, сам знаешь — аппетит приходит во время еды.

Я поступаю, как он советует, — мясо действительно превосходное, не помню, когда такое ел. Возвращается Чиффинч, наливает мне в бокал прохладного виноградного вина, я медленно потягиваю вино и чувствую, как его свежесть входит в кровь и растекается по телу, отчего я становлюсь спокойней и безмятежней. Вскоре шум более двухсот часов кажется уже не таким громким, и, похоже, король тоже это замечает, потому что поднимает глаза от стола и говорит: «Время дождалось тебя, Меривел. Я так и думал».

Я только кивнул, не понимая, каких слов от меня ждут. Король опускает унизанные перстнями руки в вазу с водой, споласкивает их, вытирает салфеткой и продолжает: «Теперь ты из ученика можешь превратиться в *моего* учителя и просветить меня по части сумасшествия».

Я глубоко вздыхаю.

— Сир, — начинаю я, — разновидностей сумасшествия и безумия (из коих любовь, возможно, самое сладостное и опасное) так много, что я нахожусь в затруднении, с чего начать. Впрочем, однажды вечером, когда я жил в Фензенской лечебнице — месте не от мира сего, меня вдруг что-то заставило (думаю, запах местных цветов) высказать вслух то, что я думал о зарождении психических болезней. Я могу поделиться с вами этими мыслями, если пожелаете, ведь, как ни странно, мои слушатели ни в тот вечер, ни после него никак их не оценили, а может, даже и не слышали. И я подумал: а вдруг никто, кроме вас, не *может* их услышать и понять.

— Очень может быть. Говори же.

И я говорю. Не просто излагаю королю свои соображения по поводу сложных и запутанных путей, ведущих к безумию, и откровенного нежелания здоровой части человечества исследовать причины оных, но также открываю ему все, что понял о собственном безрассудстве и что сделал для своего исцеления. Короче говоря, я анатомирую свое сердце. Извлекаю его из себя и кладу перед королем. Он очень внимательно слушает — то хмурится, то улыбается, как если бы моя история — несмотря на то, что он «все знает и

все понимает», — является для него чем-то новым, полным удивительных вещей, о которых он никогда раньше не слышал — ни в «часовой» комнате, ни в других местах королевства.

Темнеет. Чиффинч вносит зажженные лампы и ставит поблизости от нас.

Мы едим виноград, сплевывая косточки в серебряную плевательницу.

Наконец король упоминает Селию, перемежая разговор о ней восторженными похвалами своей новой возлюбленной, миссис Стюарт, по которой, шепчет он. «я действительно схожу с ума, Меривел, и, окажись я с ней на обнесенной парапетом крыше, где, положим, собрался показать ей планету Юпитер, я повернулся бы спиной к сверкающему звездному небу, только чтобы взять в свои руки ее груди».

Мы оба заливаемся смехом, который переходит в неудержимый хохот, — так громко, от души, смеялись мы в Уайтхолле, на крокетном поле, в веселые весенние деньки. И разговор о Селии идет не в серьезном ключе, а словно она всего лишь игрушка, которой мы поочередно забавлялись и которая в конце концов обоим надоела.

— Я решительно заявляю, что твое предложение аннулировать ваш брак весьма здравое. В

этом случае я смогу возместить ущерб, который Селия понесла, потеряв меня, тем, что дам ей нового мужа — на этот раз молодого и красивого! Что ты думаешь? Это ее утешит? Как насчет сына лорда Гревиль д'Арбей? Он очень красивый юноша.

Я отвечаю, что недостаточно хорошо знаю Селию: мне трудно решить, кто и что может возместить ей понесенный ущерб, но тут король внезапно становится серьезным, качает головой и тихо говорит: «Пустые разговоры. Мы оба знаем, что ничто в мире не заменит ей то, что она утратила».

— Да, мы это знаем, — но это «неудобное» знание.

— Ты прав. Тогда что мы сделаем с этим?

— Не знаю, сир.

— Нет, знаешь.

— Что же?

— Предадим забвению, естественно.

Мы меняем тему разговора, и Селия, моя жена и любовница короля, занимавшая такое большое место в моей жизни, вдруг разом покидает ее, память о ее лице, волшебном голосе растворяется в небытии. Мир и покой воцаряются в моем сердце — последний раз я испытал такое состояние

в тихой комнате Амоса Трифеллера, когда мать гладила мои волосы, говоря, что они песочного цвета.

В этом состоянии покоя и удовлетворенности я решаю рассказать королю о дочери и вижу, что история Маргарет глубоко трогает его. Он, в свою очередь, говорит мне, что горячо любит своего первого незаконнорожденного сына, герцога Монмута, и советует мне не пренебрегать ребенком, «впустить дочь в свою жизнь, щедро дарить себя ей».

Я киваю, соглашаясь с его словами, и обещаю поступать именно так. Думая о Маргарет, я поворачиваю голову и смотрю через открытое окно на реку, на восток, туда, где сейчас находится дочь. Но что я вижу! Небо застилает оранжевое облако. Я смотрю на короля. «Сир, — говорю я, — взгляните! Если не ошибаюсь, большая часть города охвачена огнем».

Сразу же после этих слов в соседней комнате послышались голоса, и в дверь постучали. Король тут же встал, его добродушное настроение вмиг улетучилось, лицо потемнело.

Покои наполнялись людьми. Одного я узнал, это был служащий Морского ведомства, я имел с ним однажды дело и проявил тогда терпение

резчика по мрамору. Именно он доложил королю, что восточный ветер за час достиг критической силы, вспыхнувший пожар быстро продвигается вперед — «ширина огненного потока полмили».

Забыв обо мне, король перешел с этим человеком и остальными придворными в гостиную, и я слышал, как он требовал немедленно разыскать лорд-мэра и передать его приказ снести на пути огня все деревянные дома: «это единственная возможность остановить и потушить пожар». Все поспешно удалились, а король крикнул Чиффинчу, чтобы тот сообщил о пожаре его брату, герцогу Йоркскому, и велел седлать на конюшне быстроходного коня.

А затем, так и не сказав мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону, выбежал из больших дверей в Каменную галерею, а я остался один в его покоях, слыша лишь мелодичный звон и тиканье двухсот часов, живущих по своим законам и звонивших в разное время.

Я не двигался с места еще несколько минут, мысли мои путались. И вдруг мне стало абсолютно ясно, что нужно делать, — бежать к Маргарет. Я спустился во внутренний двор и попросил привести мою лошадь. Пока я ждал, порыв ветра сорвал с моей головы шляпу и понес к цветочной

клумбе. Я догнал ее и после держал в руке. Сев верхом, я выехал на Плясунье из ворот и погнал ее на восток, к дому ростовщика, — насколько я мог судить, дом мог находиться в самом центре огня.

Свирепый ветер дул мне в лицо, трепал гриву Плясуньи. Подъезжая к Сити, я увидел парящие в воздухе хлопья сажи, они летали с ветром, а потом медленно, словно черный снег, опускались на землю. Пахло гарью; с каждым вдохом этот ядовитый запах все глубже проникал в мои легкие, в горле будто застрял клял, и я сплюнул на мостовую.

На улицах было полно народу: одни, как и я, спешили туда, откуда неслись смрад и дым, они тащили с собой лестницы, катили тележки; некоторые выскакивали на улицу прямо в нижнем белье и, как завороженные, глазели на пожар; были и такие, что, потеряв от страха голову, молили Бога и короля остановить пожар.

Я свернул на север и поехал по улице Сент-Энн. Сомнений не было: все примыкающие к реке улицы к западу от Лондонского моста охвачены огнем, и, чтобы попасть к дому ростовщика, мне нужно объехать район пожара. Но дым, подобно туману, расползался по улицам, и я, свернув на север, потом на восток и снова на север, оказался

на незнакомой улице и понял, что заблудился.

«Где я? Что это за улица?» — громко вопрошал я, но никто не обращал на меня ни малейшего внимания; оставалось только продолжать свой путь и вновь сворачивать то на север, то на восток, то опять на север. Я пытался ориентироваться по запаху гари, чтобы понять, двигаюсь ли по кругу или еду нужным маршрутом, и на каждой улочке искал ее название или какой-нибудь опознавательный знак, который сказал бы мне, где я нахожусь.

Я уже собирался в очередной раз повернуть на север, когда услышал впереди крики людей и разглядел в дыму охваченную пламенем крышу дома. Из соседних домов в панике выбегали на улицу люди, смотрели вверх, видели, что огонь ползет ниже, и снова вбегали в свои дома — спасать от гибели детей и имущество. Все произошло неожиданно: пожар бушевал довольно далеко от этой улицы. На крышу дома, видимо, занесло какую-то горящую вещь — ноты, шляпу с перьями или уж не знаю что: ведь вокруг на ветру носились шелковые тряпки, любовные письма, кружевные воротнички, они кружились, взлетали и опускались вниз, где их немедленно ловили.

Обрушившееся на улицу бедствие было столь велико, что я не смог повернуться спиной к людскому горю. Если б дом ростовщика был неподалеку, я, возможно, продолжил бы путь, но он оставался по-прежнему далеко, очень далеко, и я понимал, что мои попытки пробиться к Маргарет бесполезны. Слишком поздно я спохватился. К этому времени мою дочь либо уже спасли, либо она сгорела в деревянной колыбельке. Я ничего уже не мог изменить. Поэтому я решил спешиться и, привязав Плясунью к столбу, снял камзол и отправился помогать спасать людские пожитки, — я складывал вещи на тележки и тачки, входил в комнаты чужих людей и брал все, что мог вынести; стулья, подсвечники, картины, диванные подушки, постельное белье, ночные горшки, чернильницы и игрушки.

Первый раз я оказался так близко от жаркого пламени и на какое-то время остановился, вытирая со лба пот и глядя на охваченную огнем крышу. Потом взгляд мой опустился ниже; я хотел понять, куда и как быстро распространяется огонь, тогда-то я и заметил впервые железную табличку, со звоном раскачивавшуюся на ветру; *Артур Гофф. Галантерейщик.* Но я увидел не только ее. Дверь дома была плотно закрыта, и

только из него на улицу не выбегали и не вбегали обратно люди, вынося одежду и мебель.

Недолго думая, я бросил то. что держал в тот момент в руках (до сих пор не знаю, что это было, — может, я что-то и разбил?), ринулся к дверям дома, стал в них колотить и громко кричать, но никто не отзывался. Еще один мужчина перестал спасать свое имущество и глядел в ту же сторону; он, кик и я, понял: здесь что-то не так — именно в том доме, который загорелся, люди продолжали спать, Мужчина схватил уже положенный на тележку топор и нанес несколько таких сильных ударов по двери, что она слетела с петель. Мы прошли по ней внутрь и сраму же оказались в дыму и во тьме, не успев даже ступить на лестницу: удушье и тошнота наставили нас повернуть назад.

— Кто там сейчас находится? Сколько человек? — спросил я мужчину — тот стоял у канавы и отплевывался.

— Только она, сер.

— Кто она?

— Жена Гоффа.

— Одна?

— Да. Галантерейщик уехал во Францию закупать французские товары и разные безделушки.

— Мы не можем допустить, чтобы она погибла. Нужно войти снова.

— В таком дыму к ней не пробиться. Сами копыта отбросим.

— Нет. Надо попробовать еще раз. Если достать мокрые тряпки и обмотать лицо…

— Нет, сэр. Этого делать нельзя.

— Принеси тряпки! Пусть кто-нибудь даст воды и кусок ткани!

— Вы погибнете, сэр. Клянусь Богом!

— Будем кричать и звать ее.

— Бесполезно. Она глуха, как пень.

— Глуха?

— Как пень. На крики совсем Не отзывается, как мой дружок — тот. что в штанах, — на церковную службу.

Я представил себе, как сейчас она тихо лежит на своей кровати, лежит опрятная и благопристойная, похожая на мою мать, а внизу в мастерской вот-вот загорятся коробки с пуговицами, мотки кружев и ящики с тесьмой…

— *Ну, пожалуйста!* — завопил я. — Кто-нибудь принесите мокрую тряпку или салфетку!

Не знаю, кто отозвался на мой крик, но уже в следующую минуту мне в руки сунули мокрую тряпку. Без колебаний я обмотал тряпкой лицо,

вбежал в дом и бросился к лестнице. И тут позади послышался приглушенный голос: «Все в порядке, сэр. Я с вами. Старайтесь не дышать».

Лестницу мы миновали на ощупь. На площадке при свете мерцающего огня, уже лизавшего окна, мы обнаружили открытую дверь. На пороге, раскинув руки, лежала жена галантерейщика. Мы оба одновременно ее увидели. Не тратя драгоценный воздух на лишние разговоры, мы подползли к ней, взяли с двух сторон за руки и потащили к лестнице. Том мой помощник, будучи крупнее и сильнее меня, сделал знак, чтобы я отпустил руку женщины, сам встал, поднял ее, взвалил на плечи, кок мешок, и мы стали спускаться. Я шел впереди, направляя его шаг, так мы вышли на улицу. Миссис Гофф он опустил на землю только в шагах тридцати от горящего дома.

Я кашлял так сильно, что добрая половина цыпленка изверглась из меня с рвотой на мостовую этой лондонской улицы. Опустившись на колени рядом с женщиной, я повернул ее на бок, она захрипела и стала хватать ртом воздух.

— Она жива, сэр? — спросил мужчина.

Я только кивнул в ответ. Всматриваясь в лицо миссис Гофф. жены галантерейщика, я видел мелкие черты, опущенные уголки губ, что прида-

вало лицу недоброжелательное выражение, она нисколько не была похожа ни на мою мать, ни на женщину с портрета Финна. Но это не имело значения: ведь именно те два лица заставили меня войти в дом.

К нам подошли две женщины. Они завернули миссис Гофф в одеяло и положили на телегу с мешками и постельными принадлежностями. Одна из них принесла воды в черпаке и, поднеся носик к моим губам, напоила меня. Дом галантерейщика теперь был весь объят пламенем, но миссис Гофф ничего не говорила и даже не кричала, она просто смотрела на огонь и жевала кружевные ленты на шее. Не сошла ли она с ума, пережив этот ужас, подумал я. Неужели ее жизнь спасена, чтобы впоследствии быть загубленной в Бедламе?

На меня накатилась страшная усталость. Я понимал, что сегодня уже не смогу продолжать свое круговое путешествие в объятом пламенем районе. Надо вернуться в Чипсайд, а поиски возобновить завтра. Надев камзол, я отвязал Плясунью от столба, — мокрая от страха кобыла ржала, вставала на дыбы, — и уже собирался сесть на лошадь, чтобы влиться в поток людей с тележками, продвигавшихся на запад, когда

ко мне подошла женщина, поблагодарила за помощь и попросила назвать мое имя. «Я должна знать, за кого завтра молиться, сэр».

— Мое имя — Меривел. Я врач. Если миссис Гофф не станет в ближайшее время лучше, везите ее ко мне, — сказал я, вытащил из приседельного мешочка и вручил женщине визитную карточку, на которой было написано: Р. *Меривел. Терапевт. Хирург.* Она взяла ее и положила в карман фартука. «Я неграмотная, сэр, — сказала женщина, — но я передам карточку миссис Гофф, и она будет с благодарностью вспоминать вас».

Глава двадцать пятая
Я вспоминаю о Маргарет

Ни Фрэнсис Элизабет, ни Финн не верили, что огонь может дойти до Чипсайда. Между ним и основным очагом возгорания создали искусственный зазор шириной тридцать-сорок футов. Для этого, как и повелел король, спешно снесли деревянные дома, и теперь те, кто жил к западу от этой бреши, считали, что находятся в полной безопасности.

В понедельник утром я поехал на опустошенное место и внимательно все осмотрел. Над пожарищем в воздухе носились горящие обломки и обрывки человеческого быта, ветер неуклонно гнал их в нашу сторону и я понял, что в конце концов огонь одолеет искусственную преграду и дойдет до нас.

Вернувшись домой, я посоветовал Финну начать паковать холсты, а Фрэнсис Элизабет позаботиться о своем письменном столе и попросить соседей оставить место в телеге для этих вещей, а также для всего остального, что им хотелось бы спасти от огня. Но они не обратили на

мои слова ни малейшего внимания.

«Разве брешь сделана не для того, чтобы защитить наши дома?» — задал глупый вопрос Финн. Я ничего не ответил, пошел в гостиную, где Фрэнсис Элизабет, как ни в чем не бывало, загружала углем камин, собрал хирургические инструменты, тщательно протер их и аккуратно сложил в футляр. Порошки, лекарства, перевязочный материал я упаковал в большую коробку. Все это перенес в стойло Плясуньи и укрепил ремешками на спине лошади. Потом вернулся в дом, вытащил из-под кровати, на которой спал, мешок, в котором лежали гобой, письма от короля и то, что сохранилось от «пылающих углей». В этот мешок я положил также новую одежду и парик — все в темных пятнах от дыма и пота — и тоже привязал к седлу.

Покончив со сборами, я подошел к Финну и Фрэнсис Элизабет и сказал: «Я отправляюсь на поиски Маргарет и хочу попрощаться с вами».

Оба в изумлении уставились на меня.

— Ты хочешь сказать, что больше не вернешься? — спросил Финн.

— Да, именно это я хочу сказать, — ответил я, — все равно возвращаться будет некуда.

Едва произнес я эти слова, как огонь достиг

одного из домов Чипсайда, и от соседа к соседу понеслась лихая весть: «Чипсайду конец! Спасайте что можете из имущества и поскорее уходите! Идите на запад и — как можно быстрее: огонь распространяется стремительно!»

И тут в нашем доме началась такая паника, какой, наверное, не было нигде в Лондоне: Финн и Фрэнсис Элизабет вознамерились спасти все, что находилось в комнатах. Как мне ни терпелось уйти, но бросить их я не мог и, выведя из стойла лошадь, позволил навьючить ее, как мула, холстами, кастрюлями, мешками с провизией и одеждой и бог знает чем еще. Если б я не запротестовал, Финн добавил бы к этому еще свою койку, а Фрэнсис Элизабет — письменный стол: телегу найти не удалось. Огонь все приближался, а эти двое вцепились в вещи, не желая с ними расставаться; когда же мы все-таки двинулись в путь во главе с Плясуньей, которая пошатывалась под тяжелой ношей, эти неугомонные собственники взвалили на себя любимую мебель, и я еще долго слышал позади *себя* пыхтение и тяжелые вздохи, перемежаемые обращенными друг к другу словами ободрения: «У нас получится, у нас получится».

Мы двигались в нескончаемом людском пото-

ке, не имея возможности остановиться, иначе идущие следом затоптали бы нас, но я все же на какую-то долю секунды убавил шаг и оглянулся, и *этого* времени хватило, чтобы увидеть, что огонь почти полностью уничтожил наш дом. Мой взгляд уловил лишь еще сохранившийся силуэт входной двери и три сиротливые таблички на ней. Это зрелище взволновало меня сильнее, чем я мог предположить. Мне казалось, что этот дом остался мне *чужим*, но я ошибся. И в ту же секунду вспомнил, что забыл там одну драгоценную *для* меня вещь, которая, без сомнения, уже обратилась в пепел вместе с домом. То была книга «О зарождении животных» — единственная память о Пирсе.

Дойдя до Линколнз-Инн-Филдза, мы остановились на привал и, как и остальные беженцы из Чипсайда и его окрестностей, расположились прямо на жухлой траве, К концу дня здесь собралось множество людей, кое-кто лил слезы и сетовал на судьбу, но на каждого плачущего приходилось четверо или пятеро «неунывак» — они смеялись, болтали, распевали песни и делились едой, как будто у них не было никаких забот и они просто пришли на пикник. Из кладовой Фрэнсис Элизабет нам удалось спасти семь банок слив,

несколько бутылок имбирного вина и творог в муслиновом мешочке, — мы поужинали всем этим, а также тем, что нам предложили в обмен на наши продукты; между нами и ближайшим окружением моментально установились дружеские отношения.

Ужин и беседа затянулись допоздна, и тогда огонь еще раз охватил все небо — как ни странно, это зрелище доставляло удовольствие. Около двух или трех часов ночи я слышал, как Финн говорил всем вокруг, что он художник, пишет портреты и предлагал каждому, кто пожелает, нарисовать его портрет за двадцать пять шиллингов, хотя ни у кого из расположившихся здесь людей не было дома и стены, чтобы повесить картину. Меня заставила улыбнуться мысль, что никакие превратности судьбы не влияют на коммерческую жилку Финна, — кажется, я и заснул с улыбкой на лице.

На следующее утро я расстался с ним и Фрэнсис Элизабет. Им не удалось дотащить до Линколнз-Инн-Филдз ни стол, ни походную кровать, поэтому все, что тащила на себе Плясунья, пришлось выложить прямо на землю. Видеть их в окружении незаконченных портретов, медных кастрюль и стоптанной обуви было бы грустно,

если б они не выглядели такими веселыми. Я думал, что утрата дома повергнет их в отчаяние, но этого не случилось. Кажется, они открыли для себя, что дом не просто место, где они жили и вели коммерческую деятельность, начавшую приносить доходы, — на его территории родилась их взаимная симпатия и привязанность. Уезжая от них. я не сомневался, что при следующей встрече, где бы она ни состоялась, я вновь увижу их вместе, и мне представлялась комната с низким потолком, в которой пахнет красками, и они в постели вдвоем подсчитывают выручку.

Я потратил целый день на объезд района пожара, забирая как можно дальше на север, чтобы не наглотаться дыма, но к вечеру подъехал к Тауэру и оттуда увидел, что группа высоких домов, среди которых был и дом ростовщика, стоит не тронутая огнем. И тогда я прошептал в раскаленный воздух благодарственную молитву.

В доме меня встретил сам хозяин, он провел меня в кабинет, где вел бухгалтерию, показал новые весы и гири, которыми очень гордился; «точность, — сказал он, — моя страсть, ведь все в мире можно в какой-то степени взвесить и измерить, вы согласны?»

Я уже собирался открыть рот и сказать, что

не верю в это, но тут в комнату вошла его жена, неся на руках бодрствующую Маргарет, девочка не была туго запелената, как в прошлый раз, а просто завернута в шаль, на ее головке был прехорошенький чепчик.

Кормилица заговорила о пожаре и о том, как она с мужем и все дети долго стояли на коленях и молились, чтобы направление ветра не изменилось. Рассказывая, она передала мне Маргарет. Впервые я держал дочь на руках или, лучше сказать, впервые вообще взял в руки младенца, толком не зная, следует ли ее держать на сгибе руки, или привалить к плечу, или еще как. Поэтому я сел на жесткий стул, куда садились клиенты ростовщика, положил Маргарет на колени и стал ее рассматривать. Она заметно подросла, ее личико было круглое, как луна. Я увидел большие ясные глазки, которые серьезно взирали на меня, потом она задрыгала под шалью ножками и стала пускать пузыри.

«Посмотрите на ее волосы, сэр, — сказала кормилица. — Горят огнем». Она склонилась над малышкой, оттянула край чепчика, и я увидел рыжие кудряшки. Осторожно коснувшись их, я почувствовал под рукой живое тепло детской головки.

Ту ночь я провел с Рози Пьерпойнт.

Был вторник, и так как днем в назначенный срок я не явился, то льстил себя надеждой, что Рози беспокоится: не сгорел ли я заживо, не погиб ли под рухнувшей балкой? Однако при встрече я не заметил, чтобы она испытала облегчение, увидев меня живым, или радость оттого, что я все-таки к ней пришел. Похоже, ее больше волновало, что воздух пропитан копотью и сажей, и все это оседает на выстиранном и выглаженном белье, которое тут же приобретает отвратительный серый цвет.

В доме нечем было дышать. Рози плотно закрыла все окна, замазала щели, чтобы в дом не проникла «эта мерзкая копоть». «Но она все равно просочится, — жаловалась Рози. — Стоит повесить сушиться простыню или начать гладить платок — и все, она тут как тут». И Рози показала мне несколько вещей с темными разводами, потом швырнула их в бак с грязным бельем и визгливо выкрикнула; «Я не заработаю ни пенни, пока такое творится! Мне придется голодать! Я умру от голода! Уж лучше сгореть в огне! Все-таки быстрая смерть!»

Я обнял Рози и, покрывая ее лицо поцелуями, пытался успокоить и утешить, и вскоре гнев ее

поубавился. Это было мне на руку: я признался, что теперь у меня нет крыши над головой, и сказал, что готов хорошо платить за кров, если она позволит пожить у нее некоторое время, пока я не подышу себе квартиру и не начну в очередной раз новую жизнь.

Рози высвободилась из моих объятий и глянула мне прямо в глаза. Потом уперла руки в бока.

— Как долго? — спросила она.

— Что?

— Как долго ты собираешься тут жить? Неделю? Месяц?

— Ну, не знаю, — уклончиво ответил я. — Смотря сколько времени буду искать жилье — теперь многие займутся тем же.

— Тогда тебе придется возместить мне убытки, сэр Роберт.

— Какие убытки?

Вздохнув, Рози отвернулась и стала зажигать лампу.

— Ты что, не догадываешься?

И тут я все понял. Процветанию Рози способствовало не только всеобщее «помешательство на чистоте» или то, что от выстиранных ею наволочек пахло лавандой. После смерти Пьерпойнта она с готовностью возобновила свои шлюшные

привычки, тут и потекли к ней денежки, на которые она покупала каплунов, сливки и прочие деликатесы, без которых не могла обойтись. И я подумал, что все эти годы разум мой отказывался видеть Рози Пьерпойнт такой, какой она была. Ведь с самого начала я знал, что она шлюха и потаскушка, но, когда самому приходила охота до ее ласк, я закрывал на все глаза: мне нравилось воображать, что она живет самостоятельно, работает, ест, встает на рассвете, чтобы совершить омовение некоторых интимных частей тела, чему я однажды был свидетелем, и в этих думах я никогда не представлял ее наедине с другими мужчинами. Это та же история, что с индийским соловьем, сказал я себе: веришь в то, во что хочешь верить.

Я подошел к Рози и ласково погладил ее по голове. «Конечно же, я возмещу убытки, — успокоил я женщину. — А сейчас ляжем в постель и будем любить друг друга, позабыв обо всем остальном, не исключая копоть и сажу».

Я снял на южном берегу реки две холодные просторные комнаты над магазином мастера, делающего лютни. Протяжные, нежные, тонкие звуки лютни проникали в комнаты сквозь щели в полу.

Осенний дождь поливал почерневший город, превратив золу в жидкое месиво, а вода в реке поднялась так высоко, что наполовину выгоревшие причалы совсем развалились и досками поплыли по воде к морю. Глядя на город из высоких окон своего нового жилища, я пытался мысленно представить прежний Лондон. Но я уже не помнил его, тот Лондон ушел навсегда из моей жизни, и осознание этого было так горько, что у меня возобновилась привычка подолгу смотреть на тыльные стороны рук, как будто я, Меривел, помышлял в тщеславии своем восстановить прежний город.

В своей тоске я был не одинок. После пожара на каждого пациента с ожогами приходилось по крайней мере по одному, не знавшему, что с ним. Люди говорили, что их мучает «тоска в душе и теле». Ожоги я лечил красным бальзамом и ячменным отваром, но чем вылечишь «тоску в душе и теле?» Не раз приходила мне на ум Мудрая Нелл и ее лечение кровью ласточек. Короче говоря, я задумался, не лечится ли подобная меланхолия с помощью недоступной моему пониманию магии?

Однажды вечером, прислушиваясь к звукам лютни и легкому постукиванию дождя по окон-

ному стеклу, я стал рассматривать не тыльные стороны рук, а ладони и, вглядываясь в переплетение линий, задался вопросом, могу ли я по ним прочесть будущее, и ответил определенно: нет, ведь никто не учил меня, как толковать эти рисунки на ладони. Однако я обратил внимание, что линия любви — особенно на моей левой руке — раздваивается чуть ли не с самого начала, и, по сути, их у меня две. Это открытие заставило меня улыбнуться и в то же время укрепило веру в возможность узнать по руке и многое другое. Я предпринял несколько попыток найти стоящего хироманта, но вскоре от них отказался: похоже, половина нынешнего населения Лондона считала, что преуспела в этой области: за небольшую мзду все эти умельцы могли на руке любого человека найти свидетельства его блестящего будущего. Один из них заверял меня, что я открою лекарство от старости, другой — что пирог с начинкой из перепелов не даст мне утонуть («ведь вы наверняка по небрежности сжуете и перья, сэр, — вот они-то и удержат вас на плаву»), еще один обещал, что меня запомнят по поступку, которого я еще не совершил, или по путешествию, которого я еще не предпринимал. Поначалу я искусно притворялся, что верю всем

предсказаниям, но потом мне наскучило притворство, я потерял интерес к тому, каким будет мое будущее, прожил осень и вступил в зиму, не тратя времени на пустые мечтания, а больше руководствуясь здравым смыслом: день прошел — и слава Богу!

От короля не было никаких известий. Да я их и не ждал: как он мог найти меня, если дом в Чипсайде сгорел! Король не знал даже, погиб я или нет тогда, во время пожара. Я мог бы сам написать ему, но не писал. Близилось мое сорокалетие, и мне стало казаться, что я потратил на мысленное сочинение писем королю так много времени из своего быстротечного существования, что у меня иссяк словарный запас.

Но я верил в одну вещь: я верил, что, если когда-нибудь король *захочет* найти меня, обязательно найдет. Я не знал, как он это сделает, даже представить не мог. Просто знал, что так будет. Поиски не доставят ему слишком больших хлопот: разве его власть не распространяется на самый отдаленный уголок королевства и на каждого подданного?

Как-то ранней весной меня пригласил на ужин адвокат, излеченный мною от язвы. Я достал свой темно-синий с бежевой тесьмой камзол (Рози

почистила его и починила, он теперь выглядел как новый), шелковые штаны в тон и облачился в этот наряд. В моей квартире не было зеркала, и потому я не имел возможности следить за своей наружностью, лишь изредка, проходя мимо окна, ловил свое отражение в стекле. Однако до сих пор я не замечал того, что увидел сейчас, надев костюм: оказывается, я страшно исхудал. Проклятые штаны спадали — в талии они были на два дюйма шире, чем нужно, камзол же болтался на мне, как на вешалке. Я приподнял рубашку и осмотрел живот. Он показался мне сморщенным и немного помятым, а мотыльки, раньше привольно располагавшиеся на нем, теперь сгрудились и стали одним пятном.

Я сел на один из четырех находившихся в квартире стульев (настолько изящный и утонченный, что мне часто приходило в голову, не изготовил ли его сам мастер по лютням, чтобы немного отвлечься от обычной деятельности) и попытался *прочесть* мой новый облик, как читают линии руки: о чем он предупреждал и что сулил? Никогда раньше я не был худым. По словам матери, я был пухлым малышом, а в отрочестве муаровый костюмчик так плотно обтягивал мою грудь, что, когда я смеялся, маленькие пуговки

не выдерживали натяжения и отлетали далеко в сторону. Даже в студенческие годы я был весьма упитанным, а ко времени «пятого начала» этой истории, если вы помните, я стал просто толстяком. Сейчас же на мне не только совсем не было жира, но, казалось, и вся плоть сошла, обнажив выступающие кости. Тут не мог не вспомниться Пирс, постепенно превращавшийся в кожу да кости, и я, сидя на стуле, подходящем по своей хрупкости такому исхудавшему человеку, серьезно задумался, не умираю ли я.

Я стал вспоминать, какие бывают на свете болезни. Проверил пульс, прислушался к дыханию. Встал, помочился в ночной горшок и стал всматриваться в мочу, нет ли в ней хлопьев или следов крови, потом — как это делают знатоки вин — понюхал, нет ли кислого или гнилостного запаха?

Полностью забыв об ужине у адвоката, я снял висевшую на мне мешком одежду зажег изрядное количество свечей и разместил близко от окна, чтобы лучше видеть свое отражение. Если б. человеку, прогуливающемуся у реки, пришло в голову посмотреть наверх, он мог бы увидеть забавное зрелище — голого, как Адам, Меривела, внимательно изучающего свое тело: язык, подмышечные впадины, нос, чресла, колени, — нет ли

признаков опухоли, нормальный ли цвет кожи; в этот холодный мартовский вечер он дрожал от холода и был похож на раздетого догола тощего и фанатичного квакера.

Я не обнаружил у себя ничего подозрительного. Сердце работало как часы, на теле тоже не было никаких изменений, кроме тех, что принесло время и потеря веса. Надев ночную рубашку, я лег на узкую кровать, стал вспоминать то, что случилось со мной после пожара, и понял, что все это время жил как отшельник. В моем существовании появилась новая и странная вещь: я часто видел и слышал то, чего не было на самом деле. Иногда мне казалось, что на лестнице лает собака. Однажды ее лай звучал особенно правдоподобно, я даже открыл дверь, ожидая, что животное, виляя хвостом, войдет в комнату, но на лестнице никого не оказалось. То, что мне мерещилось, было столь же тревожно и необъяснимо: однажды я увидел на скользких ступенях Саутуоркского моста растущие пучком примулы; я видел их так реально, что наклонился сорвать цветок, но там были не цветы, а бледно-желтый носовой платок, по небрежности оброненный каким-нибудь щеголем, прыгнувшим в лодку. В другой раз я увидел в руке моей пациентки кусок

черного мыла, но, разжав ее пальцы, убедился, что там ничего нет.

Я лежал и размышлял, что могут предвещать эти галлюцинаторные симптомы — слабоумие или развитие провидческого дара, — последнее, правда, маловероятно. Так и не придя ни к какому выводу, я через некоторое время впал в забытье при мерцающем свете огарка, и мне привиделся Биднолд. Я словно находился там, лежал на ковре из Чанчжоу, вдыхая запах леса, солнца и дорогих женских духов. Этот сон нес в себе столько очарования, что, когда я проснулся и увидел, как с сальных свечей капает на пол жир, я даже пальцем не пошевелил и снова закрыл глаза, надеясь увидеть продолжение сна.

После этой ночи со мной что-то случилось — не болезнь, не медленное умирание, а желание как можно больше спать: ведь каждую ночь я переносился в Биднолд и опускался на землю легко, как перышко. В доме я нежно гладил полированные столешницы, обтянутые алой парчой диваны, атласные подушки молочного цвета, узорчатые кожаные корешки книг, резную оловянную ручку у ведерка для угля; потом ветер подхватывал меня и уносил ввысь, и тогда я, как призрак, парил над парком, жадно впитывая его цвета

— красноватый цвет бука и яркую зелень травы. В моих снах не присутствовали люди, и все же эти сны были пронизаны чувственностью, и с наступлением утра я не хотел просыпаться. Стараясь продлить сновидения, я вставал все позже, когда гвалт на реке достигал своего утреннего крещендо, гораздо позже хозяина, который давно уже работая. Для меня сны стали наркотиком, и я выполнял свою работу врача, одурманенный воспоминаниями о них и оглушенный тем количеством времени, которое тратил теперь на сон. Я понимал: надо как-то стряхнуть с себя эту сонную болезнь, но у меня не хватало воли.

Как-то апрельским вечером мой хозяин поднялся ко мне с лютней, работу над которой только что закончил. По его словам, он всю жизнь слышал в голове тот звук, какого наконец добился.

Чтобы отпраздновать свое достижение, он принес с собой большую бутыль вина, и мы незаметно вею ее уговорили. Естественно, что засиделись мы допоздна и изрядно окосели. В состоянии опьянения я рассказал хозяину, что мне постоянно снятся сны о месте, где я когда-то жил; теперь я каждую ночь возвращаюсь туда, как привидение, и думаю, что этим снам не будет конца. Он глянул на меня острыми и пронзитель-

ными глазами ястреба и сказал: «Почему бы вам не поехать туда, доктор Меривел? Увидите это место еще раз, и ваши сны прекратятся».

На следующий день я написал Уиллу Гейтсу.

В письме я рассказал, что мною овладело непреодолимое желание приехать в Биднолд — пусть ненадолго, только на сутки, чтобы восстановить поместье в памяти и еще раз увидеть своими глазами «определенные сочетания цвета и света, которые, как мне кажется, Уилл, есть только там и нигде больше». Я писал, что согласен спать в комнате для слуг или даже на конюшне вместе с Плясуньей, ведь я хочу только одного — посетить это место, «как невидимка, ни в коем случае не изображать из себя владельца и не пытаться завладеть поместьем снова, — разве только в воображении».

Пока я дожидался ответа от Уилла, в череду моих снов о Норфолке вторгся один об «Уитлси». Проснувшись, я решил, что, если мне суждено совершить путешествие в Биднолд, после него я не сразу вернусь в Лондон, а сначала поеду в Фенз — расскажу Опекунам о смерти Кэтрин и рождении Маргарет и попрошу на память какую-нибудь вещь Пирса взамен сгоревшей при пожаре книги. Когда я принял решение совер-

шить две поездки вместо одной, мое путешествие в прошлое перестало казаться глупой, тщеславной затеей. Напротив, теперь оно представлялось чрезвычайно важным предприятием: без него невозможно было начать новую, начертанную на моей ладони жизнь, или один из ее вариантов, или даже досказать эту историю.

Уилл не замедлил с ответом. Его письмо пробудило во мне то же радостное чувство, какое я испытал в дилижансе от первого впечатления Уилла от Лондона.

О, сэр Роберт, — говорилось в письме, — *Вы даже представить себе не можете, как все мы, каждый, кто помнит Вас, обрадовались предстоящему Великому Событию, Вашему приезду в Биднолд.*

Сэр, не сомневайтесь, мы хорошо подготовимся к Вашему возвращению — мистер Кэттлбери испечет мясной пирог и приготовит отменное жаркое, мы снимем чехлы, которые надели на мебель после отъезда виконта де Конфолена. И не думайте, что Вам позволят спать на конюшне. Вы будете спать в одной из лучших комнат, ну, хоть в Оливковой,

где мы ухаживали за больным мистером Пирсом.

Сообщите нам заранее о дне Вашего приезда, чтобы мистер Кэттлбери успел купить мяса и подготовить его по всем правилам. Мы оба с большим нетерпением ждем от Вас весточки.

Ваш слуга

Уильям Гейтс.

Я выбрал двадцать девятое апреля из текущего 1667 года, когда весна пришла с холодными дождями и редкими появлениями на небе солнышка Поездка в Биднолд займет несколько дней: ведь я поеду верхом на Плясунье, но я твердо знал, что буду наслаждаться каждой минутой путешествия, какая бы ни стояла погода а оказавшись, наконец, под огромным норфолкским небом, вскину голову и радостно закричу.

В день, когда я верхом на Плясунье покинул Лондон, лил дождь, но, повернув на северо-восток, мы несколько дней ехали под безоблачным небом.

Во время поездки я не раз задавал себе вопрос, какие перемены могут ожидать меня в Биднолде, и понял: первое, что бросится мне в глаза, — это

запущенность, отсутствие хозяина. Виконт, как можно судить по письмам Уилла использовал Биднолд только как место для развлечений и распутства. Он никогда не жил в нем подолгу, не старался его полюбить, теперь же вообще перестал приезжать и не платил жалованье слугам. Уилл и Кэттлбери остались — как я полагал, им платил Бэббеком, — но я не сомневался, что садовники, конюхи, горничные и буфетчики ушли, и постепенно дом. сад и даже парк пришли в запустение и упадок. Я представлял, как это больно Уиллу. Я так и видел его смуглое морщинистое лицо и слышал, как он умоляет меня что-нибудь сделать, остановить процесс угасания Биднолда — места, которое он любил не меньше, чем я. а я отвечаю, что это не в моих силах: поместье не принадлежит мне больше, моя жизнь теперь проходит вне его.

Я не давал таким мыслям повергнуть меня в уныние. Не помню, чтобы за время путешествия я хоть раз предался надолго печали, и где бы ни останавливался на ночлег, сон мой был долог, и в нем я всегда уже был в Биднолде.

И вот я действительно в Биднолде. Плясунья рысью проносит меня мимо «Веселых Бездельников», мимо церкви; от деревни мы забираем

влево и, минуя огромные железные ворота, въезжаем в парк. Плясунья бьет хвостом, фыркает, бег ее становится резвей.

Веет легкий ветерок, тени от быстро бегущих облаков плывут по траве. Каштаны в полном цвету. Под ними щиплют травку маралы, при нашем приближении они поднимают головы и смотрят на нас.

Мы поворачиваем на подъездную аллею, и — вот он, особняк в поместье Биднолд, графства Норфолк, — дом, отобранный у противника монархии. Джона Лузли, и отданный мне за согласие сыграть роль рогоносца, дом, где пышным цветом распустилось мое безрассудство, дом Меривела.

Я притормаживаю Плясунью, и она переходит на шаг. Сейчас мы находимся как раз на том месте, откуда одним морозным утром я бросился за каретой Селии, поскользнулся на льду, упал и порвал чулки персикового цвета. Здесь проходит крепостной ров, за рвом, с южной стороны дома, начинается лужайка, там растут огромные кедры, мы неспешно едем туда, и я замечаю, что лужайка аккуратно подстрижена, а вокруг кедров установлены украшенные резьбой скамьи.

Теперь мой взгляд устремлен на парадную дверь. Рука еще помнит ее тяжесть и мою радость,

когда она поддавалась, пропускала меня внутрь, с шумом захлопываясь за моей спиной. Я как будто знал, что недолго буду здесь хозяином.

Дверь открывается. Выходит Уилл Гейтс, за ним Кэттлбери, они стоят бок о бок и смотрят на меня с таким изумлением, как если б оказались свидетелями прохождения кометы Галлея[70] или еще какого-нибудь чуда. Потом их лица расплываются в улыбках, а я кричу: «Уилл! Кэттлбери! Вот и я!», но мой голос не долетает до них. Мне кажется, что я улыбаюсь, хотя на самом деле я плачу, как ребенок, и не могу сдержать слез, они льются ручьем, застилая и заставляя дрожать всю картину, и я с трудом удерживаю равновесие в седле.

Плясунья застывает на месте, я слезаю с лошади и вижу, что Уилл и Кэттлбери тянут ко мне руки. Я крепко пожимаю эти верные руки и, несмотря на комок в горле, заставляю себя расхохотаться, как в былые времена.

— Сэр» вы очень исхудали, — говорит Уилл.

Я киваю в знак согласия, еще не в силах говорить.

— Мы это поправим, сэр Роберт, — успокаивает

---

[70] Примечания: 70

Галлей. Эдмунд (1656–1742) — английский астроном; открыл первую периодическую комету (1682 — поэтому Меривел знать о ней еще не мог) и предсказал ее возвращение в 1758 г.

меня Кэттлбери. — Поправим нашими фирменными мясными блюдами.

— Конечно, поправим, — отвечаю я. — Мясными блюдами.

Я ошибался, когда думал, что найду дом в запустении.

Даже в отсутствие хозяина комнаты содержатся в чистоте, нигде ни пылинки, в воздухе разлито благоухание, как будто появления владельца ждут с минуты на минуту.

Мало что сохранилось здесь от моего прежнего вульгарного убранства. Правда, ковер из Чанчжоу по-прежнему находится в Комнате Уединения, не утратив чистоту и яркость красок, но обивка на стенах уже не красная с золотом, стены обиты серо-сизой парчой, исчезли и яркие алые диваны. И все же комната выглядит роскошней, чем прежде. Над камином висит итальянское зеркало в позолоченной раме. Стулья и скамеечка для ног обтянуты шелком персикового цвета и бархатом цвета берлинской лазури. Стены украшают портреты всадников (нельзя сказать, чтоб в этих портретах отсутствовали дорические колонны и лесные поляны). В комнате также стоит карточный кленовый стол, шахматный столик из

черного дерева и слоновой кости и еще спинет[71] работы французского мастера Флорана Паскье. На окнах тяжелые и богатые парчовые портьеры.

— Не думал, что у виконта такой изысканный вкус, — говорю я Уиллу, осмотрев эту великолепную комнату.

Видно, что Уилл смущен.

— Мне нравилось, когда при вас все было красным и розовым, сэр Роберт, — говорит он.

Я смеюсь. Мы переходим в столовую, где проходили наши с Селией ужины при свечах. Дубовый обеденный стол стоит на прежнем месте, но стены обиты панелями, а потолок украшен резьбой и лепкой и покрашен в желто-голубые тона. Это, скорее, комната для торжественных приемов, почти отпугивающая своей парадностью; я не выдерживаю и вновь говорю Уиллу, что образ виконта, сложившийся у меня из писем, не соответствует тому, что я сейчас вижу.

— Видите ли, сэр, — мямлит Уилл, — в письме всего не скажешь. Надо быть кратким, поэтому многого не договариваешь, да и слова иногда не подберешь.

— Это правда, Уилл, — говорю я, — но ты за-

---

[71] Примечания: 71

Спинет — небольшой клавишно-щипковый настольный музыкальный инструмент, разновидность клавесина.

ставил меня поверить, что ему до дома нет дела, но теперь я вижу: ты ошибся, дом обставлен со вкусом.

Уилл пожимает плечами, на нем новая рыжеватого цвета ливрея.

— Он не приезжает сюда больше, — заявляет он, — надеюсь, так будет и дальше.

— И что станет с этой великолепной мебелью?

— Не знаю, сэр Роберт.

— Она будет всегда под чехлами?

— Я не могу сказать.

— То есть как, Уилл?

— Не могу сказать, всегда ли она будет под чехлами.

— А какие на этот счет были распоряжения?

— Простите, сэр?

— Как распорядился виконт?

— Да никак.

— Никак? Он что, уехал, не сказав ни слова?

— Ни словечка, сэр.

— Тогда он обязательно вернется. Он может вернуться сегодня, сегодня вечером, в любое время.

Уилл снова пожимает плечами. И отводит в сторону свои беличьи глазки.

— Может, сэр. Но не думаю, что вернется.

Я прекращаю этот разговор и иду за Уиллом в

Оливковую Комнату. В ней ничего не изменилось с того времени, когда я провел здесь тридцать семь часов, охраняя сон Пирса. Возможность провести ночь на прохладных льняных простынях, под зеленым балдахином с алыми кистями, приводит меня в волнение; я сажусь на узкий диванчик у окна и благодарю Уилла за приготовленную к моему приезду комнату. Внезапно на меня наваливается усталость, и я понимаю: именно в таком состоянии начинаешь видеть и слышать несуществующие вещи. Когда я поднимался по лестнице, мой взгляд скользнул в направлении коридора, и мне показалось, что я вижу ливрейного лакея, — он бесшумно двигался от одной из комнат к кухне; вот и сейчас, глядя из окна на деревья, слушая их шелест, любуясь игрой теней, я слышу в отдалении все тот же скулеж собаки, который однажды побудил меня открыть дверь квартиры над жилищем мастера, делающего лютни, и пристально вглядываться в темноту.

День клонится к вечеру. Я говорю Уиллу, что хотел бы немного отдохнуть. Он тут же выходит и закрывает за собой дверь. Я не сплю, даже не смыкаю глаз, просто лежу, слушаю завывание ветра и не верю, что снова здесь.

Уилл и Кэттлбери настаивают, чтобы я ужинал в Парадной Столовой, хотя я чувствую себя в ней неловко, ведь я занимаю чужое место.

К ужину я надел синий с бежевой тесьмой костюм. Сел не во главе стола, где сидел обычно, а справа от хозяйского места, куда сажают почетного гостя.

В комнате горит множество свечей.

— Задуй часть из них, Уилл, — говорю я. — Сто свечей не нужны, чтобы съесть жаркое.

Но Уилл возражает:

— Вы всегда любили яркий свет, сэр Роберт. Сами не раз говорили.

Кушанье, приготовленное Кэттлбери, очень сытное — я быстро насыщаюсь и вижу, что повар и Уилл разочарованы. Двое мужчин смотрят на меня и думают: да. он не тот, что раньше. Такое отношение трогает меня до глубины души: значит, прежний Меривел, которого презирали Пирс и Селил и который так рассердил короля, был для них не последним человеком на свете.

От поданного к ужину бургундского исходит запах лета, свежих фруктов, однако оно так сильно действует на меня, что после ужина я с трудом встаю из-за стола — так отяжелел.

— Бог мой, кажется, за последние полчаса я ра-

зом состарился, — говорю я Уиллу, помогающему мне удержаться на ногах.

— Вы устали после дороги, сэр, вот и все.

— Может, и так, Уилл. А может, я умираю.

— Нет, сэр Роберт, в столовой умирать нельзя. Это было бы слишком ужасно. Давайте-ка лучше отведем вас в постельку.

Я говорю Уиллу, что мне хочется выйти в парк. Облака уже разошлись, открыв круглую белую луну. Я хочу обойти вокруг дома, глотнуть ночного весеннего воздуха. Уилл смотрит на меня и растерянно качает головой, как будто боится, что свежий воздух может ножом пронзить мои легкие, но я, спотыкаясь, все же иду по холлу к двери, таща его за собой.

— Пойдем, Уилл, — говорю я, — ведь у меня есть только одна эта ночь.

Дверь открывается, я смотрю и вижу лунный свет на лужайке, вдыхаю сырой запах земли. Больше я ничего не помню.

Просыпаюсь я под зеленым балдахином. Алые кисти хранят нежную память о Пирсе.

В комнате тепло. На мне ночная рубашка и колпак. Я не знаю, сколько сейчас времени, какой сегодня день, но не сомневаюсь, что спал долго.

Я дотрагиваюсь до лица — на щеках грубая

щетина. Ну и вид у меня, последнее время вид у меня просто ужасный…

Раздвигаю занавеси. На дубовом столике подле кровати фарфоровая тарелка, на ней пирог с мясом; вид пирога вдруг пробуждает у меня зверский аппетит, словно я не ел целую неделю. Я отрезаю кусок и с отвратительной поспешностью запихиваю в рот. Сразу же тянусь за вторым и жадно жую, оставляя на подбородке крошки» — они скатываются вниз и падают на колени.

Я уверен: сегодня — сколько бы времени я ни слал — будет яркий солнечный день. Пока солнца не видно: Оливковая Комната выходит на север, но я знаю точно: если выйти на парадное крыльцо, в лицо ударит ослепительный свет.

Я выхожу из комнаты в одной ночной рубашке, к уголку рта прилипли крошки пирога, и, дойдя до лестницы, вижу, как и предполагал, залитые солнцем ступени. Я останавливаюсь и смотрю вниз. Моргаю, тру глаза, стягиваю ночной колпак, мой взор и слух переживают настоящее потрясение: холл полон собак. Их семь или восемь — все спаниели, как моя бедняжка Минетта, они возбуждены, носятся кругами и громко лают.

Я напряженно соображаю, действительно ли внизу собаки или это продукт моего больного

воображения, но не прихожу ни к какому выводу. Нужно спуститься, говорю я себе, и потрогать одну, и, если она не исчезнет и не превратится в желтый платок, как примулы, я буду знать, что она не галлюцинация, а живая собака.

Я босой, но солнце нагрело ступени, и моим ногам тепло. Спускаясь, я обращаю внимание на то, что парадная дверь открыта, снаружи мелькают тени — там кто-то ходит. Где-то в глубине моего еще находящегося во власти сновидений сознания я понимаю, что это должно означать, но смысл происходящего затуманен и доходит до меня медленно… очень медленно… подобно давнему воспоминанию, которое где-то глубоко дремлет, заброшенное, полузабытое… И вот я наконец в холле, подзываю к себе одну собаку, но подбегают все, они окружают меня, прыгают на мои ноги, стараясь допрыгнуть до протянутой руки и виляют хвостами. Я стою в центре своры. Да, они настоящие, Меривел, говорю я себе, две уже вцепились в подол ночной рубашки, слышно, как рвется ткань. Но я не отгоняю собак. Мне нравится их азарт. Как они прелестны, как красивы, думаю я. И начинаю с ними играть, дразню ночным колпаком — то протягиваю его, и тогда собаки высоко подпрыгивают, стараясь схватить

колпак, то отдергиваю, чем вызываю истошный лай. Это меня смешит, и я заливаюсь смехом, как ребенок.

Тут длинная тень падает на золотистый пол, и смех замирает на моих устах. В этот момент одна из собак начинает отдирать кайму на моей ночной рубашке. Я поднимаю глаза. И вижу короля.

Король, сделав вид, что не замечает отсутствия на мне парика, заросших щетиной щек и того, что я стою босой, в разорванной и заляпанной пирогом ночной рубашке, тихим и ласковым голосом приглашает меня погулять с ним в парке.

В то время как грумы и лакеи в ливреях под руководством Уилла, тоже почему-то надевшего ливрею, разгружали две роскошные кареты, вынося из них множество чемоданов и коробок, мы с королем, пройдя немного по подъездной аллее, свернули влево и пошли по траве к маралам, мирно пасущимся в тени деревьев. Собаки бежали впереди, обгоняя друг друга и непрерывно лая.

Все это время мы шли в полном молчании. Неожиданно король остановился и оглянулся на дом.

— Теперь он мой, — сказал он.

Я тоже посмотрел на дом. Особняк Биднолд в графстве Норфолк.

— Что вы сказали, сир? — переспросил я.

— То, что ты слышал, Меривел. Теперь все это принадлежит мне.

— Вам?…

— Да.

— Но ведь Биднолд купил виконт?…

— Деньги не были уплачены. Одни обещания. На эти деньги я собирался снарядить корабль. Однако никаких денег не получил. Так что теперь придется *быть кораблем* Биднолду.

— Кораблем?

— Да. Ты понимаешь меня?

— Не совсем…

— Биднолд будет *моим* кораблем. В нем я иногда буду уплывать от повседневных забот. Теперь тебе ясно, *n'est-ce pas?* Только ты можешь понять меня, правда, Меривел? Здесь я буду грезить наяву.

Я кивнул, соглашаясь с его словами. Король внимательно смотрел на меня. Я хотел прибавить, что лучшего места он выбрать не мог, но под его взглядом мне было трудно найти нужные слова.

— Можешь ничего не говорить, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, — сказал он после недолгого молчания. — Лучше посмотри сюда. Ты помнишь,

кому это давал?

— Что, сир?

— Вот это.

Король протянул руку (в перчатке изумрудного цвета), и я увидел на его ладони небольшую визитную карточку, грязную, потертую, с загнутыми уголками. Взяв карточку, я уставился на нее непонимающим взглядом и только через какое-то время разглядел свое имя: *Р. Меривел. Терапевт. Хирург* — и прежний адрес в Чипсайде.

Я поднял глаза. Лицо короля светилось улыбкой, той, что имела надо мной особенную власть.

— Да, это твоя визитная карточка, — сказал он. — Вскоре после пожара мне ее принес мой шляпник, Артур Гофф. По его словам, ты спас жизнь его жене.

— Не один я. Мне помогал человек, гораздо крупнее и сильнее меня. Но я не знал, что хозяин дома служит вам.

— Конечно, не знал. Но даже если б и знал, что такого? Ведь не я вдохновил тебя на смелый поступок. Вдохновили другие, правда? Один перчаточник и его милая жена?

— Да.

— Прекрасно, Меривел. Потому что я твердо верю в одну вещь: наша жизнь не может считаться

состоявшейся, пока мы не вернем наши долги родителям. Невозможно забыть своих родителей и их смерть. Разве не так?

— Так.

— Даже в наш век, когда мы мудро практикуем великолепное искусство забвения, некоторые вещи все-таки не забываются.

— Да.

— И еще, если я не ошибаюсь, ты очень привязан к этому месту.

— Да. Я полюбил его. С первого взгляда, как только увидел…

— Я так и знал, что ты сюда вернешься. Гейтс думал то же самое. Мы знали, что я найду тебя именно так, — ты сам приедешь сюда.

— Знали?

— Конечно. Еще я помню, что в доме есть одна комната, которой ты всегда восхищался, — я говорю о круглой комнате в Западной башне, — но, по слухам, ты так и не нашел ей применения.

— Это правда. Мне кажется, я всегда думал, что эта комната… не для меня… слишком изысканная или что-то в этом роде… я не знал, как ее обставить… она была как бы неразвитой частью моего сознания.

— Почему бы нам не взглянуть на нее сейчас?

— Сейчас?

— Да.

— Конечно, сир, если вы этого хотите, хотя я предпочел бы продолжить нашу прогулку.

Король разражается громовым хохотом, — олени вздрагивают и длинными прыжками уносятся прочь.

— Продолжить нашу прогулку! Продолжить нашу прогулку! Посмотри на меня, Меривел.

Я хочу взглянуть в лицо королю, но солнце бьет прямо в глаза, и я заслоняю их ладонями.

— Возвращайся в дом, — приказывает король, — поднимись по лестнице и войди в эту пустую комнату. И подумай, способен ли ты теперь найти ей применение.

— Хорошо, сир.

— Потом, если хочешь, продолжим прогулку.

— Как скажете, сир.

— Ну, иди же.

Я задерживаюсь и смотрю вверх, на Западную башню. Много, очень много месяцев прошло с тех пор как я в последний раз думал об этой комнате. Она никогда не была комнатой в обычном смысле этого слова, она была пустым местом. Я заметил, что на карнизах трех ее окон сидят неизвестные мне белые птицы.

— Трубастые голуби, — говорит король. — Красавцы, на мой взгляд. Возможно, иногда ты будешь распахивать окна и впускать их внутрь.

— Простите, сир?

— В свою комнату.

— Впускать птиц в комнату?

— В *свою* комнату.

— Мою?

— Да, я дарю тебе эту комнату. Теперь она твоя. На все время моего правления, пока не наступит другая эпоха. Я возвращаю ее тебе — как вознаграждение за спасенную жизнь, возвращаю тому новому человеку, которым ты стал. Ты владелец этой комнаты — можешь уезжать и приезжать по своему усмотрению, я никогда не отберу ее у тебя.

Вы видите меня сейчас?

Я у себя в комнате.

Я стою в белой комнате в разорванной белой рубашке.

Меривел. Вот такой он. Видите его? Он без парика. Голова под щетиной отчаянно зудит. Приложив руку к щеке, он обнаруживает там прилипшие крошки пирога.

Но я не думаю о нем. В этом огромном белом пространстве я вспоминаю о Маргарет Я держу ее

на руках, снимаю чепчик и нежно целую огненно-рыжие кудряшки, она же визжит, брыкается, пускает пузыри, а потом пухлой маленькой ручкой хватает меня за нос.

Я смеюсь, отвожу ее руку и несу дочку к окну слушать воркование голубей. Я поднимаю ее, чтобы она увидела бесконечный простор парка (который я однажды изобразил как чередование причудливо-своевольных желтых и зеленых линий и темных пятен — коричневых и багровых) и над ним солнце, говорящее при отсутствии показывающих время приборов, что сейчас полдень самого прекрасного апрельского дня в моей жизни.

Не знаю, как долго нахожусь я в этой комнате. Возможно, когда вы бросаете на меня прощальный взгляд, начинает смеркаться. Я потуже натягиваю на Маргарет шаль: становится прохладно, и мы идем к дверям. «Завтра я должен ехать в «Уитлси», — говорю я крошке. — Но скоро, раньше, чем ты научишься ходить, и пока я еще не настолько ослабел, что мне станет трудно подниматься по лестнице, я привезу тебя сюда опять».